



ХАНОХ БАРТОВ • ВЫДУМЩИК



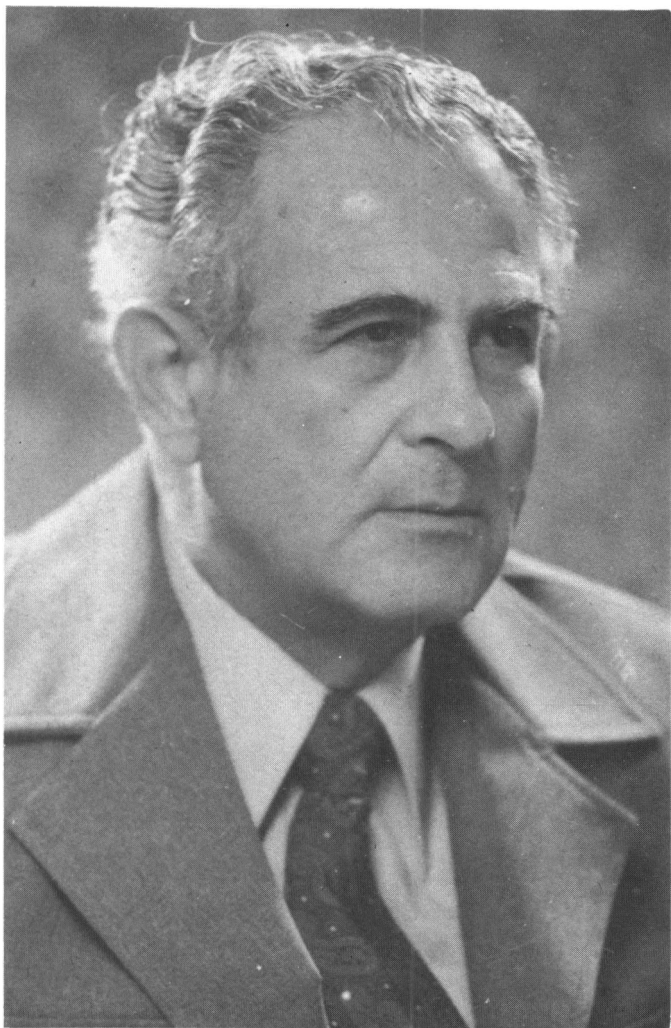
ХАНОХ БАРТОВ
ВЫДУМЩИК

83

Ханох Бартов

ВЫДУМЩИК

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת



ХАНОХ БАРТОВ

Ханох Бартов

ВЫДУМЩИК

история одного расследования



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1981

Printed in Israel

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| От издательства | 7 |
| 1. Автомобильная катастрофа (вместо предисловия) | 11 |
| 2. Немецкий паспорт | 16 |
| 3. В дело вмешивается телеэкран | 20 |
| 4. Искупление грехов | 27 |
| 5. Свой – не свой | 39 |
| 6. Человек, которого зовут Авнер (запоздалое предисловие) | 46 |
| 7. Тетушка из Свисс-Коттедж | 50 |
| 8. Генерал де Транбле вспоминает | 63 |
| 9. И все же Франкфурт | 67 |
| 10. Бригитта Лампрехт | 73 |
| 11. Тетушка – и вправду тетушка | 84 |
| 12. Сенатор вспоминает годы подполья | 98 |
| 13. Это он, это – Хайнци! | 120 |
| 14. Дело принимает неожиданный оборот | 132 |
| 15. Висбаденская папка | 138 |
| 16. Б. уходит – М. приходит | 149 |
| 17. Французская папка | 157 |
| 18. Головоломка | 164 |

| | |
|--|-----|
| 19. Антракт на лоне природы | 180 |
| 20. О чем в действительности думал генерал . . . | 193 |
| 21. Обратнo, к первой половине. | 197 |
| 22. Авишалом Хеврони и все его прошлое | 203 |
| 23. А про больного-то забыли? | 230 |
| 24. Дело еще не закрыто | 249 |
| 25. Не кем он был, а кем он станет. | 257 |
| 26. Заговор молчания | 275 |
| 27. Авишалом Хеврони и все его будущее. . . . | 290 |

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Израильский писатель Ханох Бартов принадлежит к поколению, чье отрочество и юность пришлись на годы Второй мировой войны и борьбы за создание еврейского государства в Стране Израиля. Он родился в 1926 году в Петах-Тикве, посещал религиозную начальную школу, затем гимназию имени Ахад-ха-Ама, но еще будучи подростком два года работал на предприятии по шлифовке алмазов и сварщиком. Семнадцатилетним юношей, в 1943 году, он вступил в Еврейскую бригаду, входившую в состав британской армии, и прослужил три года, сначала на родине, а к концу войны — в Италии и Нидерландах. После демобилизации Х. Бартов поступил на исторический факультет Иерусалимского университета, активно участвовал в Войне за Независимость, в битвах за Иерусалим. По окончании университета был в 1951-1955 годах членом киббуца Эйи-ха-Хореш, где преподавал в школе и занимался сельским трудом.

В киббуце Х. Бартов написал повести „Расчет и душа” (1953) — о проблемах молодежи, вернувшейся с войны, и „У каждого по шести крыл” (1954). Вторая повесть, посвященная жизни олим, прибывших в Израиль в начале 50-х годов, была издана также в Аргентине на испанском языке, ее инсценировка шла с успехом в театре „Хабима” и в театрах Лос-Анджелеса на английском и Парижа на французском языках. Писатель был награжден премией имени А. Усышкина. Из последующих произведений Бартова наиболее по-

пулярным стал роман „Юношеские угри” (1965, в русском переводе „Возмужание”, 1977, „Библиотека-Алия”, Тель-Авив), выдержавший шесть изданий в стране, удостоенный литературной премии имени А. Шлионского и изданный на английском языке в США и Великобритании.

Предлагаемый вниманию читателя роман „Выдумщик” (1975) вызвал множество откликов в израильской прессе. Его герой вырос в Германии, в молодости участвовал в подпольной борьбе с нацистами во Франции, нелегальным иммигрантом прибыл в подмандатную Палестину. Внешне он ничем не отличается от многих предприимчивых и преуспевающих граждан Государства Израиль. Но на его душевный склад и сознание каждый из этапов жизни (в Германии, во Франции и в Израиле) наложил свою печать, и герой как бы разделен на три части, существующие порознь и не сливающиеся в его личности в единое целое. Метания и похождения героя – „выдумщика” своеобразно отражают проблему самосознания личности в условиях бурной реальности Израйля, где происходит процесс слияния выходцев из разных стран и носителей различных культур в единую нацию, возрождающуюся после двухтысячелетнего рассеяния. Приемы приключенческого, чуть ли не детективного романа, к которым прибегает автор, придают особую рельефность изображению „тройной внутренней жизни” героя, заставляют читателя увлеченно следить за происходящей в герое внутренней борьбой.

*Не было ничего подобного тому,
о чем ты говоришь, ибо сам ты вы-
думываешь это.*

Нехемия 6:8.

*Многие из моих друзей были
лгунами.*

Хаим Гури

*Вопрос не в том, кем он был,
а в том, кем он станет.*

проф. М. Хартклифф,
университет Сассекса

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Наш рассказ следует начать с автомобильной катастрофы. Ведь всего того, что стряслось по дороге из Лондона в аэропорт Хитроу, могло бы и не произойти. Внезапный туман, молочной пеленой окутавший автостраду № 4, мог бы и не опуститься на землю. Рычаги управления гигантского трейлера могли и не выйти из строя именно на этом участке дороги и именно в этот час вторника, 28 ноября. А если бы, как говорили потом специалисты, шофер хранил хладнокровие и не давил в панике на тормозную педаль, то трейлер не пошел бы юзом и не перевернулся бы, перегородив собою все шоссе. И семь или восемь машин не уткнулись бы одна в другую еще до того, как их водители вообще успели что-либо сообразить. Трудно предвидеть все „если бы”. Так, к примеру, если бы Хайнц Изидор Бергерзон, на чье имя был найден паспорт в вещах потерявшего сознание человека, выехал бы пятью минутами раньше или позже, или если бы он был только ранен и не терял сознания, и, наконец, если бы в образовавшейся автомобильной пробке не оказалось случайно корреспондентов Би-Би-Си и некому было бы заснять, проинтервьюировать и сообщить... Короче, всего, что случилось, могло бы и не произойти. И могло случиться то, чего не было. И, возможно, если бы не та авария, до сего дня ни у кого не возникло бы сомнений в личности человека, в вещах которого был найден

этот паспорт. Ведь факт остается фактом: до того момента, пока человек не был подобран на обочине дороги и не привлек к себе внимания корреспондентов Би-Би-Си, этот вопрос ни у кого не возникал. Поэтому в нашей истории нет другого начала, кроме как автомобильная катастрофа. И она была в ней первым звеном. А случай, приведший на место аварии корреспондента Рича и телеоператора Питера, и их журналистское чутье — стали вторым звеном. С этого момента события приняли такой оборот, которого никто не мог ожидать.

Нет, другого начала не существует. В клубах молочного тумана протянулись вереницей гудящие машины. Мимо с оглушительным воем проносятся кареты скорой помощи и полицейские машины с красными и синими мигалками. И тут-то Рич и Питер решают извлечь для себя пользу из этого хаоса: поскольку шансы добраться до аэропорта равны нулю, то почему бы не превратить это дорожное происшествие в захватывающий репортаж об ужасной трагедии. Он наверняка пойдет во все вечерние выпуски последних известий и по радио, и по телевидению. Известно, что любому англичанину прогноз погоды интереснее надоевших заявлений ближневосточных министров или банковских отчетов об утечке золота с „Европейского рынка“. Даже скандальное заявление де Голля на вчерашней пресс-конференции в Елисейском дворце, которым пестрят заголовки всех газет, не может понизить у англичанина его интереса к состоянию погоды.

Рич и Питер понимают друг друга с полуслова. Рич еще не успел открыть рта, а Питер уже сновал среди груды исковерканного металла и снимал. И вот его камера фиксирует измятый капот черной американской машины с дипломатическим номером поверх обычного. В машине никого нет. А если в ней ехал сам министр или хотя бы посол, то это сенсация, может быть, даже и международного характера. На обочине дороги, на траве стоит, облокотившись на черное лондонское такси, человек, видимо, таксист, и ошарашенно

озируется вокруг. Питер снял его и немедленно перевел объектив на саму машину с помятой дверцей и оторванным крылом. Рядом валялся „атташе-кейс”, ручной чемоданчик дипломатов.

— Сними-ка человека в скорой помощи, — раздался из тумана голос Рича, — брось это барахло, снимай людей. Тут каждый может быть кем-нибудь.

В такие минуты все решает быстрота реакции — успеть увернуться из-под неожиданного удара судьбы и не стать частью кровавой, бьющейся в конвульсиях аварии. Даже преуспевающие люди в самых парадных одеждах, привыкшие к соблазнам „прожигающего жизнь” Лондона, чьи тела жаждут солнца восточных островов и голубизны Средиземного моря, свежести заснеженных гор и остроты ощущений игрального стола, не могут избежать своей участи. Один удар — и деньги, знатность происхождения, сила и красота, все-все-все бессмысленно, в одной злосчастной катастрофе превращается в выброшенный на обочину „самсоньен”, в безвольно свисающую руку, в сиреневый башмак и в эластичный носок, выглядывающий из-под голубого одеяла, последнего крика Кингз-роуд. Или — в раскрашенный в стиле поп „мини-майнор”, сплюснутый, словно раздавленный носком сапога жучок. В такие минуты даже Карнэби-стрит — не исключение из правила.

И этот дипломат в мигающем амбулансе*. Модное пальто из верблюжьей шерсти. Темный и дорогой пиджак консервативного покроя. Можно почти безошибочно сказать, где его заказывали — на Нью-Бонд-стрит у портных Ее Величества. Подумать только, до чего холеный господин. Кажется, что он дремлет, ни кровинки нет на его загорелом лице и ни одной царапинки. Лишь его светлые волосы спутаны. Этот человек, а опытному глазу оператора это видно с первого взгляда, не англичанин. Скорее всего, почти наверняка, он один из тех немцев новой Германии, которые олице-

* Машина скорой помощи.

творяют ее будущее. Но каков счастливчик этот посол — не раздавлен как „мини“, а лежит словно отлично сработанное чучело.

— Питер!

— Я здесь, Рич!

Рич пытался уговорить одного из полицейских, чтобы тот помог им как можно скорее вернуться в студию. Но теперь, когда из тумана появился Питер со своей камерой, Рич ввел в действие свой чудодейственный прием:

— Не считаете ли вы, господин офицер, что это самая большая авария этой осени?!

Глаза полицейского уставились на мнимого зрителя, и он с чувством собственного достоинства и ответственности за все происходящее произнес:

— Сейчас еще рано приводить цифры, поскольку мы продолжаем эвакуировать раненых. Но это, без сомнения, одна из самых больших аварий...

Я тоже заметил дипломатический номер, но пока не могу сказать, ни кто был в машине, ни что случилось с ее пассажирами. Одно могу сказать, мы и дальше будем делать все, что в наших силах, и каждый, кто будет нуждаться в медицинской помощи, получит ее немедленно независимо от звания или должности пострадавшего... А теперь, извините, я должен вернуться к исполнению своих обязанностей...

Однако теперь, после телевизионного интервью, полицейский нашел способ отправить корреспондентов, разрешив им ехать в карете скорой помощи. По дороге в больницу Питер и Рич пришли к единому мнению, что человек, находящийся в бессознательном состоянии, является одним из пассажиров американской дипломатической машины. А раз так, то надо выяснить занимаемый им пост.

В приемном покое новенькой больницы в Эксбридже с Ричем обошлись неласково: не личность человека в пальто из верблюжьей шерсти занимала в настоящую минуту врачей, а его жизнь. А если он действительно министр или посол какого-либо иностранного государ-

ства, то тем более сейчас не время для болтовни. Извольте подождать за дверью.

Но упустить время — это означало поставить под угрозу весь репортаж. И Рич решает, что прежде всего надо добраться до студии, а недостающие детали можно будет заполучить потом. Главное, чтобы их никто не опередил.

НЕМЕЦКИЙ ПАСПОРТ

Стремление выдать желаемое за действительное привело к тому, что предположение, которым обменялись Рич и Питер раньше, превратилось теперь, в приемном покое больницы, в непоколебимую уверенность. Тем более, что в вещах господина без сознания были найдены паспорт Федеративной Республики на имя Хайнца Изидора Бергерзона и авиабилет до Франкфурта, а в общей больничной сутолоке этого оказалось достаточным, чтобы его принадлежность к дипломатическому корпусу ни у кого не вызывала сомнения. Немалую роль тут сыграли, безусловно, изысканная одежда и впечатляющая внешность этого господина.

Но раз так, то логично рассудить следующим образом. Авария, и только она, открыла миру, что разгуливает по нему человек с паспортом на имя Хайнца Изидора Бергерзона. Однако сейчас он беспомощен и не может ответить сам за себя, и поскольку врачи еще не установили причину потери сознания и не знают сколько долго может продлиться такое состояние, — то возникает естественный вопрос идентификации его личности. А если речь идет о политическом деятеле или высокопоставленном дипломате, то надо немедленно связаться с посольством. И события стали стремительно развиваться, словно цепная реакция.

Консул доктор Эберхард Брукнер уже собрался открыть парадную дверь своего офиса на улице

Чэшем, когда голос фрейлейн Шляйфер булавкой вонзился ему в затылок. Доктор Брукнер сразу понял, что подготовиться к приему в Бакингерском дворце он уже не успеет. Ведь фрейлейн Шляйфер сама посоветовала ему, всего несколько минут назад, сократить рабочий день. Она прекрасно знала, с каким нетерпением его Инге ждала радостной вести о включении их в список лиц, сопровождающих посла на королевском приеме. И если теперь фрейлейн Шляйфер позвала его, значит, это верный признак того, что произошло что-то непредвиденное, иначе говоря, неприятное.

— Простите, господин доктор, но сразу после того, как вы вышли из кабинета, позвонил полицейский офицер.

— Полиция?!

— В машине, которая попала в автомобильную катастрофу по дороге в Хитроу, сказал офицер, найден гражданин Федеративной Республики. Человек без сознания, и состояние его вызывает серьезные опасения.

Фрейлейн Шляйфер заметила, как на лице консула появились признаки недовольства, ведь каждый день в Лондоне с каким-нибудь немецким подданным что-нибудь да случается, и, как правило, этими делами ведает она сама.

— Случай, господин доктор, необычный. Машина дипломатическая. Другие пассажиры, в том числе и шофер, еще не обнаружены. Пострадавший, некий господин Бергерзон, не отмечен в консульстве и не фигурирует в наших особых списках. Я подумала, что в этом случае я обязана сообщить вам.

За два года работы в Лондоне консул научился различать любой оттенок в точных и кратких докладах старшей и наиболее опытной секретарши консульства. Да, действительно, дело весьма и весьма неприятное. Она намекает на одну-единственную возможность — разведка. Даже если бы фон Штойссель, этот померанский бык, не смотался бы еще в полдень, то все равно он не стал бы ввязываться в эту историю.

Теперь я здесь один, и надо выбрать между новым кружевным платьем Инге и вероятностью быть втянутым в очередной провал нашей разведки. Возможный выход из положения — это немедленно отфутболить дело к полковнику Унтермайеру, но не случайно фрейлейн Шляйфер не намекает на этот путь. В консульском отделе сидят одни неудачники. И грех было бы не воспользоваться таким единственным в своем роде стечением обстоятельств и не продемонстрировать Бонну свои способности, не напомнить им там как о самом существовании специалиста по истории британского конституционного права, так и о том, как его бездарно здесь используют.

Доктор Брукнер вернулся в кабинет. Он связался с полицией и попросил продиктовать данные, записанные в паспорте. Номер. Полное имя. Место рождения — Франкфурт, 6 июня 1927 года. Рост — 182 сантиметра. Особых примет нет. Чтобы выиграть минуту-другую для размышлений, он задал вопрос, который принято задавать в такой ситуации.

— Все еще большая неразбериха, — ответил полицейский, — никак не выясним личности всех убитых и раненых.

Очевидно, что только из-за особого положения этого джентльмена и из-за опасения за его жизнь полиция поторопилась позвонить нам, ведь все равно последует просьба вызвать из-за границы его близких.

В ответ на вопрос, не знает ли его превосходительство, кто из сотрудников посольства сопровождал гостя на аэродром, доктор Брукнер пробормотал что-то неопределенное. И без того проявлено много прити, подумал он про себя, ведь если этот Бергерзон был в Лондоне с тайным заданием и те, кто его сопровождали, были сотрудниками разведки, то я обязан срочно вызвать полковника Унтермайера. Но так как это еще неустановленный факт, то никто не сможет осудить его, Брукнера, в превышении полномочий. Сейчас же он должен срочно отправиться в больницу, и там, смотря по обстоятельствам, принять нужное решение.

А если он выедет в Эксбридж не теряя ни минуты, то успеет все разузнать, заехать домой, переодеться и прибыть в музыкальный зал дворца ровно к девяти. Инге в своем кружевном платье, а он во фраке.

В ДЕЛО ВМЕШИВАЕТСЯ ТЕЛЕЭКРАН

Теперь оставим доктора Брукнера, спешащего в больницу Эксбриджа, ибо события стали развиваться по своим законам и не в полном соответствии с предположениями автора блестящего труда о влиянии британских конституционных принципов на бывшие колонии Ее Величества. Мы еще вернемся к господину консулу, которому предстоит сыграть немаловажную роль во всей этой истории, а пока перенесемся на улицу Бейзуотер, на девятый этаж „Рочестер Хауз”, в квартиру генерала Жана Франсуа де Транбле, из южных окон которой открывается великолепный вид на пленяющий своей наготой Гайд-парк во время листопада.

Итак, цепная реакция продолжалась. Несмотря на свои недюжинные академические способности и ясный аналитический ум, доктору Брукнеру и в голову не могло придти, что фрейлейн Шляйфер, следуя многолетнему опыту своей работы, позвонит во Франкфурт и попытается ускорить розыск родных и друзей находящегося без сознания человека. Все-таки образ мышления доктора права отличается от хода мыслей журналистов, разведчиков и даже самых опытных секретарш консульства. В то время как господин консул лавировал в потоке машин, чтобы выбраться за пределы Лондона (к счастью, туман кончился и пошел мелкий дождик), Рич перед камерой телеобъектива уже задавал свои вопросы генеральному консулу господину фон Штойсселю.

Цепная реакция распространилась на фрейлейн Шляйфер, корреспондента Би-Би-Си, генерального консула фон Штойсселя, а тот, в свою очередь, вовлек в нее сотрудника II отдела французского посольства полковника Роше. Роше же подключил генерала Жана Франсуа де Транбле.

Смысл жизни де Транбле видел в служении Франции и в процветании своего древнего и знатного рода. А героические времена Соппротивления были воплощением такой жизни. Будучи по природе своей анархистом, генерал позволял себе в душе все, но внешне подчинялся строгим условностям жизни и скрупулезно выполнял все ее требования. Он представлялся себе бочкой, которую стянули обручами, чтобы вино не разнесло ее изнутри. И не то чтобы в облики его было нечто, напоминающее бочку, напротив, по сравнению со своими коллегами, заплывшими жиром уже много лет назад, де Транбле с годами сморщивался. В ванной комнате, перед запотевшим зеркалом, отражавшим его тело, он сравнивал себя — и сравнение это очень ему нравилось — с березкой в зимний день. Жена упрасивала его обратиться к врачам, но он прекрасно знал истинную причину своего сморщивания — страх потерять самого себя. Или на фрейдистском языке, столь любимом Раймоном Маритэном, страх держать ответ перед самим собой.

Но главное, он уже и сам не знает, кем является в действительности. И что больше губит его: опостылевшие обязанности, которые словно обручами стягивают его всю жизнь, или неудовлетворенные страсти? По сей день судорожно сжимаются пальцы его рук, и не только когда он проходит мимо Академии искусств, но и когда просто попадаетея ему на глаза завораживающее сочетание букв „боз-ар”. И все же не было ничего более само собою разумеющегося, чем по семейной традиции пойти учиться в военную академию Сен-Сир.

А потом он откликнулся на призыв Генерала и теперь уже не может представить себе свою жизнь иначе.

Да, это была обязанность по отношению к униженной Франции, обязанность, которая оставила картины ненаписанными, а поэзию невысказанной. Все эти порывы давно уже угасли в нем, намного раньше, чем высохло его тело. Но разве мог он найти красоту более возвышенную? Не искать же ее было среди той богемы восточного берега, которая и во времена оккупации писала картины, сочиняла стихи и философствовала, а после освобождения выдала себя за знаменосца борьбы. И они еще осмелились предложить Франции отказаться от своего будущего, изменить своему прошлому и извозиться в низменных страстях ежеминутности?

Но у нас был Генерал... Вчера заявил он перед тысячной аудиторией, бросил в лицо всему миру слова, от которых никто из нас уже не отмоется. С этого момента мы не можем больше видеть в нем, в великом Шарле, преграду тому мутному потоку в истории Франции, который начался делом Дрейфуса, а кончился позором Виши. В 1967 году, при жизни поколения Освенцима, через несколько месяцев после июньского чуда заявить, что евреи — это избранный народ, самоуверенный и властолюбивый?! Не только собственный конец он ускорил, но и конец всего нашего поколения. И мой конец. Мое высохшее тело принадлежит теперь миру умерших.

Умер — но поразительно живуч. Только какое-то сверхчутье, сделал себе комплимент де Транбле, не подкачало и на этот раз. И удержало меня от ежегодного дипломатического приема во дворце. По меньшей мере, на сегодняшний вечер я гарантирован от стыда перед коллегами по работе. Стоит позвонить Раймону Маритэну. Как он был прав, сказав мне на прошлой неделе, что я уже выполнил мой долг и могу удалиться в родовое поместье. Позвоню и скажу ему только одну фразу: „Признаю, Раймон, пришел мой час”.

Зазвонил телефон. Два-три раза прозвучал резкий звонок, и тишина комнаты лопнула, словно дорогое стекло. Де Транбле посмотрел на фарфоровый аппарат

с позолоченной трубкой в стиле начала века. Телефонные звонки повторились. Сейчас в посольстве все прихорашиваются в честь лишенной полномочий королевы, стоящей во главе социалистической монархии — символа распадающейся империи. Посольские не позвонят. Стало быть, Париж? Начнут пересказывать речь Генерала, тоже играющего в величие, которое никогда к нему больше не вернется. Как хочется ему стать новым Кольбером и возродить нравы времен Людовика XIV, когда меркантилизм и золото были властителями мира.

— Де Транбле, — тихо прозвучало в трубке.

Он чуть было не рассердился на Роше за то, что это был он, а не Париж. Как будто Роше отнял у него своим неожиданным звонком последний признак жизненности. И сухо ответил:

— Клод, неужели Лондон снова горит?

Однако Роше не засмеялся — либо намек на большой пожар остался непонятым, либо действительно что-то горело. Но почему же он молчит?

— Я звоню вам, мой генерал, чтобы обратить ваше внимание на последние новости.

Это немного выходит за пределы хорошего тона, мой молодой друг, я еще не превратился окончательно в бездельника.

— Ваша бдительность, Роше, трогательна, но я получаю отчеты непосредственно из Парижа. Не опаздываете ли вы во дворец?

— Непосредственно?! — удивился Роше.

Тут де Транбле понял, что Роше вовсе не имеет в виду отклики на пресс-конференцию Генерала, а хочет сообщить что-то другое, неизвестное Парижу. Но Роше добавил лишь несколько слов, выбранных с профессиональной тщательностью.

— Во дворец, мой генерал, я, может быть, вообще не поеду, но если вы позволите, то заеду к вам как только окончится ближайший выпуск последних известий по телевидению.

Все пустые размышления как будто рукой сняло.

Твердым солдатским шагом направился де Транбле в маленькую комнату, где стоял телевизор. Перед ним устроились жена и дочь и, как это у них принято в дни, когда они остаются дома и никого не принимают у себя, словно загипнотизированные электронным мерцанием экрана смотрели очередную глупость. О, Анн Мари, наследница дома де Транбле, растение, взращенное мною, беги босая в Слоун-сквер, обнажи груди свои в Сен-Тропез, и грши, грши, но только не сиди так с закрытой книгой на твоих целомудренных коленях перед телевизором. Ты и твоя мать.

Ага, вот и последние известия. Но Роше не подал ни малейшего намека на то, из-за чего поднялась на ноги вся контрразведка. Лондон не горит, но дым все же откуда-то идет. Что же может вывести Уайтхолл из себя? Неужели снова эта фраза Генерала, которая не простится ему никогда?

Британия обязана изменить свой характер прежде, чем будет принята в „Общий рынок”... Утечка золота из Лондона в Париж... Все это не то, о чем не договорил Роше? Теперь конек англичан — погода. Внезапный туман после обеда... Неужто я пропустил самое главное? Автомобильная катастрофа... В учебниках по истории смерти на шоссежных дорогах запечатлится как одна из самых страшных эпидемий нашего времени. Человек на носилках в карете скорой помощи... Он заснят с очень близкого расстояния, и какое безупречное лицо, совсем без признаков ранения. Этого человека я знаю! Минутку...

Следующие кадры отодвигают лицо мужчины на носилках. А это что за бритая голова с бычьим затылком и тройным подбородком? А, фон Штойссель, жирный бош, о деятельности которого в годы оккупации у нас хранится очень интересная папка. Снова знакомое лицо и голос фон Штойсселя: „Человек, находящийся в бессознательном состоянии, обладает немецким паспортом, но он не дипломат, как сообщалось об этом ранее. И, насколько нам известно, не занимает никакого важного поста... Паспорт выдан на

имя Хайнца Изидора Бергерзона, но наши усилия разыскать его семью и сообщить ей о несчастье не увенчались пока успехом...”

Стоп. Это, действительно, очень странно. Откуда такая трогательная забота фон Штойсселя о семье какого-то неизвестного гражданина, чтобы та, не дай Бог, не упустила возможность сказать ему последнее прощание? И это тогда, когда монитарная система разваливается, президент Республики поносит не только еврейский народ, но и Британию и Америку... Если бы так искали Генриха Мюллера из гестапо или Менгеле из Освенцима...

О чем же он говорит сейчас?

— ...из паспортного отдела во Франкфурте нам сообщили по телефону, что пострадавший проживал некоторое время в Париже...

Ах вот оно в чем дело! Теперь понятно, для чего расписывают так подробно всю эту историю для девиц!.. Час тому назад раненый был дипломатом в машине с дипломатическим номером, а теперь не могут разыскать его семью. И вдруг — Париж. И еще это знакомое лицо в амбулансе. Тоже профессиональная привычка — фиксировать каждое лицо и хранить его в памяти.

Вот почему Роше так осторожно подбирает слова. Ведь авария может оказаться следствием отличного плана, приведенного в действие в наиболее подходящий для этого момент. Но, с другой стороны, не надо горячиться и излишне мудрствовать. Может быть, это и не англо-немецкие козни против Парижа, а просто идиотская страсть бывшего нациста представлять на маленьком экране облик Германии, в которой несчастье каждого отдельного гражданина становится чуть ли не общенациональной трагедией.

И все же — этот человек мне знаком. К сожалению, мы встречаем слишком много людей. И все они похожи на идеального мужчину с рекламы сигарет, банков, лыж или авиакомпаний. Все это от хорошей жизни. Но все же откуда я его знаю? Не из Сопротивления.

Если ему сейчас примерно сорок, то тогда он был ребенком. И не со времен моей работы во II отделе. Если он француз, замаскированный под немца, — то это одно дело. Но если он немец, с чьим французским обликом я в свое время столкнулся, — тогда это меняет дело. И оно становится совсем не смешным и не пустяковым. За то короткое время, что прошло между аварией и беседой с телекорреспондентом, фон Штойссель вряд ли успел навести справки об этом человеке у немецкой разведки. И из-за излишнего усердия он раскрыл своего агента, а английские лисы, которые вряд ли приложили руку к аварии, уже должны были учуять добычу. Случайная катастрофа на автостраде № 4 была тем механическим зайцем, по следам которого запускаются псы на собачьих бегах. Теперь все ожидают крупного приза.

Впустив Клода Роше в свой кабинет, де Транбле вовсе не собирался выслушивать его и сразу приказал:

— Немедленно сообщить в Центр и запросить данные о французских связях человека, находящегося в бессознательном состоянии.

О том, что лицо этого приятной внешности мужчины было ему знакомо, де Транбле не сказал Роше. Он ощутил в своем высохшем теле прилив свежих сил. Оставшись один, он закроется у себя в кабинете и, сосредоточив все чувства, попытается вызвать из памяти, где и когда — ведь совсем недавно — он видел это лицо. Ключ к загадке у него в памяти. Посмотрим кто кого — Роше ли со всем его аппаратом или он один.

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ

Несколькими часами раньше доктор Брукнер въехал на темную улицу, на которой находилась больница. Среди однообразия псевдоготических чудовищ викторианской эпохи она сразу бросалась в глаза даже в этот сумрачный ноябрьский вечер. Как только он назвал себя, сестра передала ему сообщение от фрейлейн Шляйфер: немедленно связаться с консульством.

Было заметно, что сестре общение с человеком, представляющим целое государство, доставляет немалое удовольствие. И пока он набирал номер, она с радостью сообщила все, что ей известно: уже опознаны все пострадавшие, кроме двоих. Они были в „мини”, и их разорвало на кусочки... Говорят, студенты... ехали в Оксфорд... Тех двоих, что находились в дипломатической машине, полиция тоже наконец-то разыскала. По номеру. Они из Венесуэлы. Их поместили в больницу в Слау, оттого вся путаница...

Консул опешил: „Как, Венесуэла?!” Он не успел опомниться, а в трубке уже раздался скрипучий голос фрейлейн Шляйфер:

– Я хотела бы сообщить вам, что мною выяснено во Франкфурте.

– Франкфурт? Причем тут Франкфурт, фрейлейн Шляйфер? – он говорил шепотом, едва сдерживая гнев. Эта сверх меры педантичная секретарша своим усердием сведет его с ума. Но еще больше раздражала его собственная глупость. Обычный паспорт, это обыч-

ный паспорт, черт возьми! И если бы не желание стяжать себе славу, он обязан был бы по заведенному порядку немедленно сообщить Унтермайеру, что все машины на месте. Черт, Венесуэла!

— Но ведь паспорт на имя Бергерзона был выдан там, господин консул. К счастью, начальник паспортного отдела еще не ушел домой. Он тоже из кенигсбергских беженцев и друг нашего семейства. И он сделал все возможное, чтобы найти адрес.

Дело, принявшее в воображении Брукнера характер запутанной детективной истории, с раскрытием которой должна была начаться новая, блестящая страница в его не слишком удачной до сих пор карьере, оказывается таким простым.

— Ну что ж, я вас поздравляю. Сообщили семье?

— К сожалению, нет. Это оказался адрес частного пансиона, сменившего уже название и хозяев. Мы связались с ними...

— И все это вы успели провернуть за то время, пока я добирался сюда?

— Но к чему откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Они сказали, что его имя им неизвестно.

А, все равно... Вся эта беготня унижительна и смешна. Надо побыстрее округлиться и бежать к Инге.

— Однако начальник паспортного отдела обнаружил странную вещь, господин Брукнер. Оказывается, паспорт выдан на основании параграфа 116, раздел 2.

Доктор Брукнер шагал по коридорам больницы, выкрашенным в такие кричащие красные и ядовито-желтые цвета, что ему казалось, будто он попал в современный детский сад. Откуда взялась шутка об английских медсестрах, прикалывающих булавку к платью, дабы отличить грудь от спины! Он шел за сестрой, халат мини которой с трудом сдерживал ее пышный зад и танцующую грудь. Но что имела в виду фрейлейн Шляйфер, упомянув о параграфе 116, раздел 2? Ведь это же меняет абсолютно все! Тогда перед нами не какой-то франкфуртец, который несколько

лет тому назад заказал себе паспорт для поездки за границу, а человек, лишенный гражданства по политическим, расовым или религиозным причинам в период между 30.I.1933 и 8.V.1945. Так, кажется, записан в конституции Федеративной Республики этот параграф. В таком случае, все проблемы снова становятся актуальными.

Не останавливаясь, сестра повернулась своей танцующей грудью к доктору Брукнеру и спросила, есть ли в Германии столь современные больницы. Раньше она работала в этой ужасной казарме на улице Пулэм, где десятки больных содержатся в зале, похожем на вокзал или на королевские конюшни. Кстати, вряд ли у самого доктора Эванса сложилась уже ясная картина о состоянии вашего господина Бергер-зона. Но доктор поистине прекрасный человек и делает все, что в его силах. А вот и он сам.

Весьма молодой человек, удивился Брукнер. Может быть, даже моложе, чем он выглядит, как все черно-волосые южане. Эванс — валлийская фамилия. То есть — галльская, то, что здесь называют „кельтская”. Модные бакенбарды и длинные волосы, не умещающиеся под зеленой докторской шапочкой, но при этом агрессивный подбородок и усталые глаза. Человек, лавирующий между живыми и мертвыми.

— Человеческая голова — это вам не крикетный шар, — начал излагать доктор Эванс. Гостю он предложил сесть и выпить чашку чаю, сам же остался стоять. Валлийские интонации в речи придавали его профессиональным объяснениям таинственность.

— Симптомов повреждения мозга или центральной нервной системы, которые могли бы объяснить потерю сознания, мы пока не обнаружили. Но утверждать с уверенностью, что таковых повреждений нет, мы на этом этапе также не можем. Взяты пока лишь первичные анализы, а поскольку определенные изменения функций организма дают о себе знать только по истечении часов, а иногда и дней после травмы, то мы

должны быть чрезвычайно осторожны. Нам нужно время.

Да, время. Передо мной стоит та же проблема, подумал доктор Брукнер. Теперь мне просто так не выйти из игры. Чересчур очевидна стала агентурная подоплека всего этого дела. И фрейлейн Шляйфер определенно расскажет фон Штойсселю, а, возможно, и Унтермайеру, что поставила меня в известность о расхождении между тем, что записано в паспортном отделе, и настоящим адресом Бергерзона. Который пока никому не известен.

Видимо, лицо консула выражало озабоченность состоянием больного, потому что доктор Эванс добавил:

— Следует подчеркнуть, что хотя он и продолжает оставаться без сознания, рефлекторные реакции неоднозначны, пульс слабый, давление низкое и, возможно, что это всего-навсего кратковременный шок. Больной крепкого телосложения, и я надеюсь, что он быстро оправится. Удалось ли вам разыскать уже его семью?

— Мы пытаемся, но пока безрезультатно.

Тогда молодой врач предложил осмотреть личные вещи пострадавшего.

Во все эти неприятности я влез по своей воле, проклинал себя Брукнер, и теперь любое увиливание от распутывания этого клубка только повредит мне. Придется следовать естественному ходу событий.

— Спасибо, это, в общем-то, и было целью моего прихода сюда, — поблагодарил он доктора Эванса.

Кладовщик выдал консулу пакет, ручной чемоданчик и средних размеров фибровый саквояж, который по непонятно на чем основанному предположению полиции также принадлежал к вещам Бергерзона. В бумажнике оказалось лишь несколько купюр на небольшие суммы в фунтах стерлингов, немецких марках и швейцарских франках. Никаких чековых книжек, аккредитивов для транзитных пассажиров, ни визитных карточек, ни записной книжки с упоминанием

хотя бы какого-нибудь адреса или телефона, — ничего такого, что могло бы послужить хотя бы малейшей зацепкой. Дорогая одежда свидетельствовала об особой приверженности ее хозяина к Лондону. Часы „Этерна-матик” и золотая зажигалка подчеркивали, что их обладатель имеет склонность ко всему самому лучшему. А главное, может себе это позволить, как, например, эти вот четыре сигары в специальных кожаных футляриках. Лишь пара авторучек „Лами” была немецкого производства. Была здесь также большая связка ключей, но только два из них подошли к чемоданам. Характерно, что он не выбрал себе „самсоньен” с потайным замком. На самом деле ему нечего скрывать или он не рискует держать при себе предметы, способные вызвать излишний интерес?

Но вот — его авиабилет. Люфтганза. Цюрих—Франкфурт—Лондон—Франкфурт—Цюрих. Куплен четвертого мая этого года. В тот же день вылетел во Франкфурт. Четырнадцатого числа того же месяца вылетел в Лондон. Ну а после? Провел ли он в Лондоне все лето и всю осень? И почему турне начинается и кончается в Цюрихе, а не во Франкфурте? Европа сегодня распахнута настежь, и штампы в паспорте еще ничего не говорят о перемещениях гражданина Федеративной Республики.

Фибровый саквояж был еще более удивительным. Достаточно потрепанным и с не слишком изысканным содержимым. Потертые коричневые вельветовые штаны, свитер лимонного цвета, пиджак из твида, замшевые ботинки — все поношенное, не первой свежести, измятое и уложенное в чемодан с явной небрежностью. А под всем этим, внизу, а не сверху, как водится, лежал плащ военного покроя, который в отличие от английских вещей был немецкого производства. Погоны, широкий пояс, два ряда металлических пуговиц и армейская серо-зеленая окраска — фасон, вновь распространяющийся в Германии. В мозгу доктора Брукнера промелькнула картина, отозвавшаяся легким уколом в груди: прощание с отцом, затянутым в

красивую военную форму, перед его отъездом на Восток.

Ручной же чемоданчик, „атташе-кейс”, был, наоборот, новеньким и все, что было внутри него, казалось купленным вчера. Каталог книжных издательств, ноябрьский номер „Плейбоя” и последний выпуск „Таймс литерари саплмент” лежали рядом с предметами, явно предназначенными для подарков: жилет с разноцветными кожаными полосами, какие покупаются девушками в „Биба”, пояс, набор больших пластмассовых колец и грубые шнурки. И снова отголосок Германии — „Собачьи годы” Гюнтера Грасса. Очень зачитанная книга, которую он, быть может, взял шесть месяцев назад во Франкфурте и сейчас собирался привезти обратно вместе с подарками. Доктор Брукнер вдруг отчетливо представил себе его девушку. Она из Франкфурта, одевается с известной долей эксцентричности, любительница книг и, наверное, работает в одном из издательств. Скоро она вернется в буржуазную и совершенно нелитературную среду, из которой вышла. Но пока она вращается в псевдоартистических кругах, и, наверняка, она немного взбалмошная. Теперь этот загадочный герр Бергерзон предстает в совсем ином свете. Может быть, он принадлежит к тем финансовым воротилам Франкфурта, которые в конце недели выезжают в горы Таунус на эскизы. И только сейчас, перевалив за четвертый десяток, он смог наконец оторваться от всего этого и убежать в Лондон в надежде, что здесь произойдет что-нибудь необычное. Но вот он снова возвращается во Франкфурт, и в чемоданах у него ничего нет кроме измятой одежды и пары сувениров с Карнэби-стрит... Нет, не во Франкфурт — в Цюрих... Опять не то — я же забыл про параграф 116, раздел 2. Однако это уже никого не интересует и, тем более, не затрагивает интересов государства.

Доктор Брукнер захлопнул „атташе-кейс”. Затолкал в саквояж отнюдь не парадные одежды Бергерзона и внезапно почувствовал, как под его рукой что-то

зашуршало в кармане вельветовых брюк. Из далеко негосударственного любопытства он прощупал материю, и с растерянностью человека, которому вдруг позволили подглядывать в замочную скважину, нерешительно засунул три пальца в карман штанов. Перед ним была измятая газета, отпечатанная на папиросной бумаге. Язык не немецкий и буквы странные и необычные. Шрифт не латинский, не кириллица, не арабский, не деванагари* и не один из тех шрифтов, с которыми он сталкивался во время работы в Африке. Тем не менее, эти квадратные значки разбудили в нем какие-то давние и неприятные воспоминания.

Он полистал газету в надежде найти ответ на свой вопрос. И на одной из страниц в правом верхнем углу, в черной рамке, среди таинственных знаков обнаружил разгадку. Там по-английски было написано: ежедневная газета, Тель-Авив, Израиль, номер почтового ящика, телефоны. Тут же, откуда ни возьмись, появилась дата — 24 этого месяца. То есть, газета четырехдневной давности! Очевидно, что он позавчера или вчера, а может быть, даже и сегодня утром купил на иврите газету здесь, в Лондоне, и допустил тем самым непоправимый промах. Теперь маскировка сорвана с него.

Лицо доктора Брукнера оставалось невозмутимым. Кладовщик занят своим делом и ничего не заметил. Быстро вернуть все на свои места, запаковать, не возбуждая подозрений, и обдумать все по дороге домой. Но мысль уже заработала: Цюрих тоже ничто иное, как промежуточная станция. Человек этот прибыл из Тель-Авива и туда же собирался вернуться. И даты совпадают — в мае, накануне войны, выехал, а в конце ноября, после принятия резолюции в Совете Безопасности, возвратился обратно. При этом он всегда делает пересадку во Франкфурте. Там сидит их главный резидент. Оттуда евреи руководят преступным миром, и туда стекаются миллионные барыши от их земельных спекуляций. Там, как во времена Зюсса и ранних Рот-

* Одна из разновидностей индийского письма.

шилдов, средоточие еврейского капитала, и там же главный узел их агентурных сетей.

Старик-кладовщик спросил, не может ли он чем-нибудь помочь.

– Нет, спасибо, – поблагодарил доктор Брукнер, – я уже закрываю чемоданы.

Старик одет в синюю униформу, на груди у него колодки от медалей времен войны. Он ничего не замечает. Так ведь ничего и не случилось, ты просто подумал об евреях так, как говорили о них в те времена, про которые сейчас никто не хочет вспоминать. И еще минуту назад ты мог скрыть допущенный человеком без сознания промах. Стоило только засунуть газету не в карман вельветовых брюк, а в собственный карман. Но ты упустил момент, точно так же, как и шесть месяцев назад, когда снова прозвучали слова об уничтожении и ликвидации. Тогда ты готов был уйти в отставку и пойти добровольцем в израильскую армию, но... всего лишь в мыслях. И сейчас ты положил газету на место, и вот уже старый кладовщик взял чемоданы и пакет с ключами и ставит все это на полку. Только бы не быть тебе замешанным в этом деле. А не найди эту газету – его бы вообще могло не быть.

Но на обратном пути Брукнер уже твердо знал, что так просто ему не выпутаться. И если он что-нибудь не предпримет, то вмешается полковник Унтермайер. Близких будет невозможно найти, поскольку семья пострадавшего находится не в Германии, и тогда найдут газету и билет. И все раскроется. А ты, Эберхард Брукнер, не сделав того, что надо было, пошел по стопам отца – когда-то хорошего администратора в генерал-губернаторстве. И твоё молчание сейчас станет продолжением того же пути. Евреи, евреи...

Теперь квадратные буквы тель-авивской газеты увиделись ему очень ясно. Сколько раз вынимал он из застекленного буфета старинные серебряные вещи, привезенные отцом, пытаясь расшифровать тайну высеченных на них угловатых значков. Среди этих вещей

была ажурная башенка, к острому шпилю которой был приделан флажок, а в самой башне была дверка на петельках. По рассказам матери, там евреи воскуривали благовония во время своих варварских богослужений. Был еще древний подсвечник, восемь ветвей которого напоминали раскрытые ладони. А рядом с необычным блюдом стояли большие кубки для вина. В детстве Эберхарда тянуло к этим предметам и к высеченным на них магическим знакам. Как-то раз он услышал, как одна из соседок сказала матери, что она бы не стала выставлять у себя в доме такие еврейские штуки, и это еще больше распалило его воображение. Он, подражая Аладину, тер эти предметы и произносил над ними заклинания, но никакого волшебства не выходило. Может быть, именно потому, что он не умел прочесть эти знаки.

А как-то, еще задолго до прихода американцев, отец вообще перестал приезжать домой в короткие отпуска. И однажды, вернувшись из школы, Эберхард заметил, что в любимом им буфете произошли изменения: все предметы, которые привозил отец, исчезли. В тот день мать сказала, что отца убили. И теперь не остается ничего другого, как молиться, чтобы американцы опередили красные орды, надвигающиеся на нашу родину с Востока. А эти серебряные вещи мы должны вычеркнуть из памяти, и даже под угрозой пытки он не должен сознаваться, что когда-то их видел. Он вообще не знает, о чем идет речь. Ничего такого не было.

Но как-то, несколько лет спустя, в период работы над своей диссертацией о влиянии британских конституционных принципов на бывшие колонии, сидя по обычаю в университетском международном клубе и лениво листая иностранные журналы, он неожиданно наткнулся на нечто, поразившее его словно громом. Перед ним была фотография того самого блюда, которое когда-то отец привез из генерал-губернаторства. Это была одна из иллюстраций к большой статье под названием „Ритуальные принадлежности в еврей-

ском народном искусстве в странах Центральной и Восточной Европы”. Теперь лишь стал ему ясен смысл тех магических символов. Они оказались сочетаниями ивритских слов — как, например, кос-браха* или мазал-тов**, благословениями, произносимыми над субботними свечами; названиями различных видов яств, которые, будучи разложены в определенном порядке на блюде, символизируют собой исход евреев из рабства.

Но страх, который вселила в его сердце мать в тот день, 22 года тому назад, был, очевидно, так силен, — размышлял про себя Брукнер, — что затмил даже более поздние воспоминания. Как прав был доктор Эванс, заметивший, что выражение „бессознательное состояние” — всего лишь литературный образ, а не медицинское определение. И часто им пользуются для определения диаметрально противоположных органических и душевных изменений состояния, как, например, поврежденный мозг и раненая душа.

Вместо того, чтобы выбрать короткий путь и поехать по автостраде Хэммерсмит, а затем по Кромвель-роуд, Брукнер свернул налево, въехав в собственно Хэммерсмит, и направился далее по направлению к главной улице Кенсингтона. Этим вечером провидение устроило ему небольшое испытание, и на этот раз он его выдержит. Уже около семи, и неизвестно, остался ли еще в израильском посольстве кто-нибудь, кто сможет оценить всю серьезность и срочность его сообщения. Но он свой долг выполнит.

Номер посольства он нашел в потрепанном справочнике в телефонной будке. Ему ответил молодой мужской голос. После первой же фразы, произнесенной человеком на другом конце провода, стало ясно, что его познания в английском языке весьма и весьма слабы. На все просьбы доктора Брукнера переговорить

* Кос-браха — кубок для вина, употребляемый при произнесении благословений.

** Мазал-тов — пожелание счастья, поздравление.

с более ответственным сотрудником посольства — следовало требование назвать сперва свое имя.

— Слушайте внимательно и записывайте слово в слово. В больницу Эксбриджа, повторяю, Экс-бри-д-жа, доставлен сегодня после полудня человек в бессознательном состоянии...

— Я обязан получить имя, — настаивал голос на ко-рвавом английском.

— Мой юный друг, это крайне важная информация, — от возмущения Брукнер чуть не сорвался на фальцет, — записывайте, а принимать решения предоставьте более сведущему человеку. Имя пострадавшего в автомобильной катастрофе по дороге в аэропорт Хитроу — Бергерзон, Хайнц Изидор Бергерзон. У него в кармане найден немецкий паспорт, но он израильтянин. Больница Эксбридж. Это сообщение немедленно передайте выше.

Он почувствовал себя опустошенным, как будто его всего только что вывернуло наизнанку. Он повесил трубку и вышел из телефонной будки. На мгновение показалось, что перед ним распахнули дверь тюремной камеры, в которой провел он долгие годы заключения. Его бил легкий озноб. И хотелось только одного — убежать скорее отсюда и забыть то, что он сделал. Был ли то акт искупления старых грехов или новый грех на душу...

С поворотом ключа зажигания включилось радио. Его была лихорадка, и в первое мгновение показалось, что он слышит голос фон Штойсселя. Брукнер сразу выключил радио. Голос замолк. Потом снова нажал на кнопку выключателя — да, без сомнения, это померанский бык.

— Генеральное консульство Федеративной Республики, — говорил он сейчас, — продолжает предпринимать все меры по розыску семьи пострадавшего. Однако, к сожалению, пока безуспешно. С вашего позволения, — это, очевидно, к ведущему программы, — я воспользуюсь этим микрофоном, чтобы обратиться

к тем, кому известно что-либо о Хайнце Изидоре Бергерzone...

Теперь одна неотвязная мысль преследовала доктора Брукнера — газета. И как ни гнал он машину, мысль эта следовала за ним неотступно до самого дома, на улице Ханс. Газета была у тебя в руках. Но ты достойный сын своего отца, который в каждый свой наезд из генерал-губернаторства осыпал вас подарками. Ты мог устранить эту улику, но не устранил, а положил газету в карман вельветовых штанов. Если израильтяне не предпримут немедленных действий и не заберут его из больницы, то начнется большая погоня. Но они должны успеть. Ведь доказали же они всему миру, что и более трудные задачи им под силу. Кто же мог предполагать, что события будут развиваться так стремительно, и то, что, казалось, было известно только мне и фрейлейн Шляйфер, попадет на радио и станет всеобщим достоянием?.. А сейчас этот тщеславный идиот фон Штойссель запутывает все до отчаяния и, трубя в охотничий рог, спускает своих лондонских ищеек по следу раненого зверя. Эх, дорогой Эберхард, упустил ты шанс, и не будет тебе искупления. А грех твой обернулся преступлением.

СВОЙ – НЕ СВОЙ

Если бы знал я чуть получше этот чертов английский, то сам бы позвонил в Эксбридж и справился о состоянии Бергерзона. А на вопрос, кто интересуется, ответил бы: ну... из немецкого посольства... Но разве кто-нибудь меня поймет? Никто не поверит, что я немец, а уж тем более англичанин. Только теперь начинает выясняться, какой язык мы учили на уроках английского языка в школе: по всей видимости, это был польский. Во всяком случае, англичане не понимают меня, а я их. Но что же делать с этой информацией? Правда, Римон предупреждал, что, возможно, будут звонить всякие психи и сообщать о подложенных бомбах, о разных секретных изобретениях и о шпионах... Но что если этот неизвестный с таким взволнованным голосом говорит правду? Это может быть серьезно. В конце концов, кто я такой, чтобы рисковать?

Сегодня было дежурство Эреза Хаммера, и он должен был сидеть на телефоне. В Лондон Эрез прибыл совсем недавно и все свободное время посвящал музеям. Своей слегка покачивающейся, словно в опьянении, походкой (а если быть совсем точным, то прихрамывая) переходил он из зала в зал и с трепетом взирал на полотна мастеров. Для него, изучающего изящные искусства в Хорнси-колледж, это было первым прикосновением к давней и страстной мечте – живописи. Работу же в посольстве, предел желаний любого молодого киббуцника, он получил благодаря протекции од-

ного партийного босса в Иерусалиме. И как ни стыдно было признавать это Эрезу, но ни похвальные отзывы его командиров в парашютных войсках, ни ранение, которое он получил в Шестидневную войну, не сыграли той решающей роли, какую сыграла рекомендация этого босса. И тем не менее, до последнего момента работа казалась самой что ни на есть отличной. Но вот, не прошло еще и часа, как Иехошуа Римон поднялся в свою квартиру на последнем этаже посольства, а он, Эрез, уже поднимает тревогу. Будто сам не в состоянии проделать даже такой простой вещи, как позвонить в больницу и проверить не разыграл ли это все. Но рисковать я не буду, пусть Римон, наряжающийся сейчас к приему во дворец, и изругает меня последними словами.

Странное сообщение нового дежурного Иехошуа Римон принял, выйдя из ванной комнаты. Его мокрые, аккуратно зачесанные назад, редкие волосы блестели. Грудь была затянута в белую жилетку. Подбородок, казалось, возлежал на стоячем воротничке, словно на подносе. На его уставшем, бледном, как орхидея, лице играла постоянная улыбка. И в зеркале отражался какой-то незнакомый человек. Не третий секретарь посольства Иехошуа Римон и, тем более, не Шая Румяnek — юноша, прошедший военные годы в лесах Белоруссии, а в 1946-1947 годах разгуливавший по Европе, словно по Гайд-парку. Но человек с лицом метрдотеля в „Савое”, готовящийся к своему первому визиту в Бакингерский дворец. За ним, в зеркале, — Хаська, пытающаяся совладать с новым платьем, расшитым золотыми и серебряными нитями по красной тафте. И ему вспомнилась их первая встреча в киббуце около Милана, двадцать два года назад.

— Теперь ты видишь, зачем я тащил тебя с собой в Лондон?

— Чтобы повести к королеве.

В ту же секунду раздался звонок внутреннего телефона, и новый дежурный передал ему сообщение. Улыбка исчезла с лица Римона. И, позабыв про тугой

воротничок, он углубился в размышления. Один шанс из ста, что это не ложная тревога, но именно он и может оказаться роковым. Бергерзон — поди знай, кто скрывается за этим именем? В посольстве убеждены, что мне известны все тайны. Но только я один знаю, во что меня превратили в Лондоне, — в мальчика на побегушках, спящего целыми днями между аэропортом и гостиницами. И больше, чем заботиться о безопасности великих мира сего, должен я заботиться об их престиже. Чтобы поместили их в „Дорчестер“, а не куда-нибудь, не дай Бог, в другое место. И не в обычный номер, а в люкс. Но главное, чтобы их обязательно, хотя бы на минуту, провели в зал для особо важных гостей, в „Олкок-энд-Браун“. И всюду подавай им почести, почести и почести. А самое страшное — они едут беспрерывно. Какую странную любовь все питают именно к Лондону, и куда бы кто ни ехал, Лондон всегда служит перевалочным пунктом. И всех я обязан обслуживать. Однако в свои секреты они меня посвящают только тогда, когда я могу быть им чем-нибудь полезным. Так откуда же мне знать, был тут этот Бергерзон или не был? Правда, в экстренных случаях мне дозволено связываться с Авнером, только поди знай, какой это случай? Ведь мне-то ничего не сообщают...

А, может быть, то, что сказал молодой парашютист, и следует сделать первым делом? Прежде всего, выяснить в больнице, не высосано ли все это дело из пальца, а потом — позвонить Авнеру. Еще вопрос, знает ли он сам все детали? Но он отвечает за такие дела, ему и карты в руки.

— Я могу уже раздеваться, — спросила Хаська, увидев, что Римон берет пальто и направляется к выходу, — бал окончен?

— Только одна телефонная беседа, несколько минут.

— Еще ни разу не было иначе. Только мы начинаем собираться куда-нибудь — телефонный звонок, и все.

Но Римон был уже на улице. Он шел по-направлению к станции метро „Кенсингтон“. Сначала позвонить в

больницу, и тогда уже станет ясно, понадобится ли беседа с Авнером. Будем действовать наверняка.

В больнице ответил молодой женский голос:

— Господин Бергерзон все еще без сознания... Кстати, вы звоните из западногерманского посольства?

— Да, — ответил Римон, стараясь придать своему иностранному произношению нечто немецкое, — мы хотели только узнать не улучшилось ли его состояние...

— Был у нас один джентльмен, консул... Это были вы?

— Нет, нет, это был мой коллега... — теперь, когда он получил гораздо больше, чем ожидал, Римон боялся проговориться и случайно выдать себя. Он пробормотал „спасибо, до свидания” и положил трубку. И сразу же набрал номер Авнера. Это не один из девяти шансов — это тот, сотый шанс.

— Белгрэйвия 6763, добрый вечер, — монотонно отозвалось в трубке голосом Авнера по-английски.

— Добрый вечер, — ответил он на иврите, — говорит Римон.

— А, что нового?

— Я должен тебя увидеть.

— Срочно?

— Я думаю, что да. Во всяком случае...

— В том же месте, в то же время.

— Если можно, чуть пораньше.

— А, понимаю, ты среди приглашенных во дворец.

Через полчаса.

Итак, вместо того, чтобы сократить путь и ехать во дворец через Найтсбридж, он поехал круглым путем через Бейзуотер. Римон поставил машину на площади Портмэн.

— Для того, чтобы сидеть тут в потемках, мне достаточно было надеть ночную рубашку, — заворчала Хаська.

Но Римон уже неторопливо прохаживался вдоль ограды сада, осторожно ступая по усыпанной опавши-

ми листьями дорожке и стараясь не запачкать взятый напрокат фрак. С таким придирчивым соблюдением всех правил конспирации он не сталкивался со времен своих встреч с посланцами из Эрец-Исраэль в послевоенной Польше. Тогда уже с расстояния в десять верст можно было по их кричащим внешностям сразу обо всем догадаться. Так и сейчас. С самого начала своей работы в Лондоне Авнер, этот поджарый мальчик, ввел такие же порядки. Он заставит тебя сначала разок-другой обогнуть весь сад, ждать его появления с Бейкер-стрит или Уигмор-стрит, и наконец убедиться, что ты ошибся и местом и временем встречи. Только тогда появится откуда-то сбоку и без рукопожатия, без приветственной фразы, протрубит тебе прямо в ухо:

— Ну, Римон, давай, говори. Жаль времени.

От неожиданности Римон обернулся. Приподнятый воротник меховой шубы скрывал почти все лицо, казалось, что из-за высокого забора торчит одна только макушка. Ни ответа тебе, ни привета.

— Продолжай идти, Римон. Говори, в чем дело?

Размеренно шагая, он передал Авнеру сообщение незнакомца и рассказал, что уже успел позвонить в больницу и там ответили, что к ним, действительно, доставлен человек по фамилии Бергерзон, пострадавший в автомобильной аварии.

— Да, это так... — начал было Авнер, но Римон поспешил перебить его, чувствуя необходимость похвастаться. Ведь несмотря на то, что это был один шанс из ста, все же чутье не подвело его.

— Не знаю почему, но я сразу почувствовал, что это наш человек!

— Об этом передавали по радио; — сухо произнес Авнер, — и потому это немного усложняет дело. Вопрос, было ли тому человеку, который звонил, что-нибудь известно, или он просто слышал сводку последних известий. Как английский этого вашего парня в посольстве?

– Так себе, средне. Ну... как у всех, кто только что приехал из страны.

Язык не слушался Римона. Одна мысль сверлила его мозг – последние известия, черт возьми! Стоило ему только включить радио – и он не оказался бы тут в таком дурацком положении. Сам того не замечая, Римон стал прикрываться Эрезом Хаммером:

– Вообще-то, он привез хорошие рекомендации. Парашютист. Получил ранение в Шестидневной войне...

– Почувствовал ли он какой-нибудь акцент в речи незнакомца? Это был англичанин или иностранец?

– Немец! – выкрикнул Римон.

Теперь все стало на свои места. Когда он звонил в больницу, рассказывал Римон Авнеру, сестра поинтересовалась не из немецкого ли он посольства, и после того, как, совершенно инстинктивно, он ответил да, она спросила не консул ли это, недавно побывавший у них.

– Может быть, это тот же человек, как ты думаешь?..

– Я не думаю, я спрашиваю. Ты заедешь в посольство, Римон?

– Сейчас мы едем в...

– Могут быть новые телефонные звонки, и я хочу, чтобы вы немедленно сообщали мне о каждом таком звонке.

– Сегодня вечером? – этим вопросом, произнесенным сдавленным голосом, Римон выразил все. Согласно инструкции только он имеет право связываться с Авнером. С дворцом покончено.

– Этот ваш парашютист, – неожиданно спросил Авнер, – случайно не Эрез Хаммер?

– Как тебе удалось... – начал было Римон, но Авнер только усмехнулся из-под своего большого воротника.

– У нас маленькая страна, Римон, очень маленькая. Ты должен предупредить его, что это строго секретно, и оставь ему ясные инструкции. Проследи, чтобы с ним кто-нибудь сидел всю ночь, иначе он не сможет

выйти на улицу и позвонить. Если ты поторопишься, то поспеешь во дворец к сроку.

И так же неожиданно, как он появился из темноты, он растворился в ней. Вдруг повернулся, ускорил шаг, пересек дорогу и пропал между „Селфриджес” и „Маркс-энд-Спенсер”. Я, видимо, никогда не привыкну к таким выходкам Авнера. Словно холодной водой окатил, возмутился Римон. Мне он все еще не доверяет. А вот об Эрезе Хаммере знает все и уже полагается на него. Наверняка с его отцом он был в Пальмахе, а я приехал из Польши, и поэтому мне запрещено даже знать его настоящее имя. Мое назначение — быть связующим звеном, бежать сейчас обратно в посольство, а потом еще проделать изрядный путь до дворца. Но больше я рисковать не буду и не поеду в своей машине. Возьму такси. Но кому все это интересно. Меня можно бросить, так, вдруг, посреди улицы, и даже не сказать привет.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗОВУТ АВНЕР (ЗАПОЗДАЛОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ)

Наконец события подвели нас вплотную к Авнеру. И тут самое время остановиться и рассказать о том, о чем я до сих пор умалчивал.

Я не большой знаток литературных приемов, поэтому единственная цель, которую я преследовал в этом рассказе, была как можно точнее передать все детали не выдуманной, но весьма запутанной истории одной человеческой судьбы. Но сперва необходимо объяснить, для чего нужно это предисловие и почему оно стоит не в начале книги, как принято, а отодвинуто до того момента, когда впервые упоминается имя Авнера. Итак, постараюсь сделать это как можно короче.

Почти год назад я начал записывать все о человеке, известном пока читателю под именем Хайнца Изидора Бергерзона. И тогда мне казалось, что написать эту книгу по этим записям будет очень простым делом. У меня в руках был громадный материал, собранный в ходе расследования: израильское досье, данные других разведок, полученные мною по тем или иным каналам, медицинские заключения, свидетельства различных людей. Книга вся как будто уже была сложена в голове, стоило ее только перенести на бумагу. Но когда я принялся за работу, сразу обнаружилось парадоксальное несоответствие между моим желанием записать всего лишь биографию одного из моих современников — одновременно героя и жертвы своего

времени — и тем, что выявлялось на бумаге. Вместо сухого изложения фактов рассказ приобретал некую форму и художественную окраску.

Я человек точных наук — инженер-электронщик по образованию и математик по призванию. Мне припоминается отрывок из какой-то популярной книжонки, которую я не так давно перелистывал. Многие, замечает автор, видят в математике и вообще в точных науках проявление некой сверхчеловеческой деятельности. На самом же деле, именно занятия математикой, которые заставляют работать мозг в полную силу, понастоящему характеризуют человеческий потенциал.

Напротив, деятельность, относящуюся к области чувств, мы и должны называть „сверхчеловеческой”. И дальше приводится глубокое замечание о работе коры головного мозга. Та его часть, которая управляет умственной деятельностью человека, совершенно освобождена от любых других функций. А так называемые человеческие страсти и порывы управляются первобытными, животными инстинктами. Эта жуткая мысль сопровождала меня на протяжении всей моей „борьбы” с бесформенным материалом — биографией человека в бессознательном состоянии.

И еще одно небольшое замечание. Еще что-то из прочитанного мною много лет назад во время одного из моих частых и дальних перелетов. Уж не помню где, то ли в каком-то журнале, в разделе театральной критики, то ли в „Плейбое” обнаружил я интересные рассуждения, в которых автор пытается классифицировать трагедии. Каждая смерть — это трагедия, говорит он. Но неужели история любви и смерти Ромео и Джульетты может сравниться с трагическим концом счастливой и беззаботной молодой пары, раздавленной насмерть при выходе из свадебного зала на улицу? Судьба детей Монтеки и Капулетти — это вечная тема о всеуничтожающей силе ненависти. Другая же судьба — случайная смерть в дорожной аварии из-за несоблюдения правил безопасности на уличных перехо-

дах — это всего лишь тема для грустной и короткой заметки в газете.

Но не такова история Хайнца Изидора Бергерзона. И если бы не авария и не все случайные обстоятельства, сопутствовавшие ей, то никогда бы мир не узнал об этой непутевой и растрепанной жизни. Авария послужила исходной точкой к нашему повествованию. Сейчас, пытаясь упорядочить факты, я возвращаюсь снова и снова к тому туманному вечеру вторника, 28 ноября. Но, вопреки собственному желанию, мне пришлось прибегнуть к уловкам сочинителей романов, чтобы описать по этапам развитие событий после того рокового часа. Так были „восстановлены” пять первоначальных ходов с точки зрения всезнающего рассказчика. И не только сами факты, но и мысли, и переживания героев, с которыми мне пришлось позже столкнуться. Более правильного решения я не нашел. У каждого рассказа есть начало, середина и конец. В этой истории началом является авария.

С этого момента все закурилось само собой: зашифрованные телеграммы полетели по проводам туда и обратно, старые папки из позабытых архивов снова увидели свет, а новые набухали изо дня в день, и ничто не могло теперь остановить работу различных государственных учреждений и секретных служб. Слепой случай стал руководством к действию. Так это и будет, пока тайна человека в бессознательном состоянии не раскроется.

И наконец последнее замечание. Я должен особо отметить, что несмотря на точное следование фактам, имена и характеристики героев я постарался стусшевать. И совсем не для того, чтобы дать моим читателям пищу для размышлений: кто есть кто, — что в условиях нашей маленькой страны представляет особенный интерес, — а из соображений государственных. Здесь будет немало говориться о строении и функционировании секретных организаций и их взаимоотношениях друг с другом — одним словом, обо всем том, о чем распространяться не стоит. И не раз мне приходилось

осаживать чересчур уж бурное воображение, чтобы не выболтать лишнее. Но даже если бы я и не должен был хранить в тайне собранную мною в ходе расследования информацию, я все равно несколько раз проверил бы себя, прежде чем написать, из боязни нанести ущерб Израилю.

На этом можно закончить с предисловием и вернуться к Авнеру. Излишне, надеюсь, говорить о том, что Авнер — это я.

ТЕТУШКА ИЗ СВИСС-КОТТЕДЖ

Авнер — это мое настоящее имя. Правда, по роду работы мне приходилось иногда брать выдуманные имена, но в этот раз, посылая меня в Лондон, начальство решило ничего не менять. И оставило мне мое имя — Авнер Бен-Барак, и мою профессию — инженер-электронщик. Я приехал сюда еще во времена экономического застоя, и довольно быстро сумел добиться признания среди специалистов по электронике, этой тогда молодой и развивающейся отрасли промышленности. А обширные связи помогли мне занять прочное положение в обществе. Одним словом, мое прикрытие было совершенно. И потому многочисленные поездки, которые были просто необходимы, не вызвали никаких подозрений. Так я выезжал во Францию, Германию, Голландию, Швейцарию и Японию, то есть в те страны, где электронная промышленность достигла высокого уровня развития.

Однако пора уже вернуться на площадь Портмэн, где в вечерних сумерках меня только что покинул Римон. О человеке в бессознательном состоянии я уже слышал по радио, и вот снова упоминает его имя человек из нашего посольства. Но поверить в то, что вся эта история имеет какое-то отношение к Израилю, я так сразу не мог. Даже если обнаружится, что этот человек действительно израильтянин с двойным гражданством, то и это еще ничего не значит. Приблизительно у двадцати тысяч израильтян есть немецкие паспор-

та, а у десятков тысяч других — американские, французские и прочие. Говорят, что у одного видного сионистского деятеля этих паспортов три или четыре. Так что, это ли причина, чтобы его в чем-то подозревать? Этот неизвестный доброжелатель, видимо, просто не в курсе дела.

И все же, поскольку основной моей работой было не занятие электроникой, я не мог пренебречь „необычной важностью этого сообщения для вашей страны”. Одно только логического умозаключения было тут явно недостаточно. На первый взгляд, можно было предположить две возможности. Либо пострадавший — на самом деле наш агент, о существовании которого меня не поставили в известность, либо человека в бессознательном состоянии хотят использовать как приманку, на которую кто-то пытается поймать наших людей.

Но я сразу отклонил оба этих предположения. Действительность — это не фильмы про Джеймса Бонда. Наш человек не может просто так бродить по Лондону, чтобы мне об этом ничего не было известно. Ну а если его задание до такой степени секретно, что даже меня не ставят в известность, то мало вероятно, чтобы его так быстро распознали. Нет, не стоит даже запрашивать центр. Остается второй вариант — мне ничего не известно о Бергерзоне, несмотря на то, что он израильтянин, потому что он агент чужой разведки. Но тогда человек, звонивший нам, сам должен быть сотрудником той же разведки. Или он вообще не из разведки, а из какой-либо другой заинтересованной организации.

Тут, признаюсь, мой покой нарушился. Что означают слова немецкого генерального консула о том, что им не удалось разыскать семью пострадавшего? Что это за обращение к слушателям? И причем тут Париж? Все же что-то начинает проясняться, и, главное, увязываться с рассказом Римона о его звонке в больницу.

Здесь я обязан подчеркнуть, что к такому выводу я пришел аналитическим путем, ибо все, рассказанное

мною в предыдущих главах, мне тогда еще не было известно.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. Либо звонивший — это немецкий консул, которого мучит совесть за свое нацистское прошлое, либо нам расставляют сети.

Тем временем я вернулся к своей машине, оставленной рядом с американским посольством, на Оксфорд-стрит. Устроившись в ней, я включил переносной телевизор на транзисторах, подарок моих японских друзей, и стал смотреть программу последних известий „24 часа”. В ней были собраны сообщения со всего мира, и в каждом из них обязательно упоминался Израиль. Но меня интересовала авария. К счастью, оператор заснял ее мастерски, кадры получились четкие и правильные, особенно крупным планом. В темноте я быстро записывал каждое слово; для меня, двадцать пять лет назад начавшего карьеру рядовым морзистом в Хагане, это не представляло труда. Даже теперь, слушая иногда последние известия, передаваемые азбукой Морзе, я не пропускал ни одного знака. Позволю себе похвастаться, но в качестве радиста я достиг международного класса.

А вот и человек, которого сперва приняли за немецкого консула. Выяснилось, продолжал диктор, что в машине ехали сотрудники венесуэльского посольства. Они отделались легкими ушибами. Вот и его лицо крупным планом... Меня интересовал сейчас только один вопрос — израильтянин ли он? Приятное лицо сорокалетнего мужчины. Скорее блондин, чем шатен. Модная прическа. Одежда, обувь, — все в его облике свидетельствовало о происхождении из Центральной Европы. Но вполне может оказаться и израильтянином. А почему бы и нет? Сколько их сегодня бродит по миру. Хотя, если ему примерно сорок, то есть, он на год, на два моложе меня, значит, мы с ним, как говорится, одного поколения. Наше поколение... сколько всего нас было, а сколько осталось? И если один из нас разъезжает по свету роскошно одетым, то его,

члена новой сабровской элиты, я обязан был где-нибудь и когда-нибудь видеть. Но почему же его лицо не вызывает во мне никаких ассоциаций?

Потому что вся эта интимная близость не что иное, как миф. Сорокалетние израильяне 1967 года – это не двадцатилетние парни Эрец-Исраэль 1947 года. Даже если бы я не провел столь долгие годы за пределами страны, ведя достаточно замкнутый образ жизни, сомнительно, чтобы я мог его знать. Пока суд да дело, у нас развелось полно бесцветных людей, не наших. И этот похож на одного из них. Но чем он может заниматься? Экспортом-импортом? Финансами? Нет, скорее, владелец гостиницы или алмазный промышленник. А может быть, и модельер. Но до чего вылизан. Из новеньких, небось. Приехал неизвестно откуда, нашел себе теплое местечко и процветает.

Изображение мужчины на экране сменилось другими кадрами, но во мне продолжало шевелиться какое-то смутное беспокойство. Теперь на маленьком экране появился таксист, как две капли воды похожий на известного комического актера Алфа Гарнста. Он говорил в микрофон:

.....Вы еще увидите, что здесь будет твориться, когда пророят туннель под проливом. Тогда от французов отбою не будет, все полезут сюда бесплатно вставлять себе зубы. И дороги Ее Величества превратятся в мясные лавки на колесах... А? Не, это чемоданчик его. По мне, говорите, что хотите, -- что я вез арабского шейха, или шведскую сексбомбу, или еще кого. Но только я точно знаю, кто был моим пассажиром. Во, он сейчас лежит передо мной на носилках, помилуй, Господи, его душу. А подобрал я его у „Камберленда“, и ежели б не этот железнодорожный вагон, то ничего бы и не было. Ему он и обязан своим концом, ему да парижскому Чарли. Вот увидите, так и будет, пока кто-нибудь не наведет у нас тут, в Англии, порядок...”

Он сказал „Камберленд“. Это всего в нескольких сотнях метров отсюда. Начнем с гостиницы. Может

быть, там что-нибудь обнаружится – какой-нибудь номер телефона, последняя почта. Да, я еду.

Но зачем, задал я себе вопрос. И ответить не смог, что-то в лице этого человека показалось мне странным, какое-то сомнение закралось в душу. Еще несколько лет назад туриста из Израиля можно было распознать издали. Свадебный костюм у мужчины и „платье для заграницы”, стягивающее широкие бедра, у женщины. И у обоих легкие сандалии на ногах. А глаза с жадностью пожирают витрины магазинов. Теперь такого больше не встретишь. И если дома еще обсуждаются проблемы погоды, службы в армии и подоходного налога, то здесь все стараются выглядеть так, как даже в самых черных снах не могло присниться пророкам *ивритской революции**. В полосатых костюмах от „Симпсона” и в рубашках „Остин Рид” бродяжничают нынешние туристы с важностью нищих королей по Европе. По той Европе, с которой, казалось бы, спрашивались навсегда наши отцы.

Вдруг мне показалось, что я вспомнил. В Мишмар-ха-Эмек, в немецком отделении был кто-то с очень похожей внешностью. Отними двадцать лет – и перед тобой лицо одного из „Алият-ха-Ноар”**. Да, таких лиц было много. Но когда?! В 1942-м, в 1946–1947-м на линии Мюнхен–Марсель, или в 1948-м на линии Хулда–Иерусалим? А сейчас уже 1967-ой. Когда-то

* Понятие в новейшей еврейской истории, соответствующее в известной мере понятию „сионизм”: репатриация в Страну Израиля, „освобождение от галутного духа”, возвращение к ивриту как разговорному языку, переход к физическому, и в частности, к сельскохозяйственному труду, ивритизация фамилий и т.д.

** Акция по спасению еврейской молодежи и детей от нацистской угрозы и репатриации их в Эрец-Исраэль. Начало ее деятельности относится к 1934 году, когда усилились преследования евреев в Германии. В настоящее время существует как организация, занимающаяся проблемами детей репатриантов.

все начиналось с дюжины билуйцев*, сегодня же нас три миллиона. И сколько среди них перекаати-поле и обманщиков, выдающих себя за других, а сколько их исчезло бесследно? Тоже мне поколение! Да откуда мне знать, не подделан ли паспорт и, вообще, не подделан ли он сам, если с 1946 года я большую часть времени провел за границей? Но где мы могли встречаться?! В Марселе он не был. В Технионе** мы вместе не учились, в „Билу“*** и подавно. Не в разведке же?

И все же, почему меня ни на минуту не оставляет ощущение, что нужно срочно бежать в больницу? Как и многие люди моей профессии, я верю в интуицию. И она подсказывает мне, что надо сочинить какую-нибудь басню, например, про пропавшего брата, которого я неожиданно увидел по телевизору, и убедить в ней больничных работников. А если понадобится, то забрать его оттуда и перевести в какое-нибудь другое место. Пока еще это дело не приняло дурной оборот – надо спешить.

Но холодные доводы разума не могли заглушить веления сердца. И я отправился в посольство, чтобы повидать сына Хэзи. После окончания „Билу“ я пошел учиться в профессиональное училище. Электроника в те годы сводилась к работе электрика и к починке радиоприемников, но в Хагане быстро оценили мои таланты, и поскольку я был молчалив и неприметен даже еще больше, чем сейчас, то меня стали посвящать во все более и более тайные дела. В то время я и сдружился с Хэзи. Он уже тогда был крепким и статным мужчиной, и его как добровольца послали в одну из отборных частей Хаганы, проходившей военную подготовку в киббуцах. Вскорости одна из киббуцных де-

* „Билу“ – аббревиатура „Бейт-Яаков леху венелеха” – „Дом Яакова, вставайте и пойдем” (Иешаяху. 2:5) – одна из первых организаций, поставивших себе целью возрождение еврейского народа в Эрец-Израэль. Основана в 1882 году студентами российских университетов.

** Технологический институт в Хайфе.

*** Школа в Тель-Авиве.

вушек забеременела от Хэзи. К всеобщему удивлению, она наотрез отказалась делать аборт, и летом 1946 года произвела на свет Эреза – первенца всей нашей компании. В Черную субботу* Хэзи арестовали, и он вместе с вождями ишува сидел в лагере в Рафияхе. А я, худой, как спичка, маленького росточка и с детским лицом, должен был представлять поколение отцов.

Я знал, что Эреза ранило в эту войну, и что киббуц одобрил его решение учиться в Лондоне. Но по понятным причинам пренебрег своим почетным званием *сандака*** и не установил с ним контактов. Зачем усложнять и без того сложное положение? Я догадывался, что Хэзи отлично понимает, какого рода деятельностью я тут занимаюсь, и, может быть, даже намекнул сыну, что я вовсе не эмигрант, достойный, в лучшем случае, молчаливого презрения.

С другой стороны, я чувствовал, что имеет смысл поговорить с возмужавшим мальчиком, и самому спросить его, что именно он слышал по телефону. И различил ли он немецкий акцент в словах звонившего.

По дороге в посольство мне пришла в голову отчаянная мысль – создать богатую тетушку из Свисс-коттедж. А вдруг мне повезло, и она уже звонила нам? Но, если нет, то надо найти какую-нибудь надежную старушку и убедить ее взять на себя эту роль. Чем больше я размышляю об этом типе, тем больше его личность вызывает у меня подозрения. И помощь такой старушки в сборе информации о нем была бы неоценимой. Если выяснится, что в словах звонившего есть хотя бы что-то, заслуживающее внимания, и этот человек в бессознательном состоянии и вправду израильтянин, то мне придется поработать.

Мои опасения оправдались. Эрез несколько не сом-

* Черная суббота – 29 июня 1946 года, день, когда британскими властями было арестовано почти все руководство ишува и проведены обыски и аресты в двадцати семи поселениях.

** Сандак – человек, который держит на руках ребенка во время обрезания.

невался в том, что звонивший говорил с сильным немецким акцентом. Это было заметно не только по тому, как он произнес имя пострадавшего, но явствовало почти из каждого слова. Например, „Эксбридж” прозвучало в его устах как „Экспритш”. Это произношение напомнило ему киббуцных учителей английского языка, сказал Эрез. И потому он был уверен, что звонит еврей, желающий помочь Израилю.

Эрез был высокий и крепкий малый, весь в отца. Но чертами лица — слегка раскосыми глазами за длинными ресницами, тонким и с горбинкой носом — он напоминал Амалию в ее семнадцать лет, когда она с упорством молодой девушки боролась за руку любимого человека. Сейчас Эрезу было столько же, сколько мне, когда я впервые увидел его в больнице в Афуле. Я не стал извиняться перед ним за то, что до сих пор не давал о себе знать, а сразу перешел к делу. У меня не было больше сомнений в том, что звонивший был немецким консулом. Теперь оставалось узнать его имя и найти подступы к нему, — в его руках, несомненно, был ключ к разгадке тайны. Эреза я не посвятил в эти мысли, а попросил только немедленно сообщать мне, в любой час дня и ночи, о каждом новом телефонном звонке, каким бы странным он ни показался. При прощании я обещал в скором времени связаться с ним. Хороший парень — нашей породы.

Гостиница „Камберленд” — одна из самых больших в Лондоне. Фойе, забитое людьми со всех концов света, гудело как встревоженный улей. За стойкой администратора я выбрал женщину, показавшуюся мне покинутой и одинокой, и представился как сотрудник немецкого посольства. Вы, наверное, слышали об ужасной трагедии на дороге в Хитроу, спросил я ее. Потом как можно красочнее расписал почти безнадежное состояние пострадавшего. Время не ждет, мы хватаемся за любую зацепку, за все, что могло бы помочь нам разыскать его семью. Может быть, он оставил какой-нибудь адрес для пересылки почты, поступившей после его выезда из гостиницы, может быть, сохранились

номера международных заказов? Ведь ужасно, если он умрет на чужбине, и никого из близких не будет рядом. А самое страшное, если мы так и не узнаем, где его похоронить...

Да здравствуют англичане! Глаза женщины увлажнились. Она не спросила никаких документов, моя личность не вызывала у нее ни малейших подозрений. Расчувствовавшись, обещала оказать содействие моей благородной миссии. Она вот-вот готова была поведать мне душещипательную историю про избранника своего сердца, который погиб во время войны на корабле, потопленном немцами. О, она знает, что значит быть похороненным на чужбине.

Теперь у меня было больше данных, чем я надеялся получить. Выходя из гостиницы, я ощущал в теле приятную легкость. И хотя это выглядит по-детски, но я ничего не мог поделать с собой. Только раз в жизни я чувствовал себя по-настоящему раскованным и умиротворенным — когда у меня был паспорт на имя Хаима Берковича. Это было мое предложение. Отца моего нарекли при рождении Моше-Йосеф Беркович, но, как и многие сыны своего поколения, он верил в чудодейственную силу слов и имен. И поэтому в ту же минуту, когда он сошел на берег в Яффа, умер Беркович и родился Бен-Барак. Этим отец хотел подчеркнуть свою связь с библейскими героями, и, понятно, что я при рождении получил имя Авнера — военачальника царя Саула. Но я не доверял словам и обращался с ними весьма осторожно. Ничто не привлекало меня более, чем именоваться Хаимом Берковичем и молча гулять в толпе, смотреть и слушать. Растраченные попусту громкие слова отца я превращал в упрямое молчание.

Сейчас же я играл роль германского атташе, приятного в обращении и признательного сотруднице гостиницы за ее звонок начальнику и то небольшое, что ей удалось выудить из своей картотеки. Теперь в мою записную книжку были вписаны данные его паспорта. В „Камберленде” он провел четыре ночи. За свой оди-

ночный номер расплатился наличными. Два раза звонил по одному и тому же номеру во Франкфурт. И все.

Но все же это было очень много. На полной скорости мчался я по направлению к своей квартире на тихой улочке, неподалеку от Слоун-сквера. Есть за что зацепиться. Это дело я не передам никому. И в Германию поеду сам.

Дома, не успел я закрыть глаза, как раздался телефонный звонок. Это был Эрез. Только что звонила какая-то дама и заявила, что она тетка человека, которого показывали по телевизору. На мгновение мне показалось, что моя затаенная мечта начинает сбываться.

— Кто?

— Его тетка. Она из Франкфурта. Так звали ее племянника.

— Почему ты говоришь *звали*?

Эрез молчал. Он прошел хороший урок конспирации. В двух словах он сказал все. Эта тетушка считает, что Хайнца Изидора Бергерзона нет больше в живых. То есть, человек в бессознательном состоянии вовсе не Хайнц Изидор Бергерзон. Сама же она — еврейка из Франкфурта, бежавшая в свое время из Германии, и ясно поэтому, что она стала звонить нам, а не в немецкое посольство.

Тем временем Эрез нашел способ ответить таким шифром, какой ни одна контрразведка в мире не могла бы расшифровать.

— Отец рассказывал нам о докторе Куне, корабельном враче.

Только тот, кого внезапно ударяло током, может представить себе дрожь, пробравшую меня от его слов. В марте 1947 года я был послан в Марсель радиостом на корабль, который должен был нелегально перевезти в страну группу детей, бежавших из Венгрии и Польши. Корабельным врачом был голландский еврей, мрачный и молчаливый человек, чудом спасшийся от печей Освенцима. Он был одним из немногих

оставшихся в живых из ста тысяч евреев Голландии, посланных на уничтожение. Звали его доктор Кун. Погрузка длилась всю ночь, и с первыми лучами солнца мы вышли из бухты. Но не прошло и нескольких часов, как весь корабль был потрясен ужасным случаем. Как выяснилось, перед самым отплытием на борт корабля поднялась группа детей из Голландии, которых удалось увести прямо из-под носа властей. В годы немецкой оккупации многие голландцы, в основном в деревнях и в монастырях, укрывали несколько тысяч еврейских детей. Когда в Голландию летом 1945 года прибыли молодые солдаты из Эрец-Исраэль с желтыми шестиконечными звездами на рукавах гимнастеров, эти дети потянулись, как к магниту, к загорелым и стройным юношам из Святой Земли. Но во многих случаях опекуны были против передачи „голландских сирот” палестинцам. И приходилось вести упорную борьбу, прибегая к множеству разных уловок, чтобы забрать детей из-под этой опеки. В ходе хорошо подготовленной операции небольшую группу детей удалось нелегально вывезти в закрытых военных грузовиках через Бельгию и Францию и доставить прямо к трапу корабля. Среди сопровождавших была девятнадцатилетняя девушка из Амстердама, прошедшая годы оккупации в тайнике.

Если бы этот человек не был так уверен в полном уничтожении амстердамской общины, вряд ли решился бы он бежать из Европы на корабле, переполненном пережившими Катастрофу детьми. Но его план казался ему совершенным, и до сих пор все, действительно, шло гладко. Его мать была голландкой, поэтому голландский язык он знал прекрасно, а одной из его жертв в лагере Биркенау был настоящий доктор Кун. И прежде чем отнять у него жизнь и воспользоваться его биографией, он удостоверился, что никто из семьи молодого и никому не известного врача-еврея не остался в живых. После поражения Рейха он смешался с потоком еврейских беженцев, стремившихся попасть в Эрец-Исраэль, и снова и снова открывал для себя, как

легко быть сейчас евреем. Они помогли ему добраться до Марселя и обещали переправить на Ближний Восток. А уж оттуда он отправится дальше сам.

Но ему и в голову не могло придти, что именно на этом корабле окажется группа детей из Голландии, и что в первый же день плавания в корабельную поликлинику войдет воспитательница по имени Кари де Хаан, которая до войны жила на улице Кайзерсхрахт, прямо над квартирой доктора Куна. Когда молодой израильтянин-радист сказал ей, что она может поговорить с врачом из Голландии, то Кари, разумеется, очень обрадовалась. Но у преследуемого животного реакции быстрее, чем у охотника. И потому до корабельного врача не сразу дошло, что в том доме, из которого были взяты на смерть семьи Кунов и де Хаанов, прошла почти вся жизнь воспитательницы. Имя доктора Куна всколыхнуло в ней целый мир воспоминаний раздавленного и уничтоженного до основания детства. Она задала суровому доктору два-три вопроса, прежде чем вышла из поликлиники. И рассказала радисту, все еще стоявшему на том же месте на палубе, что человек в поликлинике не доктор Кун.

В ходе энергичного допроса ээсовец рассказал всю правду. Ночью его тело выбросили в море. Слух об этом распространился по кораблю, но командиры как будто набрали воды в рот и вели себя так, как если бы с самого начала плавания на корабле вовсе не было никакого врача.

Я для того задержался на этом рассказе, чтобы стало понятным, отчего меня пробрала дрожь, когда Эрез сказал:

— Отец рассказывал нам о докторе Куне, корабельном враче.

Хэзи наверняка рассказывал членам своей семьи, при каких обстоятельствах я познакомился с той, на ком женился через два года, в конце Войны за независимость, — с Кари де Хаан.

Одной этой фразой Эрез передал мне все, что расска-

зала ему „тетушка из Свисс-коттедж”. Теперь настоящая тревога охватила и меня. Но идти к этой старухе и убеждать ее ехать в больницу имеет смысл только завтра утром.

ГЕНЕРАЛ ДЕ ТРАНБЛЕ ВСПОМИНАЕТ

Грипп всегда подкрадывается тихо и незаметно. Еще вчера вечером ты был полон сил, а сегодня утром все тело болит, словно по нему целую ночь черти плясали. Нет, черти тут не причем, во всем виноват ноябрьский Лондон.

И дело совсем не в сырости, а в этой проклятой книге Мишеля Фуко, которую де Транбле взял с собой в постель в качестве снотворного. Но теперь от нее ломит кости и ноет сердце.

Проклятая книга, хотя, может быть, автор и прав, утверждая, что сумасшествие это не болезнь, а всего лишь другой способ самовыражения. У нормального разума, наделенного способностью логически мыслить, нет никакого преимущества над затуманенными мозгами душевнобольных, просто из-за боязни узнать в них самих себя мы сажаем этих людей за решетку и делаем вид, будто их не существует. Оттого нас зачастую мучает ощущение раздвоенности.

Де Транбле подошел к окну. Последние звезды гасли на небе. Уличные фонари продолжали тускло светить, почти ничего не освещая. Окно выходило в Гайд-парк. О, как это не похоже на Венсенский или Булонский лес! А тут парк в самом центре города, окруженный универсамами, банками, посольствами, гостиницами, ночными клубами и водородными бомбами, лишь трава в нем сохранилась зеленым островком со времен промышленной революции. Но и он

после Второй мировой войны, будто Атлантида, погрузился на дно гигантского города. Как быстро опустилась Атлантида и унесла с собой нашу молодость, прекрасную, как английская лужайка. Только изредка промелькнет теперь в тумане видение разрушенного, но отчаянно сражающегося Лондона, каким он был двадцать пять лет назад, и навеет грустные воспоминания о старой и навсегда угаснувшей любви. Мы были героями, но не остались ими, как герои Дюма, двадцать лет спустя. Двадцать семь, если считать с первого дня появления Генерала в Лондоне сразу после капитуляции. А превратились в ничтожных пустозвонов, выстреливающих словами, словно они ничто — отработанные выхлопные газы. Как ужасно, что умер не только Бог, но и Человек, его создавший.

Внезапно он вспомнил, где встречал человека, который сейчас находится в бессознательном состоянии.

Стремительно, будто молодость снова вернулась к нему, он вбежал в кабинет и на память набрал номер парижской квартиры Раймона Маритэна. Сейчас половина восьмого утра, и если Раймон не за городом или в чьей-нибудь постели, то он, наверняка, в своей постели. По его собственным словам, его и Черчилля объединяет одна общая черта — оба ненавидят вставать рано утром.

„Квартира сенатора Маритэна”, — произнес женский голос как будто из комнаты напротив. Только после того, как де Транбле назвал себя, добавив при этом, что у него крайне срочное дело, женский голос ответил, что сенатор дома.

К де Транбле снова вернулись недавние мысли. Конечно, в анализе Фуко есть большая доля истины, может быть, и я смог бы вынести одиночество, если б к тому вынудили меня обстоятельства. Но, с другой стороны, до чего же он ошибается. Мы только тогда можем по-настоящему оценить удивительно рациональную деятельность нашего мозга, кажущуюся такой таинственной и непредсказуемой, когда результат этой деятельности налицо. Как все тогда кажется простым.

Сначала – изображение на телевизионном экране, которое возбудило где-то там, в глубинах мозга особые биотоки. Позже, без какой-либо осознанной связи с этим, я стал читать книгу, подаренную Раймоном в мой последний визит к нему. И только сейчас, утром, произошло нечто вроде замыкания. Я вспомнил, где видел того человека, вспомнил, какое внимание оказывали этому элегантному, с иголки одетому французу все присутствовавшие на вечере. А его замечания о том, как глубоко завяз Джонсон во Вьетнаме, и о новом, на этот раз американском „Дьен-Бьен-Фу“* создавали впечатление о его хорошей осведомленности о происходящем в этом районе и о знакомстве с желтой ментальностью. Но откуда, вдруг, немецкий паспорт? И как этот человек, черт возьми, попал к Раймону?

„Жан Франсуа! Что нарушает ваш сон там, в Лондоне? Опять падение курса?“

После обычных слов приветствия, воспоминаний о последнем приятно проведенном вечере в доме Раймона и благодарности за книгу „Folie et delirium“ де Транбле сказал главное:

– У меня есть к вам серьезный вопрос.

– Еще бы, французский буржуа не позвонит только для того, чтобы поинтересоваться здоровьем друга, даже за счет государства.

– Вы помните, на том ужине среди приглашенных был господин лет сорока, он на всех произвел очень приятное впечатление...

– Анри. Мой блудный сын...

– Не из подполья! Он слишком молод...

– О, наш оборотень. О да, он был отчаянным юношей, смысленным и находчивым. А в чем дело, Жан Франсуа?

* Место во Вьетнаме, возле которого 8 мая 1954 года французские войска потерпели поражение, ставшее поворотным пунктом войны в Индокитае.

– Я сегодня буду в Париже, когда мы могли бы встретиться?

– Я отменю все, что можно, но, к сожалению, раньше вечера не выйдет. Я снова должен произносить речь на каком-то приеме. О, Господи, эти речи.

– Мне тоже удобнее вечером, Раймон. Не могли бы вы пригласить также и его, господина э-э...

– Анри Монтрэлан.

– А, теперь я припоминаю. Это известное имя.

– Никакой связи с писателем. Отец Анри был художником, но совершенно неизвестным. В мае 1940 года его семья попала в бомбежку где-то на севере, недалеко от Арраса, если не ошибаюсь. Там-то Анри и превратился в мужчину, настоящего героя.

– Очень буду вам благодарен, Раймон, если вы нас сведете этим вечером.

– Анри по-прежнему все такой же быстрый, он как метеор, – вчера в Сайгоне, завтра в Лондоне...

– Но у вас, я уверен, записан где-нибудь его парижский адрес или номер телефона...

– Странно... но я никогда не интересовался этим. Всякий раз, приезжая в Париж, он звонит мне. Ну и, разумеется, он всегда желанный гость... – в голосе Раймона слышалась растерянность.

– Я понимаю. Итак, я буду у вас в любом случае. Постарайтесь все же, Раймон, выяснить у ваших секретарш или в старых записных книжках его координаты. Мне очень нужен ваш герой подполья...

– Если я правильно угадываю ваши мысли, Жан Франсуа, то вы сильно ошибаетесь. Анри мне дороже жизни...

– В половине одиннадцатого, Раймон, это подходящее время? Я, между прочим, приду после ужина.

И ВСЕ ЖЕ ФРАНКФУРТ

В 8 часов 59 минут утра пальто и шляпа полковника Унтермайера висели на своем обычном месте в шкафу, а их владелец четким военным шагом направлялся к рабочему столу. В 9 часов 00 минут грузный полковник уже сидел за столом с расстегнутой верхней пуговицей пиджака и протягивал руку к подносу с поступившей корреспонденцией. Запечатанный конверт на самом верху наверняка содержит в себе расшифрованный ответ на телеграмму, посланную вчера вечером в Бонн. В разгаре приема во дворце полковнику стало известно о тех полномочиях, которые доктор Брукнер, этот специалист по британскому конституционному праву, самовольно взял на себя, и о, прямо скажем, скандальном выступлении фон Штойсселя по телевидению. И тот и другой самым вызывающим образом нарушили субординацию, тем более, что в делах, касающихся работы секретных служб, имеются строгие инструкции о том, как должно себя вести.

Но прежде посмотрим, что происходило в это утро с другими героями нашей истории.

Де Транбле, отправляющийся во Францию, якобы для консультаций по поводу возможных последствий позавчерашней пресс-конференции, находился по дороге в аэропорт. Полученный им ответ из Парижа гласил, что ни один сотрудник ни одной из французских тайных служб не пользуется паспортом на имя Хайнца Изидора Бергерзона. Было также дано указание воз-

держиваться от любого неосторожного шага, могущего повлечь за собой трения с Бонном или Лондоном. Этим ответом вопрос, казалось бы, был исчерпан, по крайней мере, именно так и расценил Роше кивок де Транбле.

„Дэйли миррор” поместила большой снимок таксиста и интервью с ним, в котором был повторен вчерашний рассказ о подобранном им у „Камберленда” пассажира. Рядом был снимок поменьше человека в бессознательном состоянии и заметка о „дипломатической путанице”.

Фон Штойсель, преследуемый всю ночь уничтожающим взглядом полковника, которым тот одарил его вчера во дворце, встал затемно и, разбудив доктора Брукнера, поручил ему позвонить в больницу и посетить „Камберленд”. А потом представить подробный отчет.

Доктор Брукнер еще не вернулся со своего задания.

Авнер собрался было позвонить по номеру, раздобытому в гостинице, но передумал и решил прежде посетить даму, утверждавшую, что она тетка погибшего от рук нацистов Хайнца Изидора Бергерзона. Об этой встрече мы расскажем в следующих главах.

Теперь снова вернемся к полковнику Унтермайеру, которого мы оставили протягивающим руку к запечатанному конверту на подносе. Наконец-то долгожданный ответ из Бонна восстановит должностную иерархию среди сотрудников посольства. Полковник распечатал конверт и прочитал: „Человек, упоминаемый в вашей телеграмме, не связан ни с одним из государственных учреждений. Паспорт выдан в соответствии с законом, и срок его действия еще не истек. Заявление о пропаже или утере паспорта не поступало. Настоятельно рекомендуем не предпринимать никаких самостоятельных шагов без предварительной консультации с нами. Всю информацию о возможных связях вышеуказанной личности с иностранными разведками срочно направлять нам. На данном этапе руководствоваться общепринятой инструкцией об оказании помо-

щи германским гражданам, находящимся за границей”.

На первый взгляд, телеграмма снимала с него всякую ответственность, но он не чувствовал себя вправе просто так отмахнуться от этого дела. Ему, прослужившему в общей сложности более тридцати лет на поприще государственной безопасности, такое решение было не по душе. Конечно, он может плюнуть в их пороссячи физиономии и уйти в отставку. Но что он тогда будет делать? И какой другой, более благородной цели он сможет служить? Если бы отец, дивизионный генерал, родил бы меня не в 1915 году, а на десять лет раньше, то я занял бы место в верхушке Рейха и покоился бы сейчас в земле. А родившись на пять лет позже и не погибнув на войне, — наверняка стал бы одним из тех сорокасемилетних, которые так удачно вписались в новый режим. Но полковнику не повезло, он родился в неподходящее время. Поэтому уже с молодых лет он со всем пылом, на который только способна юность, уверовал в великое предназначение Германии, волей судьбы обреченное на крах. Только после того, как, наконец-то, эти новые люди поняли, какой опасности они подвергают государство своими безумными планами денацификации, полковника вернули в разведку. Хотя забыть ему прошлое они до конца так и не смогли. Эта телеграмма — яркое тому подтверждение. Как они могут терпеть коммунистов, которые уже прибрали к рукам половину Германии? Как им не надоело долдонить все об одном и том же — о новой действительности? Даже дело Филби их ничему не научило. Из своего „экономического чуда” они сделали кумир. Но они — это будущее, а ты — уже далекое прошлое. И даже если ты обнаружил шпиона, то сиди тихо и ничего не предпринимай, в крайнем случае, пригласи посоветоваться нашего специалиста по британскому праву...

Однако полковник Унтермайер вовсе не собирался уходить в отставку и изменять своему долгу. Он ждал ответной реакции на выступление фон Штойсселя по

телевидению. Он ждал также отчета доктора Брукнера и был уверен, что этим утром должно обнаружиться что-то важное, и тогда посмотрим, чья интуиция не подвела: этих дилетантов-демократов и либералов в Бонне или его, прошедшего подготовку у самого адмирала Канариса. Ведь если, как утверждает Бонн, обладатель этого паспорта не является нашим человеком, то дело это начинает отдавать совсем уже неприятным душком. Паспорт, выданный на основании параграфа 116, раздел 2, означает, что носитель его либо еврей, либо коммунист, а, может быть, и то и другое вместе. Так какая еще информация нужна этим олухам!

— Где, черт побери, наш доктор права? — рявкнул в адъютантскую полковник, — если он занят своей канцелярщиной, то пусть немедленно явится сюда. Пока он служит здесь, он обязан строго соблюдать инструкции. Во всем, что касается службы безопасности — я решаю. Всякие формальности, внешние контакты — все эти помои пусть проходят через его руки, — а в важных вещах предоставьте право решать мне.

Через несколько минут вернулся адъютант и сообщил, что по консульскому телефону было несколько звонков, однако ни один из них не содержит заслуживающей внимания информации. Доктор Брукнер ожидается с минуты на минуту.

— Мне кажется, господин полковник, — добавил он многозначительно ухмыльнувшись, — что фон Штойссель боится зайти к вам в кабинет.

В ту же секунду, словно в водевиле, в распахнутую дверь ввалился задыхающийся под собственной тяжестью фон Штойссель.

— Сенсационно, дорогой Унтермайер!.. Абсолютно неожиданно, это просто недоступно пониманию!.. Можно трубить отбой и вылезать из окопов.

Лед в глазах полковника не растаял, и на лице его не промелькнуло ни малейшей тени любопытства.

— И все же Франкфурт!.. Только что нам позвонила, ну разве это не удивительно, фрейлейн по имени

Бригитта Лампрехт, интимная подруга нашего Бергерсона. Клубок распутан...

Итак, картина прояснилась, и подозрения рассеялись. С подчеркнутой холодностью полковник спросил:

— Какая сорока на хвосте принесла ей с восходом солнца это известие во Франкфурт, мой восторженный друг?

— Имя этой сороки — „Альгемайне цайтунг“. Фрейлейн Лампрехт рассказала мне, что она, как правило, просматривает только литературный отдел газеты, но сегодня утром совершенно случайно...

— Ах, как трогательно. Ну, а что вы еще узнали о фрейлейн Лампрехт, кроме ее литературных вкусов?

— Все интересующие вас вопросы, Унтермайер, — уколom на укол ответил фон Штойссель, — вы сможете ей задать сами. Она уже находится по дороге в Лондон.

— Позвольте обратить ваше внимание на то, что, судя по вашим словам, это почти супружеская пара...

— Только не с точки зрения священника...

— И не с точки зрения раввина тоже. Стало быть, это вид интимной связи с дистанционным управлением. Я хорошо помню, что нам рассказывал Брукнер — в билете Люфтганзы начальным и конечным пунктом указан Цюрих, в Лондоне интимный друг фрейлейн Лампрехт торчит с мая и никуда за это время не выезжал. Отсюда следует, что во Франкфурте он не был с весны, не совсем обычная пара, не правда ли? — старый разведчик наслаждался растерянным видом померанского быка. — Итак, мой друг, хотя на первый взгляд загадка и кажется разрешенной, но при более пристальном рассмотрении вопросов возникает еще больше. Фрейлейн Лампрехт по прибытии в Лондон придется основательно подумать, прежде чем дать на них ответ.

И все же это, хоть тоненькая, но ниточка. Некой девице из Франкфурта необходимо срочно отправиться сюда. Зачем?

— А вот и наш апостол, — произнес полковник при

виде доктора Брукнера, постучавшего в приоткрытую дверь, — нет, Шекспир здесь подходит больше, чем Новый Завет. Вошел Камберленд!

Особых новостей он не принес, разве что получил тот же франкфуртский номер телефона, который еще вчера раздобыл Авнер. За стойкой администратора сменились работники, и никто из них не знал, что доктора Брукнера опередил человек, уже представлявшийся сотрудником немецкого посольства.

Полковник дал указание позвонить по этому телефону и выяснить в паспортном столе Франкфурта, значится ли у них имя Бригитты Лампрехт. Но на звонок ответа не последовало, а в паспортном столе ответили, что Бригитта Лампрехт действительно проживает во Франкфурте на улице Вест-энде, 23. Таким образом, появилась достаточно надежная зацепка.

Слишком уж надежная, подумал доктор Брукнер. Для отвода глаз он с усердием решал кроссворд, но про себя снова и снова обдумывал создавшуюся ситуацию. Если не считать израильской газеты, то его отчет был полным и точным. Он не забыл включить в него даже диагноз доктора Эванса, поставленный им сегодня утром. А именно: что ни рентгеновские снимки, ни энцефалограмма, ни прочие анализы не обнаружили никаких физических повреждений, но, несмотря на это, у больного наблюдается абсолютное отсутствие реакций. Хотя уже ясно, что его жизнь вне опасности, сознание все еще не вернулось к Бергерзону. Признаться, его нынешнее состояние отнюдь не лишено преимуществ... Ну а если фрейлейн Лампрехт (вполне вероятно, что о происшествии она узнала не из „Франкфуртер альгемайне цайтунг“, а от израильтян) будет действовать быстро и хладнокровно, то ей удастся замести следы, ведущие в Израиль. Уж он-то, Брукнер, по мере возможности, поможет ей в этом.

БРИГИТТА ЛАМПРЕХТ

В европейском павильоне аэропорта Хитроу доктора Брукнера хорошо знали, поэтому ему разрешили подойти к самому трапу самолета. Самолет, прибывший рейсом 603, приземлился точно по расписанию в 11.30 утра, но пока он совершал необходимые маневры, подруливая к стоянке, у доктора Брукнера было достаточно времени, чтобы заключить с самим собой пари.

Еще вчера вечером, копаясь в вещах Бергерзона и обнаружив там женский свитер и пояс, Брукнер сделал вывод, что они предназначены для какой-нибудь девушки из Франкфурта. Сегодня же утром, узнав, что эта девушка не только существует в действительности, но и с первым самолетом прилетает в Лондон, доктор Брукнер был буквально поражен остротой своей интуиции. К вящей его радости, полковник поручил именно ему сопровождать девушку в больницу и заботиться о ней на протяжении всего времени пребывания ее в городе. Доктор Брукнер на правах консула должен был выудить у нее все, что ей известно о человеке в бессознательном состоянии. В этом загадочном решении Унтермайера Брукнер видел вмешательство высшей силы. Поэтому он еще раз обдумывал свою версию, по которой фрейлейн Лампрехт послали сюда израильтяне с целью предотвратить раскрытие своей агентурной сети. Если окажется, что это на самом деле так, то он сделает все, он клянется себе в этом, чтобы помочь ей в этом задании. Даже несмотря на то, что он

тем самым поставит под угрозу свою жалкую дипломатическую карьеру.

Люк самолета открылся, и на трапе выросли фигуры стюарда и стюардессы, занявших места перед выходом из самолета. И сразу же показалась женщина, поразившая доктора Брукнера с первого взгляда. Он еще не успел как следует рассмотреть лицо женщины, но уже понял, что сердце его покорено. Позднее он описывал Авнеру это ее появление как „некое серое сияние облаков, пронизанных солнечными лучами”. На ней было замшевое пальто а-ля Живаго, отделанное мехом. Коротко подстриженные каштановые волосы придавали ее лицу что-то мальчишеское, благородная осанка как бы лишний раз подчеркивала ее самостоятельность и независимость, но тем не менее какая-то неуловимая грусть сквозила во всем ее облике, и это делало ее очарование еще более заманчивым. Однако то были последующие впечатления, тогда же Брукнер видел перед собой просто необычайно привлекательную женщину, совершенно оттеснившую девушку, которую он пришел встречать, и образ которой сложился у него в уме вчера в больнице.

Доктор Брукнер с трудом отвел взгляд от этой женщины и принялся изучать остальных пассажиров. И вдруг ему стало ясно, что она, эта женщина, не случайно первой сошла на трап. Она тоже искала глазами кого-то. В тот же момент к нему обратился стюард В.Е.А.:

— Господин германский консул?

— Фрейлейн Лампрехт! — выкрикнул доктор Брукнер. Это не был вопрос, этими двумя словами он выразил свой с трудом скрываемый восторг.

— Это я, — ответила женщина теплым, но еще слегка настороженным голосом, как будто ей до конца не верилось, что ее встречает сам консул. И, не дав сделать ему даже шага, спросила:

— Я приехала не слишком поздно?

— Нет, нет, что вы. Я рад сообщить вам, что этим утром врачи настроены гораздо оптимистичнее.

Ждать разгрузки багажа было не нужно. Весь багаж фрейлейн Лампрехт состоял из большой ручной сумки, которую консул тут же взял у нее из рук. И быстро шагая по направлению к зданию аэровокзала, а затем к выходу, они сразу заговорили на одинаково волнующую их обоих тему — про Хайнца Изидора Бергерзона. Осторожно и последовательно задавал доктор Брукнер наводящие вопросы, но фрейлейн Лампрехт и без того говорила без умолку, будучи еще, наверное, под влиянием столь неожиданного перелета в Лондон.

Доктор Брукнер был не из тех, кого каждая встречаемая женщина сводит с ума, и даже в отношениях с Ингой было не слишком много волнующих моментов. Но то, что чувствовал он сейчас, а затем по дороге в Эксбридж, в самой больнице и, наконец, в маленьком ресторанчике, в котором они сидели с фрейлейн Лампрехт после посещения Бергерзона, было для него совсем новым видом переживаний. И сколько раз за этот день он зарекался не поддаваться на ее рвущуюся наружу откровенность, но ничего не мог с собой поделать. Она была истинно немецкой женщиной, в этом доктор Брукнер не сомневался, но все же, несмотря на холодный, славянский блеск ее глаз, она вся дышала каким-то средиземноморским темпераментом, исходившим от ее смуглой кожи. Чем дальше, тем больше он убеждался в полнейшей правдивости всего, что она говорила. Если она не величайшая актриса, если все, ею сказанное, не выучено наизусть под руководством какого-нибудь тайного агента, то она самая прелестная в мире девушка! Именно девушка, хотя ей и пошел уже двадцать девятый год, подумать только, всего на два года моложе моей Инги.

Ничего этого, разумеется, не было в отчете, переданном полковнику Унтермайеру еще до того, как тот встретился с фрейлейн Лампрехт. Копия этого отчета попала к Авнеру, и он даже перевел его на иврит, чтобы полностью поместить в этом рассказе. Но невысказанная смесь точного юридического языка, сухого канцелярского стиля и банальных сентенций доктора Брук-

нера весьма исказили содержание беседы, длившейся несколько часов. В конце концов Авнер решил, что лучше будет дать вольное изложение рассказа Бригитты Лампрехт, добавив в него также и то, что он сам слышал от нее. Квинтэссенция этого бурного потока слов выглядит приблизительно так.

...Семью, вы собирались найти его семью в Германии, дорогой консул?!.. А если бы, к примеру, я оказалась на месте Хайнца, то какую бы семью вы тогда искали?!.. А известно ли вам, сколько разного народу понаехало во Франкфурт после войны? Я не имею в виду югославов, турок, северо-американцев и испанцев, я говорю о нас, о немцах, вырванных с корнем из родных мест, кочующих, бездомных, без семей и без прошлого. Да разве такое только во Франкфурте? Сейчас почти каждый человек новой Германии – это человек без прошлого. И я, и Хайнц, и, может быть, даже вы, господин консул...

Я работаю, если хотите, управляю небольшим издательством, вряд ли вы слышали о нем, поскольку оно основано не так давно. Его название „Бибер”. Скромный, но трудолюбивый коллега „Пингвина” и „Пеликана”. Главная моя цель сейчас – это найти писателей, устроить для них своего рода питомник в надежде, что когда-нибудь один из них получит большой приз. Поэтому я собираю всевозможные библиографические и биографические издания. А изучая биографию писателя, пусть даже самого известного, обязательно наткнешься на пробелы в его жизни. Например, я читаю – родился в 1911 году, изучал теологию, германистику, философию и вдруг в 1949 году опубликовал роман. А где двенадцать лет жизни после учебы? Вы понимаете, о каких двенадцати годах я говорю? Или другой вариант – родился в 1917 году во Франкфурте, живет во Франкфурте, пишет во Франкфурте и больше ни слова. Этого человека не вырвало с корнем, но зато биографию его изодрало в клочья. Вы и сами, наверное, господин консул, сталкивались с этим...

Где мы с Хайнцем встретились? Во Франкфурте. Но я тоже недавно туда переехала, из Берлина. Нет, я не уроженка Берлина, я родилась в Дрездене, господин консул. До сих пор еще дискутируют, сколько народу там погибло – тридцать пять тысяч или сто тридцать пять тысяч. Куда исчезли эти сто тысяч? Они есть, их нет?.. Может быть, и моя семья в их числе?..

13 февраля 1945 года мне запомнился как день, когда я вдруг обнаружила, что у меня не осталось ничего из моей прежней жизни. Я вижу себя со стороны, шестилетнюю, на руках у матери, она растерянно жметя к обочине разбомбленного шоссе; под ногами снег, а над головой пламя огня и воздух, пропитанный запахом гари. Свою родню, дорогой консул, я помню только из рассказов матери, а мой дом – это церковь и школьный класс в маленьком городке около Ганновера. Там мать нашла работу экономки у одного человека, за которого некоторое время спустя вышла замуж, ради меня, как она говорила...

Это был большой и богатый дом, оставшийся господину Хайссе после смерти жены. Тут я нашла замену семье. Господин Хайссе представлялся как антиквар, но на самом деле он занимался – теперь я знаю, что этот свой бизнес он начал еще в 1933 году – скупкой и продажей самых разнообразных подержанных вещей. В то время все что-нибудь покупали или продавали, но он твердо верил, что наступит день, когда самая ненужная дрянь будет продаваться за большие деньги. Потому он и назвал себя антикваром. Большую часть этого барахла составляли книги. Днями и ночами проводил господин Хайссе за сортировкой и составлением описей кухонной утвари, оружия, мебели, часов, ордепов и книг. Я была тогда очень одинокой девочкой, и книги стали моей семьей...

Поэтому с такой легкостью поддалась я на уговоры одного из наших покупателей-книголюбов, которые начали издалека приезжать в лавку господина Хайссе и приобщать его к „экономическому чуду”. Мне было восемнадцать лет, и я уже хорошо ориентировалась в

книжном мире. Человек, представившийся профессором литературы и главным редактором нового издательства классической немецкой прозы, предсказал, что такую девушку, как я, ожидает блестящее будущее, но для этого надо приобщиться к творческой среде, то есть переехать в Берлин. Он оставил свой берлинский адрес и пообещал устроить меня в своем издательстве. Продолжение было, как это не трудно предположить, весьма банальным. И все же, благодаря этому профессору, собиравшемуся устроить меня не в своем издательстве, но в своей постели, я навсегда покинула дом господина Хайссе...

Все это в ответ на ваш иронический вопрос – ну, насколько уж одиноким может быть человек. Одиночество, доктор Брукнер, очевидно, не имеет границ...

Нет, не подумайте, что одиночество таких людей, как я и Хайнц, это одиночество неудачников. То, что называют удачей, успехом, я как раз достигла с легкостью, даже, более того, я стремилась преуспеть, ведь одинокие люди такого типа, как мы, хватаются за любую возможность. Все двери были распахнуты передо мною... Благодарю вас за комплимент, но в Берлине и без меня достаточно красивых девушек. ...И я хваталась за эти возможности. Года четыре тому назад я уже считалась опытной охотницей за молодыми талантами. В том издательстве, в котором я работала, я устроила небольшую революцию. Нет, ничего выдающегося, просто как нетипичный представитель своего поколения я стала рекомендовать книги, которые мне нравились. В конце концов приняли мое предложение издать библиотеку „молодого человека“. Это были книги особого формата, на нестандартной бумаге и с другим шрифтом, наша цель была издать такую книгу, чтобы ее читатель мог бы почувствовать себя одним из подданных царства молодых. Да, это был большой успех, хотя единственной премией, которой я удостоилась, были две недели на октябрьской книжной ярмарке во Франкфурте...

Случалось ли вам бывать в этом городе? Да, да, мо-

дернистский аэровокзал, следы имперской истории, но сам-то город сегодня больше похож на лавку старьевщика господина Хайссе – патетические остатки старого города, восстановленные и вылизанные, и отделка из красного камня с претензией на историческую достоверность, а вокруг кубические строения периода послевоенного строительства. И между всем этим дыры, страшные пустоты...

Не знаю почему, но мне заказали номер в „Карле Великом”, то ли потому, что кто-то в издательстве помнил дни, когда в нем размещались офицеры вермахта, то ли потому, что посчитали, будто я не прочь пожить в центре „порнографического квартала”. Метро меня не привлекало, и для того, чтобы добраться до ярмарки, в „Фридрих-Эберт-анлаге”, надо было шагать минут двадцать. И я шагала, признаться, довольно много, потому что после шести лет в Берлине Франкфурт казался мне одним большим кварталом. Ярмарка, как ни парадоксально это слышать от библиофила, угнетала меня ужасно. Книги, книги, книги – море книг, множество издательств. Книга, в которую автор вкладывает всю свою душу, это чудо творения, предназначенное, быть может, всего для одного читателя, превращается здесь в чаплиновского рабочего у конвейерной ленты. И вся эта „выставка духа” казалась мне не менее порнографической, чем „выставка плоти” на Кайзер-штрассе.

Итак, я шагала по улицам города, возвращаясь снова и снова к „Ремеру”, на Хауптвахе, на площадь Оперы. Вычищенные и вымытые развалины с провалами окон и с растущей по стенам травой возвышались тут как надгробный памятник девятнадцатому столетию. А за пустым пространством, используемым под стоянки автомобилей, – многоэтажные небоскребы, блестящие, точно новые платиновые зубы, посреди всей этой неприкаянности. Я вернулась на площадь Гете. О да, у меня длинные и крепкие немецкие ноги, но даже и они болели в тот холодный и морозный вечер. На углу я заметила небольшое кафе под названи-

ем „Тип-Топ”. Всего десять круглых столиков и полторы стены цвета старого дуба создавали ощущение уютной тесноты, которая и привлекла меня к себе...

Между дверью на кухню и лестницей, ведущей на второй этаж, я заметила свободный стул. Напротив сидел одинокий мужчина. Он смотрел в окно, и взгляд его, казалось, был прикован к улице. Каждый раз, когда я думаю о Хайнце, то в первую очередь мне вспоминается эта картина...

Ну, насколько уж одиноким может быть человек? — задали вы вопрос, будто хотели распутать какую-то сложную детективную историю. А настолько, дорогой консул, что погибни он в этой аварии, некому было бы даже придти на его похороны. И не присядь к нему за столик в „Тип-Топ” скужающая молодая женщина, не было бы этого разговора, и никто не мчался бы в Лондон, чтобы справиться о его состоянии. Возможно, что сама судьба свела нас тогда, но я не верю в гороскопы...

Все очень просто, господин консул, и поверьте, что в жизни этого удивительного, но очень одинокого человека нет никаких тайн. Не оттого ли вы так заинтересовались им?.. Дай-то Бог, чтобы доктор Эванс был прав и чтобы к Хайнцу поскорее вернулось сознание. А все то, что произошло с ним до потери сознания, я могу вам рассказать.

Он родился сорок лет тому назад. Родился во Франкфурте, хотя с таким же успехом мог бы родиться в любом другом месте. Его отец происходил из уважаемой семьи лесоторговцев из Гамбурга. Отец Хайнца был самым младшим из братьев и, по рассказам сына, отличался необычайной одаренностью и привлекательностью. В семье же он считался белой вороной. Во-первых, он писал стихи, во-вторых, был связан с „Рот-фронтом” и, наконец, — взял в жены театральную актрису. Но окончательно все связи с семьей прекратились, когда он выставил свою кандидатуру в рейхстаг от коммунистической партии. Сам же Хайнц, все детство которого прошло в переездах, митингах и

театральных представлениях, вообще не был знаком с родителями отца. Только после того, как отца арестовали и отправили в концентрационный лагерь, откуда он уже не вернулся, мать Хайнца, преодолев гордость, обратилась к семейству мужа. От собственных полунных родителей ей не приходилось ждать помощи. Но старший брат мужа не пожелал даже встретиться с ней, через семейного адвоката он передал ей билет на пароход в Латинскую Америку и небольшую сумму денег на устройство в первое время, однако при условии, что ни она, ни ее сын, которого семейство Бергерзонов ни за что не хотело признавать за своего, никогда не станут претендовать на права законных наследников. Она отклонила это оскорбительное предложение, заявив, что для нее существует только один достойный Бергерзон, тот, что гниет сейчас в Дахау. Но, опасаясь преследований гестапо, все же сменила фамилию на девичью, которая, впрочем, была ее сценическим псевдонимом все время замужества.

Маленький Хайнец, скитаясь вместе с матерью по всей стране, окреп и возмужал. Так минуло девять лет — годы, проведенные в окружении полупьяной богемы, порой мало чем отличавшейся от уголовного мира. Такая жизнь измотала и без того слабую здоровьем мать. И в 1943 году, во время их пребывания в Киле, мать, сказав, что идет попить пивка с одним из своих дружков, бывших у нее повсюду, ушла поздно вечером из гостиницы и больше не вернулась. Позже этот дружок утверждал, что в тот вечер они не встретились, а поскольку снова начали бомбить военноморские базы, расположенные в кильском порту, то он подумал, что она просто побоялась выйти на улицу. И все решили, что она погибла во время бомбежки. Ей было тогда около сорока, а Хайнцу шел семнадцатый год. Но он до сих пор твердо убежден в том, что мать намеренно пошла искать смерти, а, может быть, даже и покончила с собой.

С этого дня в жизни Хайнца открывается новая страница. Компания бывших дружков матери, про-

мышлявшая то ли рыболовством, то ли контрабандой, берет здорового и сильного парня под свою защиту, но у Хайнца на уме свой план, исполнение которого он откладывает до наступления семнадцатилетия. И, наконец, во время одного из выходов в море ему удастся, подвергая жизнь большой опасности, сойти на шведский берег вблизи Мальме. Если бы вам довелось встретиться с ним не в нынешнем его состоянии, а когда он был полон сил и энергии... Я представляю себе, каким прекрасным викингом выглядел Хайнец в семнадцать лет, поэтому неудивительно, что перед ним были открыты все двери. Всю войну он провел среди рыбаков, а сразу после ее окончания пустился в свои бесконечные странствия...

Где? Вы не найдете на земле уголка, где бы он не побывал. Я же говорила вам, что это особенный человек... Но даже мне он не рассказывает всего, лишь когда ему необходимо излить душу, он делится со мной. Тут, кстати, уместно будет рассказать о наших отношениях. Прошло уже четыре года с нашего случайного знакомства в „Тип-Топ”... С тех пор мы встречались семь раз, вчера должна была состояться наша восьмая встреча. В общей сложности мы провели вместе чуть больше двух месяцев...

Это не так уж странно. Одиночество хорошо знакомо нам обоим, и хотя мы жаждем избавиться от него, но торопить события не решаемся. Пусть этот процесс произойдет сам собой, так же естественно, как, скажем, у змси, меняющей кожу. В конце концов, прошло больше девятнадцати лет, прежде чем Хайнец снова посетил город, в котором волей случая родился в перерыве между театральным представлением и шумным митингом...

До сих пор ему необходимы долгие отлучки для полного одиночества. Поэтому я не жду ни писем, ни открыток с экзотическими пейзажами, ни телефонных звонков. Но когда он подает признаки жизни, я рада. И каждую встречу, десять дней весной и десять осенью, я чувствую, как слабеют путы нашего серого одиноче-

ства. Мне совершенно безразлично, торгует ли он лесом в Канаде, покупает ли транзисторы в Японии или издает книги в Югославии. От своей матери он унаследовал актерский талант, от отца к нему перешла мечтательность, а от семейства Бергерзонов, чей полный экономический крах во время войны доставил Хайнцу чувство удовлетворенной мести, — обостренный нюх бизнесмена...

Да, господин консул, первоначальный капитал книжного издательства „Бибер” был его. Мы стали партнерами. „Бибер” — это не только трудолюбивый бобр, кормящийся, как и мы, книгоиздатели, древесиной, но также и сочетание двух наших имен: Бригитта и Изидор Бергерзон. В нашу последнюю встречу он сказал мне: „Бригитта, еще немного, и я снова стану самим собой, и смогу наконец вернуться в страну, столь жестоко обошедшуюся со мной и со всеми нами. Только молись, чтобы я благополучно миновал сорокалетний рубеж...”

Как видите, доктор Брукнер, ему это не удалось...

ТЕТУШКА – И ВПРАВДУ ТЕТУШКА

Этим утром я тоже предпочел осторожность излишней спешке. Хотя в течение ночи состояние больного значительно улучшилось, врачи еще никого не допускали к нему. В полной, как они говорили, изоляции он должен оставаться неделю, а то и все десять дней. Поэтому самое важное сейчас, – приложив все свое умение, найти путь к сердцу госпожи Оппенхайм. А это, очевидно, будет нелегкой задачей. Не секрет, что к старости люди, как правило, настолько костенеют в своих привычках и убеждениях, что, отгородившись высокими стенами консерватизма от изменчивости и непостоянства окружающего их мира, они в каждом, кто предлагает им что-нибудь новое, неизвестное, видят опасность. Как будто он замышляет сделать с ними то же, что в свое время Иехошуа Бин-Нун проделал со стенами Иерихона. Мне же надо убедить госпожу Оппенхайм не только принять участие в деле, которое и у людей помоложе может вызвать известную степень сопротивления, но и заставить поверить, будто ее племянник и в самом деле жив и лежит в больнице Эксбриджа.

В телефонной книге я нашел: М.М. Оппенхайм, M.D., V.P.S., Гринкрофт-гарденс. Сокращения мне удалось расшифровать без труда. Принимая во внимание ее происхождение и возможное социальное положение, я пришел к заключению, что их следует читать как „доктор медицины, член Британского общества

психоаналитиков”. Это меня приободрило. Даже если эти титулы принадлежали не самой госпоже Оппенхайм, а ее мужу, то теперь я преисполнился надежд, что она отнесется с пониманием к странной просьбе совершенно незнакомого ей человека.

Мне ответил надтреснутый голос старой женщины. Она кричала в трубку, как все глуховатые люди. Но поняв, что я звоню в ответ на ее звонок в посольство, она заговорила тише. А на мою просьбу встретиться со мной ответила взволнованно и без раздумий:

— Хоть сию минуту. Всю ночь меня терзали воспоминания. Двадцать пять лет, как их уже нет, и вот снова услышать это имя...

Даже в такое утро, когда у тебя над головой небо затянуто облаками, и ни один луч солнца не пробивается сквозь них, красные кирпичные здания, прячущиеся за увядающей листвой деревьев, выглядят солидно и внушительно. Просто не верится, что Свисс-коттедж — это всего лишь один из лондонских кварталов.

Свет с улицы почти не проникал внутрь подъезда. Узкий пролет вел куда-то ввысь. Но неожиданно в конце коридора на первом этаже приоткрылась дверь, и знакомый уже голос пригласил меня войти. Приглашение, несмотря на царящую здесь обстановку всеобщей подозрительности, прозвучало совершенно естественно и спокойно. Не успел я еще переступить через порог, как госпожа Оппенхайм заявила: — Я так рада, что вы приехали. Уж чего только я не передумала...

Я изучал одновременно и ее и квартиру. Поражали необычайные размеры комнаты, видимо, когда-то разгороженной надвое, но сейчас, без перегородок, просторной и светлой. Высокие арочные окна и раздвижные стеклянные двери во всю ширину задней стены открывали вид на небольшой садик. Сквозь стекло лился серый свет низкого утреннего неба. В глубине комнаты стоял овальной формы стол, окруженный массивными стульями. Напротив располагались кресла, бар, маленькие салонные столики, круглая софа.

На стенах, в легких ажурных рамах, висели картины, написанные маслом. Казалось, будто все это перенесено сюда из совсем иных времен и мест, давних и далеких. И тем не менее, здесь было светлее, чем на мрачных улицах пасмурного ноябрьского Лондона.

А может быть, все это — мое более позднее впечатление от самой госпожи Оппенхайм. Маленького росточка женщина в темном платье, с морщинистым лицом и седыми вьющимися волосами крепко держала мою руку и вела вглубь квартиры. — Может быть, чаю, или кофе... или, несмотря на раннее утро, стаканчик хереса, — возбужденно говорила она, желая угодить мне. Не успел я опомниться, как она усадила меня на софу, обитую бордовым плюшем, утратившим за долгие годы свою былую яркость. Госпожа Оппенхайм, ни на минуту не умолкая, то приседала на кончик стула напротив, то тут же вскакивала, чтобы принести еще несколько вазочек с новыми сортами печенья и разлить чай по чашкам или порыться в книжном шкафу, занимавшем полстены, и показать мне в доказательство своих слов какую-нибудь фотографию из семейного альбома или письмо давно погибшего родственника. Тем временем я уже точно знал ее возраст. Из рассказа госпожи Оппенхайм следовало, что она была на два года старше отца Хайнца, а когда в тридцать седьмом году они, покойный Манфред и она, навсегда покинули Франкфурт, Бернару, ее младшему брату, было тридцать шесть лет. То есть, сегодня госпоже Оппенхайм должно быть шестьдесят восемь — шестьдесят девять лет. Но как она не похожа на чопорную фрау докторшу из Франкфурта! Живая, энергичная, с горящими глазами, вечной сигаретой во рту и тонкими узловатыми пальцами рук, она скорее напоминала нынешних семидесятилетних старух, приехавших когда-то в Израиль с третьей алией*. Вскоре уже все кругом было залито

*Третья алия — репатриация в Эрец-Исраэль в 1919-1923 г.г. Охватила более тридцати пяти тысяч человек; состояла в основном из идеалистов, членов молодежных сионистских движений.

ярким светом, госпожа Оппенхайм молодела буквально на глазах, и в комнате становилось светлее и светлее. Это ощущение света и запомнилось мне больше всего из той встречи.

– По-немецки вы не говорите...

– Когда нужно, я понимаю.

– Сабра! – словно вынесла она приговор, и в ее голосе отразилось не только удивление, но и огорчение, – ну, тогда нам остается английский. Еще считанные годы, и не останется в мире еврея, говорящего по-немецки. Все-таки, в этом есть горькая ирония... после Гейне, Кафки, Бубера... Да и сам Герцль, кажется, был убежден, что немецкий будет языком еврейского государства... Ну, да ладно! Скажите, вы там, в посольстве, были удивлены, не правда ли? Что еще за сумасбродная идея возникла в голове у какой-то там старухи, и чего ей от нас нужно? Как будто у Израиля мало своих хлопот? Не так ли!?!..

– Поскольку вы так верно сформулировали вопросы, госпожа Оппенхаймер...

– Оппенхайм! – перебила она меня своим громким надтреснутым голосом, в котором нет-нет да и проскальзывали шуточные нотки. – Если бы эту вашу ошибку услышал мой муж!.. Всегда находился кто-нибудь, равный проявить свою образованность. Тогда уж припоминали и отца атомной бомбы Роберта Оппенхаймера, и социолога Франца Оппенхаймера, и даже, желая задеть, еврея Зюсса – Йосефа-Зискинда Оппенхаймера... Мой муж отвечал, что да, безусловно, все эти люди весьма знамениты, и у меня имеются биографии и родословные еще десятков выдающихся Оппенхаймеров, но, поверьте мне, – Оппенхаймы ничем не уступают им – не только Эрнст, алмазный король, и Мориц-Даниэль, художник, но и великие раввины и *парнасим** такие, как Давид, живший более двухсот лет тому назад и оставивший после себя многотысяч-

* Парнасим (иврит) – руководители, главы еврейской общины.

ное собрание книг и рукописей на иврите, которое послужило фундаментом древнееврейского отдела Бодлеанской библиотеки в Оксфорде... Да, именно так он говорил. Некоторые коллекционируют марки, Манфред же коллекционировал Оппенхаймов и Оппенхаймеров. С момента переезда в Лондон и до самых последних дней он разбирал эту коллекцию, находя в ней все новые подтверждения своим теоретическим выводам. Вот здесь, где мы с вами сейчас сидим, он беседовал с Зигмундом Фрейдом, доказывая ему, что семена нацизма были посеяны двумя заносчивыми англичанами, этими двоюродными братьями Дарвином и Галлтоном, в их теории естественного отбора. Свою же теорию мой покойный муж называл „моя раввинская генетика"... Но вы ведь не за этим сюда пришли, и вчера меня потрясло нечто совершенно иное. Вы хотите услышать, что я вам расскажу? Итак, мой дорогой израильтянин, из услышанного мною вчера по телевизору следует, что человек, именуемый Хайнцем Изидором Бергерзоном, сорока лет, уроженец Франкфурта, живший некоторое время в Париже, может быть только сыном моего брата Бернарда. В 1927 году во Франкфурте не мог родиться еще один еврейский ребенок с таким же именем. Сколько всего евреев жило тогда в нашем городе, включая эмигрантов из Восточной Европы? Ну, тридцать тысяч, не больше. Мой отец тоже был эмигрантом и тоже жил в Ост-энде, но разбогател и стал уважаемым членом ортодоксальной общины. Гордый своим происхождением из Польши, отец продолжал молиться в „Фридбергер-анлаге" и не желал перебираться в Вест-энде, тем более, что тамошний новый реформистский храм* вообще казался ему похожим больше на церковь, нежели на синагогу. Все это я припоминаю только потому, что это имеет отношение к спору об имени внука. Отец требовал, чтобы ребенка назвали просто Исраэль, в честь его отца, так же, как своего сына он назвал Барух в честь отца матери. И

* Реформистская синагога.

так же, как у сына было второе, немецкое имя – Берnard, назвать внука – Изидор, именем, звучащим для отца в достаточной мере по-еврейски. Но жена Бернарда противилась обоим именам, и после семейного скандала ребенка записали как Хайнц Изидор. Отец называл его Изи, а мы – Хайнци. Ребенок с таким именем был один во всей общине, мой друг... Кстати, каким титулом мне вас величать, посол, советник?..

– Не будем формалистами, зовите меня просто Шломо.

– О! Соломон премудрый!.. Но я продолжу. В 1937 году мы эмигрировали, а Берnard с Генриеттой продолжали верить, что в один прекрасный день они проснутся, и кошмар исчезнет. Только после „Хрустальной ночи” эта их вера в „истинную Германию” развеялась, и они в том же ноябре бежали в Париж. Вот перед вами первое письмо от брата. Он рассказывает в нем, как за бесценок продал все семейные драгоценности, описывает развалины синагог, а вот строчки, где он радуется тому, что отец и мать уже пребывают в лучшем мире и не видят всех этих ужасов... Какие могут быть сомнения, господин Шломо? Всю ночь я сидела и перечитывала письма. Если бы Хайнц был жив, то в июне ему исполнилось бы сорок. Вот письмо, датированное апрелем, где Берnard сообщает, что *бар-мицва** Хайнца будет проведена в ортодоксальной синагоге, как того хотел дед, и что они уже нашли раввина из Польши, который должен подготовить мальчика. Вскорости пришли немцы, и связь с Парижем прекратилась. Сразу же после освобождения Парижа мы пытались навести справки. Манфред, мой покойный муж, был очень известным психиатром и в годы войны активно сотрудничал с армейской психиатрической службой. Многие из его знакомых и учеников, служивших в то время в армии, ездили из Лондона в Париж и обратно и пытались разузнать что-либо о судь-

* Бар-мицва – буквально „сын заповеди”; достижение мальчиком тринадцатилетнего возраста, когда он считается взрослым и обязан соблюдать все заповеди.

бе Бергерзонов. Но особенно пытался помочь молодой тогда психиатр и наш близкий друг Хартклифф. Вы не слышали этого имени? Сейчас он известен во всем мире. Но как бы там ни было, он посетил квартиру моего брата в Десятом квартале Парижа на рю д'Отвиль. Соседи рассказали ему, что семье Бергерзонов удалось каким-то образом избежать первых выслоек, но в большой облеве 16 июля 1942 года схватили и их. Одна из соседок рассказала Хартклиффу, что собственными глазами видела, как полицейские увели всех четверых — Бернарда, Генриетту, Хайнца и Паулину. И все же мы не отчаивались, мы публиковали объявления в еврейских газетах, писали в различные организации, ездили несколько раз в Париж. Но в конце концов вынуждены были смириться с мыслью, что никто из них не выжил. Этот человек в больнице, дорогой господин Шломо, не может быть нашим Хайнцем. Не спрашивайте, кто и с какой целью снабдил его паспортом на это имя; одно могу сказать, что мне все это очень не нравится. Откровенно говоря, я уже держала в руках телефонную трубку, чтобы позвонить тому немецкому консулу, который выступал по телевизору, но вдруг меня осенило — у кого, как не у них могли оказаться все эти данные о Хайнце? С кем же еще оставалось связаться старой еврейке, как не с вами? Вы понимаете?

— Я принимаю ваше предположение, что во Франкфурте был только один еврей, чьи данные...

— Это не предположение. Я уже, кажется, доказала, что это факт, — с нетерпением перебила она меня.

— Прекрасно. Но все же остается шанс, — признаю, пусть самый ничтожный, — что ваш племянник остался в живых. Может быть, ему удалось бежать из поезда, может быть, он выжил в лагере. Были и такие.

— Сударь, вы просто невнимательно меня слушали!

— Напротив, очень внимательно. Я просто выдвигаю предположение и при этом не такое уж маловероятное. Я и сам был в 1947 году во Франции, и мне известно,

что тысячи детей, прятавшихся всю войну, спаслись. Поэтому...

— В 1942 году Хайнцу было пятнадцать лет. Я, правда, видела его в последний раз, когда ему было всего одиннадцать, но нам было известно о его быстром развитии. Он был одарен редкими способностями, гибким умом и поразительным талантом к подражанию. Вообще, талантами своими он был обязан, очевидно, отцу, а внешней красотой — матери. Если бы ему удалось вырваться из лап извергов и остаться в живых, неужели он не нашел бы нас, не приехал бы к нам в Лондон?..

— Ваш адрес был ему известен?

— Сударь мой, в этой квартире на Гринкрофт-гарденс мы живем с 1938 года. Я сестра его отца и единственная родственница Хайнца на всем белом свете. У нас была постоянная переписка. Даже если бы он не помнил адреса, то не мог не знать, что его дядя, Манфред Мозес Оппенхайм, весьма известный психоаналитик. Разве такой блестящий юноша не нашел бы нас?.. О, поверьте мне, что и выдвигаемый сейчас вами вариант мы взвешивали не раз и со всей серьезностью. У вас, у сабр, даже у ваших прославленных генералов, которые после последней войны так часто появляются на наших телеэкранах, есть одна отличительная черта, правда, весьма симпатичная, — это отсутствие в ваших глазах еврейской грусти. Вы, очевидно, не понимаете, господин Шломо, в каком шоке я нахожусь с той минуты, как услышала имя Хайнца. Они уничтожили его, убили в самом расцвете его прекрасной и молодой жизни. И оставили себе склад свободных имен, которые можно использовать так же, как в свое время они использовали зубы, волосы, очки, башмаки... Кто-то пользуется этим именем.

Тем временем, на круглом обеденном столе, рядом с чайным прибором, выросла груда семейных документов, потрепанных альбомов, выцветших газетных вырезок. Две старые коробки из-под конфет были заполнены письмами и фотографиями. Я разглядывал

семейное фото, сделанное по случаю отъезда Оппенхаймов из Франкфурта. Вот отец Хайнца, высокий и худощавый, со смуглым еврейским лицом. До чего он походил на сестру, в доме которой я сейчас сидел. Рядом с братом жены стоял сам доктор Оппенхайм. В темном пиджаке, плотно облегающем живот жилете, застегнутом на все пуговицы, и в рубашке с накрахмаленным воротничком он выглядел типичным буржуа. На этом фоне особенно бросалась в глаза разница между лысеющим доктором медицины и его пышно-волосым шурином. На лице Бернарда играла легкая ироническая улыбка, голова была слегка отклонена назад, галстук, наверняка, каких-нибудь ярких цветов, свободно свисал с ворота клетчатой рубашки, а пиджак был небрежно накинут на узкие плечи. В первом ряду стояли двое детей Бергерзонов. А вот и Хайнц, маленький и пухлый мальчик в шерстяном костюмчике, с непокрытой головой и светлыми мягкими кудрями, аккуратно расчесанными на прямой пробор. А это, стало быть, его мать. Генриетта снята тут, когда ей было около тридцати. Светлые волосы, как венцом, обрамляют ее лицо, темное платье подчеркивает изящество плеч и шеи. Удивительно красивая женщина, сразу видно, что она обладала тонким и изысканным вкусом.

— Но если бы Хайнц был жив, могли бы вы сегодня, госпожа Оппенхайм...

— Могла бы я его опознать? — не дала мне тетушка закончить вопрос. Что за прелесть — старуха! Я кивнул.

— Я думала об этом. Последний снимок, вот этот, был сделан в июне 1939 года. Обратите внимание, как Хайнц вытянулся, какой он худой и как он еще больше стал походить на мать. Да, я подумала, меня им не провести. Вряд ли в сорок лет у человека могут так измениться черты лица, чтобы я не смогла опознать его по фотографии двадцативосьмилетней давности. Но после того, как я в сотый раз обдумала все это, мне стало совершенно очевидно, что кому-то очень нужна

была, боюсь даже подумать для какой цели, личность погибшего в лагере еврейского мальчика. Это правда, господин Шломо, что в этом есть какая-то связь с Израилем?

В этот момент я решился сыграть ва-банк.

— Именно поэтому я и пришел к вам.

— Вы пришли потому, что я звонила.

— Не совсем. До вас еще кто-то звонил в посольство и сообщил, что пострадавший в аварии — израильтянин.

— Что значит кто-то? Кто это мог быть?

— Я убежден, что вся эта история не столь уж безобидна, и она требует тщательного расследования.

— Вы хотите сказать, что этот человек, возможно, и на самом деле израильтянин?

Как описать эту сморщенную от старости, почти семидесятилетнюю женщину, одиноко доживающую свой век в просторной лондонской квартире? Но сейчас я видел перед собой не старуху, но молодую и красивую жену холеного доктора психиатрии, бывшего старше ее минимум лет на десять. Какой-то новый огонь ожидания загорелся в ее черных, как угли, глазах, воскресив давно угасшую надежду на то, что Хайнц спасся. Вопреки же острому уму и большому жизненному опыту, которые утверждали обратное, она никак не могла отказаться от этой мысли.

И я поведал госпоже Оппенхайм все. Во-первых, что меня зовут не Шломо, а Авнер, и что никому и ни под каким предлогом нельзя даже намеком дать знать о том, что я сейчас ей рассказываю. Во-вторых, что у меня нет никакого официального положения в израильском посольстве, поскольку я являюсь тайным сотрудником израильской службы безопасности. Но, на наше счастье, нашлась такая женщина как вы, и с вашей помощью, я уверен, мы сможем провести расследование, не вызывая ни у кого подозрения. Отнюдь не исключено, что и немцы замешаны в этом деле, однако этим мы займемся сами. А то, что я прошу от вас, госпожа Оппенхайм, заключается в следующем.

Вы должны поехать в больницу и, завоевав там доверие больничной администрации, убедить всех в том, что вы — единственная родственница пострадавшего. Тем более, что это нетрудно сделать, надо лишь представить документы, подтверждающие, что ваша девичья фамилия Бергерзон, или просто показать письма брата. Разумеется, я буду сопровождать вас под видом молодого друга, вызвавшегося помочь и подвезти вас на своей машине до больницы. На этом этапе стоит воздержаться от каких-либо разговоров о прошлом Хайнца и о том, что он был в немецких лагерях уничтожения. Да врачи и не спросят, но все же вы ничем не должны показать, что пострадавший на самом деле выдает себя за другого человека. Вы на правах родной тетки должны просить увидеть его, справиться о состоянии здоровья, высказать пожелание о скорейшем его выздоровлении и получить одежду и личные вещи. Конечно же, все это в том случае, если пострадавший все еще не пришел в себя.

Госпожа Оппенхайм слушала меня с большим вниманием. И чем дальше, тем больше расширялись ее черные глаза. Мои слова будто разжигали в ней какой-то внутренний огонь. Она покачивала головой, словно солдат, подчиняющийся приказу и готовый немедленно приступить к его исполнению. Она не удивилась моей просьбе, и на лице ее я не заметил ни малейшего признака страха или нежелания ввязываться в это дело. А когда же я стал разбирать другие варианты, таящие в себе большую опасность, а именно, — что мы можем столкнуться в больнице с представителем немецкого посольства, или что больной к нашему приходу уже придет в сознание, — госпожа Оппенхайм перебила меня:

— Кто этот обманщик, выдающий себя за Хайнца, я не знаю, но я действительно дочь Бергерзона. Вы еще, дорогой Шломо или Авнер, убедитесь, что семидесятилетняя старуха не так уж стара, как вам это кажется. Так мы идем?

Одно из главных правил в моей работе — это макси-

мальная осторожность, но общение с этой милой старушкой, надо признаться, расшатало все основы конспирации. Я не только полностью доверился госпоже Оппенхайм, но и почувствовал глубокую привязанность к ней, будто в мои сорок два года наконец нашел идеал любящей матери. (Хотя тогда я уже подозревал, и впоследствии это подтвердилось, что у Оппенхаймов никогда не было детей.)

Обращаясь к ней как к посвященному во все тонкости нашей профессии коллеге, я сказал, что первым делом нам стоит позвонить во Франкфурт по номеру, который я раздобыл во время вчерашнего посещения „Камберленда”. А посему я предлагаю, чтобы вы, госпожа Оппенхайм, набрали этот номер и с настоящим франкфуртским произношением попросили к телефону герра Бергерзона. А там уж посмотрим, что делать дальше.

Только теперь я понял, что она имела в виду, с гордостью заявляя о своей принадлежности к роду Бергерзонов. Не успела госпожа Оппенхайм взять трубку в руку, как лицо ее приняло выражение необычайно деловое и энергичное. Она произнесла „доброе утро” и, как нечто само собой разумеющееся, попросила позвать герра Бергерзона. На другом конце провода ей ответили:

— Доброе утро, книгоиздательство „Бибер”. Простите, но у нас нет никакого герра Бергерзона.

Однако госпожа Оппенхайм уже вошла в роль, и ее реакция была молниеносной:

— Вы заблуждаетесь, уважаемая, я не сказала, что герр Бергерзон работает у вас. У меня с ним было договорено, что он будет ждать моего звонка в издательстве „Бибер”, в одиннадцать утра...

Она прикрыла трубку своей костлявой рукой, и улыбка расправила ее морщины.

— Это — книжное издательство „Бибер”, секретарша переводит сейчас беседу к главной издательнице... Ого! — И снова энергичное выражение лица.

— Авария!?!.. В Лондоне!?!.. Нет, не срочно, все рав-

но мы вынуждены были бы отложить решение этого дела до его быстрого и благополучного выздоровления. Так я позвоню завтра еще раз.

Госпожа Оппенхайм повесила трубку и, хитро подмигнув мне, доложила содержание разговора, словно заправский тайный агент.

— Итак, вот что мы разузнали: книжное издательство „Бибер”, во главе его стоит некая фрейлейн Лампрехт, по-видимому, поддерживает тесный контакт с Бергерзоном, потому что секретарша говорила о нем так, будто я обязана была знать об их отношениях, и наконец эта фрейлейн Лампрехт вылетает сейчас в Лондон самолетом, который должен приземлиться тут в 11.30. Ей-Богу, не будь мне известна судьба Хайнци, у меня не возникло бы никаких подозрений в биографии этого вымышленного Бергерзона, во всяком случае, не в его отношениях с издательством „Бибер”.

Здесь читатель может подумать, что я повторяюсь, но для меня в тот момент это была важная информация, которая должна была помочь в разгадке тайны нашего героя. Я видел во всем этом весьма любопытный поворот дела, и мне еще предстояло немало покопаться в загадке издательства „Бибер” и понять, чего это вдруг фрейлейн Лампрехт так торопится в Лондон. Однако сейчас я задался только одним вопросом — как это может повлиять на наши планы.

На первый взгляд, мы могли бы немедленно отправиться в больницу и закончить там все наши дела еще до приезда неожиданной гостьи из Франкфурта. Но нам обоим было ясно, почему не стоит поддаваться этому соблазну. Если этот человек принял облик еврея, погибшего, по словам госпожи Оппенхайм, более двадцати лет тому назад, то, очевидно, что каждый, кто поддерживает с ним тесные контакты, также должен быть взят на подозрение. Но при этом нам не следует проявлять излишней поспешности, а, наоборот, предоставив фрейлейн Лампрехт полную свободу действия, осторожно двигаться по ее следам. Не хватало только,

чтобы ей заявили при входе в больницу, что несколько минут назад больного навещала его тетушка, госпожа Опенхайм. Поэтому мы должны набраться терпения и раньше времени не раскрывать своих карт.

СЕНАТОР ВСПОМИНАЕТ ГОДЫ ПОДПОЛЯ

Если уж обращаешь внимание на разные мелочи, то нельзя забывать и про сводки погоды.

Не последнюю роль в решении де Транбле лететь в Париж сыграла та ноющая боль во всем теле, которая не отпускала его всю ночь. Он уже видел в своем воображении окна парижской квартиры Раймона, чувствовал, как захватывает дыхание от головокружительной высоты Эйфелевой башни, и снова, будто воочию, убеждался в какой-то неповторимой красоте парижского вечера, когда упирающаяся в небо колоссальная металлическая конструкция в свете прожекторов словно распадалась на миллионы звезд и отражалась алмазной россыпью в толстом слое прелых листьев на далеких бульварах правого берега Сены. Так было в его прошлый визит на улицу Шарля Флоке, когда вдобавок ко всему полная луна, казалось, вот вот заденет за острый шпиль Эйфелевой башни. Да, в такой вечер с особой отчетливостью начинаешь понимать, что единственное место на земле, где божественное соприкасается с человеческим, — это Париж.

Но сегодня лил дождь.

Как говорится, из огня да в полымя — целый день потоки воды заливали ветровое стекло „ситроена“, и никаких тебе светло-синих парижских небес, солнечных улиц, дорогих сердцу знакомых с детства видов. А одна лишь бесконечная езда от одного дома к другому, с одной встречи на другую. И так до того мо-

мента, пока наконец я не очутился в маленькой боковой комнатке Раймона. Теперь я жду, когда же он задаст свой вопрос, на который у меня не будет ответа: „...всего лишь из-за этого генерал де Транбле собственной персоной летит из Лондона в Париж?..”

Сегодня даже эта комната выглядит как-то иначе, не как всегда. Салон старого холостяка, не испытывающего ни в чем недостатка, кажется грустным и тесным. Все же отсутствие женщины в доме, именно женщины-хозяйки, а не служанки или любовницы, ощущается во всем. А может быть, это ощущение от того, что сидят они вдвоем в пустой комнате перед ненакрытым столом, и не горят свечи, и не слышно звона посуды и веселой застольной беседы вокруг. Сейчас они одни. Прожитая жизнь одного отражается в глазах другого. Ах, до чего длинна наша жизнь... Подумать только, что в тот исторический день, 18 июня, Генерал был всего лишь на четыре года моложе меня, а когда вернулся победителем в Париж, ему было ровно столько, сколько мне сегодня. Есть люди, первые пятьдесят лет жизни которых являются как бы только вступлением к книге их судеб. Мы же с Раймоном дописываем заключительные строки...

— Думаем ли мы с вами об одном и том же? — спросил Раймон. В это время служанка принесла и поставила на стол разные сорта сыра, жареное мясо, вино, пирожные и кофе. Раймон разлил коньяк в модные пузатые, в виде грейпфрутов, бокалы.

— Если вы, Раймон, намекаете на то, что привело меня к вам, то ответом будет нет.

— Я имею в виду встречу между Генералом и сенатором. Ведь это общая для нас обеих точка зрения...

— Несмотря на то, что мы придерживаемся разных взглядов. Мне припоминается беседа летом 1931 года в Авиньоне, вечером...

— Конечно, нет лучшего доказательства преимуществ красоты над силой. Я почти убедил вас тогда убежать вместе со мной в Париж. Вы предназначены

были стать художником или поэтом, или и тем и другим вместе, как Поль Клодель...

— Кого-то из нас двоих подводит память. Вы, помнится, говорили, что он окончил Сен-Сир. И это, кстати, не помешало ему стать послом Франции в Вашингтоне.

— О, нет! Это вы говорили, что можно быть великим художником и в то же время служить родине. Я же утверждал, что мы обязаны посвятить себя одному только призванию.

— Призванию, которое мы в себе обнаружили. Я помню, мы стояли у стены Папского замка и вы сказали: „Я хочу излечивать человеческие души не с помощью религии, а при помощи науки, быть Луи Пастером душ...”

Раймон рассмеялся. Трудно было представить себе, что этот низкорослый и раздавшийся человек, привыкший к поклонению толпы, был когда-то восторженным восемнадцатилетним юношей, мечтавшим о карьере врача, но в годы оккупации ставшим подпольщиком. Де Транбле оборвал себя на полуслове, однако Раймон словно прочел его мысли. Как ни различны были их взгляды, но между двумя точками можно провести только одну прямую. Да, он был врачом душ своих товарищей по оружию — он повиновался зову униженной Франции. И только после выборов в октябре 1945 года, когда он ушел в политику, Раймон стал все больше и больше погрязать в той сумасшедшей жизни политиков, которая так походит на игру актеров на сцене, где герои рождаются и умирают каждый вечер.

— Ну, коли так, Жан Франсуа, то выпьем за наше здоровье, — Раймон широко открыл свои до удивления светлые и чистые глаза, которые, правда, с возрастом чуть потускнели, — и вернемся к тому, с чего начали.

Только теперь он задумался над тем, ради чего друг приехал из Лондона. Вот вам еще один пример того, сколько всего хранит в себе наша память. И как часто склонны мы принимать желаемое за действитель-

ное. Недаром политические деятели, посмеялся Раймон над собой, так стараются понравиться каждому встречному и убедить его в том, что он — это не просто безличный голос в избирательной кампании, но и человек. Человек, который близок и дорог вашему сердцу, блестящий спич которого об Алэне Роб-Грийе вы запомнили на всю жизнь. Но еще большее впечатление оставила виртуозная игра его сына-музыканта и мясо, изысканно приготовленное его женой; конечно же, после всего этого номер телефона строительной фирмы, где он состоит компаньоном, вы уже не сможете забыть. Вот и я тоже, в такой степени привык все запоминать, что рано или поздно в моей памяти обязательно всплывет адрес Анри, где он останавливался во время своих визитов в Париж, и я найду номер его телефона. Я уже спрашивал у секретарши, рылся в записных книжках дома, но нигде ничего не записано. А кстати, неужели Анри подозревается в чем-то?

— Очень важно, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно, и как можно более последовательно. Я же, чтобы не повлиять на ваш рассказ, все вам расскажу после, — деликатно направил де Транбле нить разговора в нужном направлении.

— Хорошо, но сперва хочу вас предупредить, что Анри необычайно дорог моему сердцу. Для меня он навсегда останется самым драгоценным цветком военных лет, прекрасным, как святой Себастьян, и стремительным, как Гермес...

Раймон замолк и подождал, пока поэтическое вступление к этому рассказу произведет впечатление на слушателя. И словно два гулких эхо, одно из христианской, а другое из греческой мифологий пронеслись по комнате и застыли над головой. Но эти глаза еще потеплеют, как глаза каждого из нас, когда мы возвращаемся в наших воспоминаниях к коротким и героическим годам Сопrotивления. А в его рассказ вернется точный и ясный стиль тех дней.

— Отлично помню, как я нашел его. Это было в конце лета, нет, в сентябре 1942 года. Эта дата мне очень

хорошо запомнилась, потому как незадолго до того, буквально недели две-три, не больше, была предпринята та злосчастная попытка союзников высадиться 19 августа в районе Дьеппа, которая, как известно, открыла союзным армиям глаза на истинное положение дел. Вся их информация о расположении немецких сил вдоль нормандского побережья оказалась неверной. После этих событий нам было приказано переместить нашу деятельность к югу от Па-де-Кале. Свою новую должность я расценил не только как знак признания того, что мне удалось создать весьма действенную разведывательную сеть в самом центре скопления немецких войск между Аббевилем и Дюнкерком, но и как намек на важные перемены, ожидающиеся в недалеком будущем. Ходили упорные слухи, что этой осенью или самое позднее весной 1943 года будет открыт Второй фронт. Я с энтузиазмом принялся за организацию новой разведывательной сети. Надо сказать, что это была титаническая работа, учитывая (сейчас-то мы уже можем признаться себе в этом), что большинство французов предпочитало лишь наблюдать со стороны за нашей борьбой.

Поэтому я говорю, что произошло это в сентябре. Мы ехали по дороге из Бове в Гурне. Я сидел за баранкой старого разваливающегося грузовика, который мы взяли с одной фермы, расположенной как раз в самом центре района наших действий, недалеко от Нешателя. От грузовика и от меня несло коровьим навозом, что служило самой лучшей защитой от чересчур любопытных немцев. Рядом сидел мой верный помощник, кстати, настоящий крестьянин. Где-то на полпути мы остановились помочиться, а заодно проверить, надежно ли спрятан под толстым слоем удобрений наш драгоценный груз. Я заглянул в кузов и увидел в глубине его свернувшегося в клубок довольно рослого парня. В первый момент меня охватила паника, и не только потому, что в грузовике оказался чужой, но в основном из-за того, что мы направлялись к нашей передвижной радиостанции. Чтобы

скрыть это свое состояние, я обрушил на малого град проклятий и приказал немедленно убираться. Несмотря на то, что он кутался в старое и перепачканное навозом пальто, а башмаки его были изодраны и облеплены грязью, сразу бросалась в глаза какая-то особая, сильная и спокойная, красота его лица. На парижском жаргоне уличных бродяг он извинился за непрошенное вторжение, но никакого раскаяния в содеянном я не почувствовал в его словах. Лучше уж так, сказал он, чем очутиться в другом месте и подвергнуть там себя смертельной опасности. Даже если вы, Жан Франсуа, снова станете насмехаться над моей проницательностью, я все равно останусь при своем мнении: этот юноша с первого взгляда распознал во мне не того, за кого я себя выдавал, мой шоферский вид его не обманул. И он сразу дал понять, что полностью доверяет мне. Что же тебе угрожает, спросил я его. Он улыбнулся, и, показав на себя, ответил — я сам.

Теперь он заговорил совсем иначе, так, как может говорить только хорошо воспитанный молодой человек. Тем самым он открыл мне практически все. Ему было тогда всего пятнадцать с половиной лет, но из-за высокого роста и совсем не мальчишеского вида, ему можно было дать все восемнадцать. Я спросил, куда он направляется.

— Может быть, даже к вам, месье, — ответил он, — туда, где я найду убежище, пропитание и возможность сделать что-нибудь для Франции.

Эта фраза надолго врезалась мне в память. И не только потому, что он и в самом деле сделал очень много для Франции в последующие два года, но и потому, что она вызвала во мне некое смутное подозрение. Слишком уж быстро произошел в нем переход от уличного жаргона к грамотной, почти афористической речи, и очень уж смело начал предлагать он свои услуги какому-то вонючему шоферу, будто кто-то специально посадил его в кузов. Но я решил не бросать его, а взять с собой, проверить и постепенно выяснить, что же все-таки он из себя представляет.

Итак, друг мой, Анри Монтрэлан стал самым страшным, самым толковым и самым привлекательным среди моих людей. Да, он действительно сделал кое-что во имя Франции. У него был только один недостаток — он был натурой исключительной, качество, воспринимаемое нами, людьми заурядными, как проявление некоего превосходства и пренебрежения. Если я давал ему задание, например, наблюдать за передвижением войск на перекрестке дорог, то он представлял такой подробный отчет, что казалось, будто у него в голове спрятана небольшая кинокамера. Только потому, что он никогда не ошибался, я вынужден был в конце концов признать, что его буйная фантазия не подменяет ему фактов, а, наоборот, способствует принятию молниеносных решений. Я полностью доверял ему, и он воспользовался этим доверием, чтобы отплатить Франции безграничной преданностью.

Итак, что мне известно об Анри Монтрэлане? Он родился в Париже, на одной из улиц Десятого квартала, между Северным и Южным вокзалами. Его отец, родом из французской Фландрии, из деревушки под Аррасом, был бедным художником. Его кумиром был Сислей, судьба которого во многом напоминала ему свою собственную. Отец Анри любил подчеркнуть в разговоре, что несмотря на свое французское происхождение в жены он все же взял англичанку, — как своеобразную дань уважения родине великого художника. С началом войны их и без того тяжелое денежное положение еще больше ухудшилось, и в апреле они поехали к родителям отца, под Аррас. Другой их мыслью было остановиться где-нибудь поближе к проливу, и в том случае, если немцам удастся прорвать линию Мажино — перебраться в Англию, к родителям матери Анри. Но стремительное немецкое наступление, начавшееся 10 мая, разрушило все их планы — вместо того, чтобы очутиться подальше от грохота войны, они попали прямо на фронт. Немецкие танковые колонны угрожали перекрыть дороги к Парижу, и, чтобы спастись,

Монтрэлань решили, — слишком поздно, — взяв с собой родителей отца, вернуться всем вместе обратно в маленькую квартирку на Монмартре. Кос-как им удалось добраться с отступавшими из Бельгии английскими войсками до Арраса. Но дальше на юг, по направлению к Парижу, дорога превратилась в сущий ад. На них не переставая обрушивались немецкие пикирующие самолеты, и во время одного из заходов пулеметным огнем была убита вся семья Анри. Сам он уцелел чудом. В то время Анри было всего тринадцать лет.

Поверить во все, что произошло с ним в последующие два года, может только тот, кто, как я, наблюдал Анри в действии. Среди нас было немало смельчаков, но природные способности Анри вживаться в любую окружающую его среду были исключительными. А в условиях, когда кругом враги — это играло очень важную роль. Я познакомился с ним уже на довольно позднем этапе его жизни, и поэтому мне трудно судить, был ли Анри прирожденным разведчиком или сделался таковым. Мне кажется, что обстоятельства лишь помогли полнее раскрыть заложенные в нем от рождения задатки настоящего подпольщика.

Сразу же после того, как ему стало ясно, что родители погибли, Анри начал бороться за свою жизнь. Он пролежал у обочины дороги до темноты, обдумывая свои дальнейшие действия. План его был весьма дерзок: Анри хотел пересечь линию фронта, двигаясь все время на северо-запад, и таким образом добраться до англичан. А там, он был уверен, ему удастся, уговорив англичан, переплыть пролив и найти родителей матери, которые жили где-то в Восточном Лондоне. Ночью Анри достал из окровавленного пиджака отца документы, нашел кошелек деда и отправился в путь. Но война опередила его. И когда он достиг побережья, последние англичане уже покинули Дюнкерк. Но этому прекрасному юноше, похожему на жителя северных областей Франции, всюду попадались добрые люди. Тем более, что Анри за время посещения родителей отца научился говорить так, как говорят на Се-

вере. И когда отгремели бои, и многие принялись восстанавливать разрушенное этой молниеносной войной хозяйство, его приютила одна семья из Сент-Омера, небольшого городка недалеко от моря, пережившего все ужасы войны. Семья эта держала трактир, кроме того, у них был гараж. Двое сыновей и зять, мобилизованные в армию, успели вовремя дезертировать и избежать таким образом плена. Эти трое организовали одну из первых наших ячеек в районе Па-де-Кале, и они были первыми, кого немцы схватили в начале 1941 года и расстреляли. Между прочим, этот рассказ Анри о первом этапе его странствий я выслушал с большим вниманием, поскольку вся эта история была мне хорошо известна. До такой степени достоверное описание может дать только тот, кто действительно был участником всех этих событий, подумал я. И то смутное подозрение, которое возникло у меня раньше, начало рассеиваться.

Когда были арестованы сыновья и зять, Анри уже не было в Сент-Омере. Я уже говорил, что Анри обладал необычайной способностью копировать любой акцент, любое произношение. С не меньшей легкостью ему давалось изучение иностранных языков. От матери он научился английскому языку, а немецкий выучил немного в школе, но в основном при общении с туристами из Германии, наводнявшими тогда Монмартр и скупавшими все, что попадалось им под руку. В частности, они заходили в мастерскую отца Анри и покупали его картины. Поэтому, уже позже, своим немецким языком Анри всегда пробуждал у фашистских захватчиков самые сентиментальные чувства, тем более, что нордическая внешность Анри удивляла их до такой степени, что они сразу готовы были признать этого французского подростка за фольксдойче. Во всяком случае, Анри пользовался у немцев большой благосклонностью. И потому первое задание, которое он получил от братьев, было войти в доверие к немецким солдатам и офицерам базировавшейся в Сент-Омере седьмой бронетанковой дивизии. Анри

успешно справлялся с этой задачей, он был переводчиком, служил денщиком у командиров одного из полков дивизии, работал барменом в офицерском клубе. Тем временем наступил уже декабрь, прошло полгода после капитуляции. И в один прекрасный день часть получила приказ о передислокации. В офицерском клубе настойчиво говорили то об Африке, то о Восточном фронте. Командир полка предложил Анри, — что безусловно надо было расценивать как акт великодушия по отношению к арийскому сироте, только волею судьбы родившемуся во Франции, а не в Германии, — присоединиться к ним. Однако Анри уже твердо решил бежать. Но все же сперва он хотел посоветоваться с братьями. Поджидая их у ворот гаража, Анри услышал вдруг из трактира голоса братьев и шофера грузовика, стоявшего неподалеку на улице. Шофер рассказывал, что еще сегодня до темноты он должен прибыть в Суассон, только вряд ли ему это удастся, даже если и не начнет заносить дорогу этим вечером. Тогда Анри решился. Как только шофер пригласил братьев пропустить по последнему стаканчику, он забрался в грузовик и спрятался в кузове среди ящиков с сушеной рыбой и мешков с углем. Прошло несколько часов прежде чем машина съехала наконец с дороги. Водитель заглушил мотор, и Анри услышал, как хлопнула дверца кабины и вдали стали затихать его шаги. Анри проделал маленькую дырочку в брезенте и посмотрел наружу. Серый вечер спускался на пустую улицу незнакомого городка. Анри бесшумно прыгнул вниз и быстро побежал по направлению к видневшемуся в конце улицы темному массиву, издали напоминавшему то ли большой холм, то ли лес. Моросил мелкий дождик, а Анри бежал, падая в мокрую траву на обочине дороги каждый раз, когда вдали раздавался шум мотора военной машины. И вот, уже различая вершины деревьев и поняв, что перед ним лес, Анри увидел вдруг одиноко стоящий домик. Совсем рядом раздавались голоса, а сквозь занавеску пробивался узкий луч света. И Анри, рискуя всем, постучал в дверь.

Таков мой Анри, дорогой Жан Франсуа. Уверенный не только в том, что выход всегда найдется, но и в своих способностях завоевать доверие каждого. Мне он рассказал о своих дальнейших похождениях очень подробно, я же передам вам его рассказ вкратце. То была глубоко верующая католическая семья, уповавшая на чудеса. Поэтому появление Анри было для них своего рода знаменем свыше перед приходом Мессии. И несмотря на то, что знакомство Анри с религией сводилось к тем немногим рассказам бабки, которые он слышал во время его редких наездов к ней, и к тому, что он видел во время случайных посещений парижских церквей, несмотря на все это, в глазах приютившей его семьи Анри выглядел прекрасным святым Себастьяном, таким великомучеником. Понятно, что при таком отношении к Анри жизнь его протекала весьма беззаботно. Но особенно поразил он своих новых покровителей умением рисовать, умением, перешедшим к нему от отца. Так Анри и провел всю зиму в раскрашивании деревянных сувениров, которые семейство заготавливало для продажи весной и летом. К тому времени — надеялись они, и о том была их неустанная молитва, — фашистов изгонят из Франции. И больше не будет кишеть Компьенский лес немцами, приезжающими посмотреть на то место, где Франция позорно целовала сапоги фюрера, а снова придут французы и склонятся перед их священной реликвией — Лорренским крестом. Но пока еще здесь властвовали немцы. И Анри стал усиленно искать путей в подполье.

Однажды до него дошли слухи о трагической судьбе братьев из Сент-Омера, и ненависть к врагам, уничтожившим всех его близких, разгорелась в Анри с новой силой. И лишь единственная мысль не давала ему тогда покоя, так мне рассказывал потом Анри, — что своим внезапным исчезновением он вызвал подозрения немцев, которые навели их в конце концов на след братьев.

Но вот, наконец, в конце весны Анри растаетея и с

семейством лесника и вступает в ряды Сопротивления. А летом он уже действует вовсю: переезжает с места на место, проникает в расположения немецких частей, собирает информацию, составляет донесения и переправляет оружие. Я снова вижу его год спустя, во время нашего первого знакомства, красивого и сильного, прекрасно владеющего солдатским жаргоном, переполненного рассказами, услышанными от солдат, но, главное, смелого и юркого, способного проникнуть в любое место, будь то вокзал, склад или штаб, одним словом, нашего маленького французского героя.

Со все возрастающим изумлением слушал де Транбле своего друга. С какой легкостью повторяет он, отличный командир в прошлом и опытный политик ныне, слова шестнадцатилетнего подростка, подобранного им четверть века назад между Бове и Гурне. Если бы не долготелняя, еще со времен лица, дружба, де Транбле давно уже прервал бы Раймона. Такой умный, немного циничный человек, как сенатор Маритэн, упирается коротким, но героическим периодом подполья, радуясь хорошему предлогу выставить себя в „истинном” свете (слово, которое Раймон употребляет по любому поводу, но только не в отношении своей личной жизни за последние двадцать лет). Да, к сожалению, надо признаться, многие, рассказывая о доблестных подвигах тех славных лет, грешат романтическими преувеличениями. Это общая болезнь почти всех участников Сопротивления, которым сегодня под шестьдесят. В случае же с Раймоном болезнь получила дополнительное осложнение, результат тех двадцати лет, в течение которых всю свою карьеру он строил на заслугах военных лет. Снова и снова его тянет в прошлое, и он, забывая о других, не менее отважных и мужественных борцах Сопротивления, начинает прославлять себя и небольшую группу своих соратников, чьи деяния могут уже сравниться в его рассказах с похождениями мушкетеров и с подвигом Роланда в Ронсевальском ущелье. И никто не пытается прервать его, чтобы, не дай Бог, не усомниться в величии Франции.

Но с другой стороны, несмотря на все те изменения, которые сотворила с ним политика, он остался самим собой. Тем Раймоном, который во времена оккупации был одним из лучших борцов Сопротивления. Раймон никогда не ошибался в людях и старался использовать любую информацию, сколь незначительной она не представлялась бы на первый взгляд. Поэтому все, что он сейчас рассказывает об Анри, основано на опыте двухлетней совместной их борьбы. И как бы Раймон ни преувеличивал, в его рассказе должны обнаружиться достоверные факты.

— Когда вы нашли Анри в грузовике, — осторожно задал де Транбле свой первый вопрос, — были ли при нем документы, которые он взял у убитого отца?

— Не будьте наивны, мой друг, — произнес в ответ сенатор. Коньяк пробудил у него аппетит, а после сыра его потянуло на вино. Он наполнил бокалы.

— Не было, — пробормотал де Транбле, делая глоток, — не было, да и быть не могло.

— Почему же?

— Но как он, одетый в грязные лохмотья, оказался в вашем грузовике, если был связан с подпольной группой Компьена?

— Наконец-то, II отдел начинает задавать вопросы, а не только слушать с многозначительным молчанием! Элементарно, дорогой Ватсон, элементарно. В июле Анри получил задание наблюдать за передвижением поездов на линии Амьен—Лан. Бои в России были тогда в самом разгаре, армия Роммеля вышла на подступы к Александрии, и поэтому точная информация о переброске немецких войск могла служить веским доказательством скорого открытия Второго фронта. Дьепп был первой ласточкой. Анри подходил для этого задания больше других, он умел верно оценивать ситуацию, в чем я убедился несколько позже, но в тот раз ему помешал слепой случай. В конце августа, бродя вблизи Южного вокзала в Амьене, Анри увидел вдруг того самого командира полка, приглашавшего его отправиться вместе на фронт, проезжающим мимо в открытом

„мерседесе”. Анри был одет в форму вермахта, и вероятность того, что его узнают, была очень маленькой. Но все же Анри прижался к стене, готовый, если будет надо, бежать. И когда уже казалось, что опасность миновала, „мерседес” неожиданно развернулся и с воем понесся обратно, непрерывно сигналив. Анри бросился бежать за пределы города. Он пробирался боковыми улицами в направлении на юго-восток, при этом дерзко останавливая проезжающие мимо военные машины и прося подвезти его. Так он вышел на парижскую дорогу. Анри остановил „фольксваген”, за рулем которого сидел молодой лейтенант, и попросил подвезти его в Версаль, в генеральный штаб. Лейтенант ответил, что едет до Бретей, километрах в тридцати южнее. Ну что ж, и это сгодится, поблагодарил Анри, а про себя подумал, что это именно то, что нужно. Выйдя из машины, он снял военную форму и превратился в бродягу-подростка, скитающегося по лесам. Так он пробирался все дальше на юг и около Бове наткнулся на меня.

— И, разумеется, без документов. Ведь по его версии он выступал в роли немецкого солдата...

— Как ни странно, господин генерал, но у Анри *были* документы!

— На имя Анри Монтрэлана, не так ли?

— Да, и выданы они были парижской префектурой. Почти два года Анри служил под моим личным командованием. Я снабжал его фальшивыми документами, с которыми он выступал то в роли ученика духовной семинарии, то рыбака, то сутенера, то изнеженного сынка высокопоставленного чиновника на службе у оккупантов, то немецкого солдата, но каждую из этих ролей он исполнял так, что нельзя было заметить никакой фальши в его игре. Когда же я подобрал его, при нем были документы на имя Анри Монтрэлана. С этим именем он встретил освобождение, под этим именем голосовал за меня на выборах в Учредительное собрание IV Республики в сентябре 1945 года. И это имя он носит по сей день.

Де Транбле с трудом сдержал усмешку, чтобы не выдать своих мыслей.

— И чему же научили вас те два года, во время которых вы видели Анри в действии?

— Хоть я и не давал монашеских обетов, ту энергию, которая, как правило, тратится на устройство семьи, я израсходовал на деятельность общественную, к тому же еще и не столь утомительную, как создание семейного очага. И тем не менее, Анри я готов был усыновить и не раз предлагал ему это.

Намек ваш, Жан Франсуа, прозрачен: Раймон, мол, поддался чарам юного Гермеса, который был, как известно, не только посланцем богов, но и покровителем всех обманщиков и мошенников. Поверьте мне, что все те вопросы, которые зреют сейчас у вас в голове, я уже не раз задавал себе. И на многие из них не находил ответа. Дело в том, что честность Анри не вызывает сомнений. В те годы я нашел в нем то, что Самуил нашел в Сауле. Для меня было очевидно, что Анри на голову выше меня. Он не только никогда не подавал никаких, пусть даже самых незначительных, признаков страха, и не только брался за самые отчаянные задания, но всегда выбирал свой особый путь, опасный, как хождение по канату, и захватывающий, как акробатический прием. Прелесть была в том, что Анри ни под кого не подделывался. Все свои перевоплощения он выполнял естественно и непринужденно, независимо от того, чью одежду он носил и чьи документы лежали у него в кармане. Да, но при этом он ни в какое сравнение не идет с хамелеоном: тот лишь меняет окраску, а отнюдь не сущность свою. Анри же всеми порами кожи впитывал в себя все, что ни встречалось на его пути. И богатство этих впечатлений оседало в его подсознании, в нужный момент вырываясь наружу. Если бы спиритуализм не был бы так чужд моему воспитанию, то я определил бы Анри как медиума, как большой сосуд, заполненный доверху душами разных людей. Для подтверждения своих слов приведу вам один пример. Случилось это накануне высадки

союзников в Нормандии. К северу от нас располагалось большое скопление немецких войск, в нашем же районе царил необычайная тишина. Надо помнить, что на этом участке квартировался тогда седьмой экспедиционный корпус фельдмаршала Роммеля. Трудно было предположить, что этот шакал пустыни станет бездельничать, сидя в своем штабе в Ла-Рош-Гуйоне. Такое демонстративное затишье не давало мне покоя, и я решил послать туда Анри. Но никакого представления о том, как это осуществить, у меня не было. Тогда я рассказал о своем плане Анри, и реакция его была не менее быстрой, чем у современного компьютера. В считанные минуты он придумал для себя легенду, составленную из обрывков дошедших до него рассказов и сплетен немецких солдат, среди которых он постоянно вертелся. В состав седьмого экспедиционного корпуса входила 21 танковая дивизия, солдаты которой пользовались особым покровительством Роммеля. От молодых новобранцев Анри стало известно об одном героическом семействе, четыре сына которого погибли, сражаясь в рядах этой дивизии в Северной Африке. У Анри возникла идея пойти прямо в штаб, представиться пятым сыном и просить самого фельдмаршала о зачислении его в дивизию, где служили якобы его братья.

В теперешней атмосфере, после грандиозного поражения под Сталинградом, убеждал меня мой смельчак, такая история вызовет у всех такой восторг, что они и не подумают устроить проверку. Роммель примет его лично, событие будет соответственно обыграно военной пропагандой, а в распоряжении Анри окажется два-три дня на сбор нужной информации. Он был уверен, что успеет скрыться прежде, чем обнаружится правда. Я попросил Анри рассказать об этой семье, последним из сыновей которой он хотел представиться. То была, если не ошибаюсь, рабочая семья из Франкфурта...

— Из Франкфурта? — невольно вырвалось у де Транбле.

— Да, а что?

— Нет, нет, ничего. Продолжайте.

— Так вот... И Анри принялся рассказывать о Франкфурте, как будто он сам там родился. Я учинил ему основательный допрос и в конце концов сам уже готов был поверить в то, что он действительно младший сын в той семье. Анри, на самом деле, феномен.

— К этому мы еще вернемся, но сейчас расскажите, как прошла его встреча с Роммелем?

— В последнюю минуту я отменил весь план из-за того, в частности, что просто боялся посылать Анри в самое логово врага. Признаюсь, что я очень привязался к нему. К тому же был получен приказ собирать информацию о положении на побережье Нормандии, в основном у устья реки Орн, и я решил, что лучше будет послать Анри туда в качестве того самого последнего сына, будто бы уже зачисленного в 21 дивизию. Анри столь блестяще справился с заданием, что чуть было не попал в плен к британским парашютистам на рассвете шестого июня.

— А дальше? — спросил де Транбле.

— Ну, после войны мы продолжали, разумеется, встречаться...

— И это вы позаботились снабдить его документами, подтверждающими, что он на самом деле является Анри Монтрэланом?

— Ведь я же уже говорил вам — я готов был усыновить его, только он во что бы то ни стало хотел сохранить фамилию отца.

— И что же было после?

— Меня избрали в Учредительное собрание. Положение было весьма напряженным, и я, как вам известно, с головой ушел в политику. Анри же болезненно переживал переход к серости мирной жизни. Он пропал из поля моего зрения и возник в нем снова лишь спустя много лет...

— И тогда вы, приложив немало усилий и дойдя до самого министра внутренних дел, помогли вашему бывшему подчиненному получить новый паспорт,

подтверждавший не только сам факт существования Анри Монтрэлана, но и тот сомнительный факт, что все это время, вплоть до 1958 года, он безвыездно проживал во Франции и просто по нелепой случайности не был записан ни в каком месте, не имел никакого удостоверения личности...

— Жан Франсуа, не забывайте, что мы с вами говорим о герое, о французе, достойном самых высших наград. До сих пор я не понимаю, почему была отклонена моя рекомендация о награждении Анри Военным крестом.

— Не геройство Анри вызывает у меня сомнение, а то — француз ли он. Его имя, — сожалею, что мне приходится сообщать вам это, Раймон, — никогда не было Анри Монтрэлан.

Только теперь открыл де Транбле своему другу, что заставило его с такой поспешностью прилететь в Париж. Он рассказал о вчерашней автомобильной катастрофе в Лондоне, о германском подданном Хайнце Изидоре Бергерзоне, потерявшем в этой аварии сознание, и о заявлении фон Штойсселя, в котором имел место некий туманный намек на Париж. А сегодняшней день де Транбле посвятил встречам со старыми друзьями из II отдела, посещениям префектуры и министерства внутренних дел. И все это для того, чтобы собрать информацию об этом человеке. Рассказ же Раймона, который де Транбле выслушал с большим вниманием, помог ему заполнить еще несколько пустых клеточек этого удивительного кроссворда, но далеко еще не все.

— Ваше удивление, Раймон, совершенно естественно, — продолжал де Транбле, — и я еще не выяснил до конца, есть ли в личности вашего друга что-либо такое, что могло бы вам доставить определенного рода разочарование. Я определил бы это скорее как печаль. Пока же вырисовывается следующая картина. Семейство Бергерзонов, а запись об этом сохранилась в архивах иммиграционных властей и в парижской полиции, прибыло во Францию в конце ноября 1938 года.

У них было двое детей: одиннадцатилетний Хайнц Изидор и его младшая сестра Паулина. Родились они во Франкфурте. В Париже снимали квартиру в Десятом квартале, но не рядом с Северным и Восточным вокзалами и не в районе художников, а на рю д'Отвиль, около площади Франца Листа, по соседству с другими еврейскими беженцами из Германии. Неужели ни разу, Раймон, у вас не возникло подозрения, что Анри на самом-то деле — еврейский мальчик?

— Вопреки распространенному мнению нормальные люди не так уж часто разглядывают половые органы своих друзей и знакомых. Добавлю, что Анри спасся еще и благодаря тому глубоко заложенному в душах французов, таких, как вы и я, мифу, что Антихрист просто не может быть белокур, смел и прекрасен, как святой Себастьян и Гермес вместе взятые. Но что еще вам удалось обнаружить?

— Мне кажется, что теперь нам ясно, откуда взялись отличный немецкий, знакомство с улицами Франкфурта и парижский жаргон. Документов времен оккупации мне найти не удалось, и вряд ли они вообще когда-либо найдутся, но нам они и так не нужны. В том же 1958 году, в апреле, два французских гражданина, один из которых до сих пор проживает на углу рю де-Парадиз и рю д'Отвиль, делают нотариальные заявления о том, что семья Бергерзонов жила в их квартале. Они скрывались в тайнике вплоть до большой облавы 16 июля 1942 года. Эти свидетели сообщают, что собственными глазами видели, как парижские полицейские выводили Бергерзонов из дома — отца, мать и дочь. Но сына с ними не было.

— А документы на имя Анри Монтрэлана...

— Меня больше беспокоит другое. Еще одна загадка. Как я выяснил, в 1958 году Бергерзон появляется снова и добивается получения этих самых нотариальных свидетельств для того, чтобы успеть подать прошение, — а это был последний срок подачи, — в немецкое агентство по выплате компенсаций лицам, пострадавшим от нацизма. При этом Бергерзон не хвалится

своими подвигами в рядах Сопротивления и не претендует на французское гражданство. Более того, он получает статус беженца, не имеющего никакого подданства. Я предполагаю, что тогда именно и был выдан ему немецкий паспорт, который нашли при нем.

— Но зачем же...

— Вы хотите спросить, зачем ему в 1958 году нужен был также Анри Монтрэлан? Однако сперва заполним еще Одну пустующую клеточку. Сколько лет между вами не было связи? Одиннадцать, двенадцать?

— Приблизительно с конца 1946 года.

— Но и сегодня у него нет постоянного места жительства, не правда ли? Если я правильно вас понял, он провел немало лет в Индокитае, то есть во Вьетнаме...

— Мне все еще трудно переварить ваш рассказ, — Бергерзон, Франкфурт, еврей...

— Возможен также другой вариант, прямо противоположный первому. А именно, что Анри по совершенно непонятным причинам выступал в роли еврейского мальчика, затерявшегося в 1942 году в Париже. Правдоподобно, не так ли?

— Не знаю, для меня он навсегда останется Анри — отчаянным до предела канатоходцем. Каждый раз, возвращаясь с опасного, как хождение по канату, задания, он снова становился самим собой — Анри. Поэтому, когда он исчез, в этом не было ничего необычного. И когда он возник вдруг передо мной в образе тридцатилетнего мужчины, возвратившегося откуда-то с края земли и переполненного фантастическими рассказами, это вовсе не оказалось для меня сюрпризом. Для Анри такой образ жизни был абсолютно естественным. Я хотел, чтобы он пошел учиться, хотел подготовить его к большой карьере, но он предпочитал бродяжничать по кафе и авангардистским погребкам Сен-Жермен-де-Пре, где можно было пользоваться модным тогда экзистенциалистским жаргоном. А во время нашей последней встречи он рассказал, что ему предложили сниматься в фильме молодого

го режиссера, действие которого происходило на улицах Марселя. С фильмом ничего не вышло, но в Марселе он открыл для себя юг, солнце и Средиземное море. И тогда он поднимается на борт торгового судна, отплывавшего, — как у Лондона и Конрада, — к берегам волшебного, пряного Востока. Позади остались Суэц, Индийский океан, Бомбей, Коломбо, Малаккский пролив, Сингапур, Бангкок. Он брался за любую работу и наконец достиг Сайгона и Гонконга, откуда потом отправился в Австралию. Я не знаю, на чем именно он разбогател, — на таиландском шелке, на гонконгском жемчуге или на наркотиках, — ясно одно: перед таким привлекательным и обладающим столь бурной фантазией молодым человеком, как Анри, в первые годы после войны были открыты все возможности. А, может быть, ему удалось сколотить капитал на статуэтках из слоновой кости, или на продаже военной рухляди, или еще на чем-нибудь в таком же роде. Но как бы там ни было, а в 1958 году у него уже было определенное состояние. На прошлой неделе, например, он рассказывал мне о своих связях с книжными издательствами в Тайбэе и Гонконге и о том, что он собирается основать новое или купить уже существующее книжное издательство в Париже.

— А документы-то, Раймон? — впервые за весь вечер рассмеялся де Транбле. Их беседа началась на исходе длинного и трудного дня, в половине одиннадцатого ночи. Все это время они потихоньку тянули вино из бокалов, закусывали сыром и жареным мясом, пили кофе и снова потягивали легкое винцо. Ближилось утро, и теперь они были — Бог тому свидетель — уже не те, что прежде.

— Какие, какие документы, Жан Франсуа? — Раймон широко открыл свои светлые глаза, подернувшиеся от рассказов и вина прозрачной и влажной пеленой.

— Любые, что-нибудь подтверждающее его поездки на Дальний Восток или в Австралию, паспорта, визы, жемчуга, проспекты книжных издательств. Хоть что-нибудь из этого вы видели?

— Зачем мне все это, что я, нотариус? Главное, что есть Анри!

— Нет Анри! — упрямо покачал головой де Транбле.

— Для меня существование Анри столь же очевидно, как и наша борьба в Соппротивлении!

— Нет, Раймон. Документов не было и быть не могло по одной простой причине — не существовало Анри.

— Уж не уличаете ли вы меня во лжи? — его гнев был так же неподделен, как и смех. Словно эхо далекой молодости отозвалось в комнате.

— Нет, в благородстве. Все, что я услышал сегодня от вас — есть пересказ слов подростка, но только одну деталь вы скрыли, Раймон. На вашу просьбу показать вам какой-нибудь документ, который мог бы подтвердить, что его имя действительно Анри Монтрэлан, он напомнил вам о только что совершенном им побеге из Амьена в немецкой военной форме. И вы поверили ему. Вы помогли раздобыть для него настоящие документы вдобавок к поддельным, а в 1945 и еще раз в 1958 годах использовали то, что у нас действует безотказно, — всеми уважаемое во Франции имя Раймона Маритэна. Вы не хуже меня знаете, что любую, самую заскорузлую бюрократию, всегда можно обойти сверху.

— Уж не поднимали ли вы эту тему во II отделе, Жан Франсуа?! — его голос снова был трезв и взгляд чист.

Де Транбле угадал, и тем самым все проблемы, возникшие перед ним вчера вечером у телевизора, получили свое разрешение. Он с честью выдержал борьбу один на один с государственной машиной. Де Транбле встал и положил руку на плечо своего друга.

— Теперь только мне открылось, что мой друг, не будучи великим психологом, остался благородным человеком. Я верю, что эту тему не будет необходимости поднимать.

— Итак, вопрос в том, чем занимался Бергерзон последние двадцать лет и что побудило его вдохнуть новую жизнь в Анри?

— Я надеюсь, что ответ не разочарует нас. Но он, наверняка, оставит в наших сердцах горький осадок.

ЭТО ОН, ЭТО – ХАЙНЦИ!

Каждый еврей, будь он даже сотрудником секретной службы, в душе всегда писатель. И больше, чем сама действительность, воодушевляет его мысль о том, что когда-нибудь все пережитое им найдет свое отражение в книге. Недаром Герцль писал в дневнике: „Либо этот роман станет действительностью, либо действительность сама превратится в роман!”

К чему я это говорю? А к тому, чтобы избежать некоторого смешения понятий, которое, как я заметил после повторного прочтения предыдущих глав, может возникнуть у читателя. Ведь прием „восстановления” я выбрал вовсе не для того, чтобы дать выход прочно засевшему во мне писательскому зуду, а потому, что только таким путем я могу как следует использовать весь собранный мною многочисленный и разнообразный материал о Хайнце Изидоре Бергерзоне и описать историю этого человека так, как она развивалась в действительности. Но, очевидно, что-то передалось и мне от этой сложной и противоречивой личности и привело к тому, что действительность в моем рассказе стала перемешиваться с выдумкой. Слишком уж пунктуально следую я за документами и свидетельскими показаниями, накопившимися у меня в папке. Как бы не промахнуться. Ведь цель, которую я поставил перед собой, принимаясь за описание биографии человека, наложившего столь сильный отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь, была доказать читателю, что „если

захотите — это не будет сказкой”*. Но с другой стороны, подобного рода прием „восстановления” и есть как раз источник тех литературных иллюзий, которые я назвал бы: „если захотите — это вымысел”.

Итак, теперь рассказчиком буду я, Авнер, сотрудник израильской службы безопасности, выполняющий определенное задание в Европе.

Потому оставим двух наших друзей, де Транбле и Маритэна, беседующими в третьем часу утра в Париже, а сами перенесемся на двенадцать часов назад в Лондон, в среду 29 ноября.

Мы, госпожа Маргот Оппенхайм и я, сидим в машине, которая стоит на обочине дороги, и наблюдаем за воротами больницы. Элегантная женщина в пальто а ля Живаго усаживается в машину бледного дипломата. Они уезжают — мы входим.

Но этому предшествовало продолжительное и утомительное ожидание. Я исходил из того, что сообщила секретарша из Франкфурта госпоже Оппенхайм во время их телефонной беседы. И поскольку расписания почти всех авиалиний были мне хорошо известны, я решил, что разумнее всего будет устроиться где-нибудь неподалеку от больницы чуть позже половины двенадцатого дня и ждать приезда фрейлейн Лампрехт. Тем более, что узнать ее не представит труда, так как, по моим предположениям, ее наверняка будет сопровождать сотрудник посольства. Я также прекрасно сознавал и то, что если опасения тетушки и неизвестного информатора, звонившего нам накануне, оправдаются, то не исключено, что кто-либо попытается выкрасть раненого из больницы. В этом случае нам предстоит действовать вдвойне осмотрительнее и быстрее.

И вот где-то около двенадцати с четвертью к стоянке больницы подъехала машина с дипломатическим номером. Из нее вышел чинно одетый мужчина, чем-то напоминавший выросшее без света чахлое растение. Он торопливо распахнул дверцу перед женщиной,

*Ставшая крылатой фраза Герция о сионизме.

которая даже издали привлекала к себе внимание. Она была высокого роста, ее движения в туго облегающем тело пальто были необычайно гибки. Мужчина же, наоборот, казался ниже своего роста, он словно согнулся в поклоне, каждым взмахом руки и поворотом головы как бы заявляя, что не перевелись еще на свете дипломаты старого образца. Не он ли это звонил нам прошлым вечером? Женщина вела себя очень нетерпеливо, она буквально рвалась вперед, консул же, как ни быстро открывал он дверцу машины, старался не упустить при этом ни одной детали этикета. Минута — и они исчезли в подъезде главного входа больницы.

Мне же еще предстояло провести несколько незабываемых часов в обществе госпожи Оппенхайм. В честь нашей поездки она украсила себя сиреневой шляпкой, сиреневой сумочкой и сиреневыми перчатками, которые так ни разу и не сняла за все время нашего сидения в машине. Пальто, платье и туфли были черного цвета. Но несмотря на то, что одежда ее была не нова и изрядно поношена, во всем ее облике чувствовалось что-то аристократическое. Услышанное вчера по телевидению имя Хайнца Изидора Бергерзона, очевидно, пробудило в госпоже Оппенхайм воспоминания далекого прошлого, которое она так хотела забыть. Но сейчас оно бурлило в ней, кипело и рвалось наружу. Она снова рассказывала об отце, который восемнадцатилетним юношей покинул Польшу, чтобы разбогатеть на чужбине и, разбогатев, жениться. И он, действительно, спустя всего несколько лет добился столь больших успехов в новом тогда виде бизнеса — снабжения маленьких городков и забытых Богом деревень земли Гессен товарами первой необходимости, — что даже наиболее уважаемые семейства древних общин Гессена, чьи кладбища насчитывают сотни лет, стали соревноваться между собой за право породниться с ним. Отец же, рассмеялась старуха, искал не только древность и знатность, но и богатство. Так он нашел мою мать, урожденную Крумбах. Здесь, в Лондоне,

я и мой покойный муж не раз спорили о том, кто пустил более глубокие корни на немецкой почве — Оппенхаймы или Крумбахи. У нас, например, сохранилось предание о том, что род матери жил в Швабии до „черной смерти“*, потом из Крумбаха они перебрались в Ульм и только оттуда бежали на север. Рассказывают даже, что в Ульме сохранилась надгробная плита начала XV века, на которой высечено имя Гершома Галеви из Крумбаха. Так-то вот, и деньги тоже водились у нас.

Но главным в рассказе госпожи Оппенхайм было не это, а то, как надругался над всеми этими семейными традициями ее брат Бернارد, которого она до сих пор называла „мой младший брат“. Ее мать рожала, правда, еще три раза, но, видно, даже и таким древним родам приходит рано или поздно конец. Один брат не дожил и до года, третий брат, Герхард Гершом, был завзятым спортсменом, и в 1923 году, только закончив гимназию, отправился с друзьями в поход по романтическому маршруту из Ротенбурга на юг до Фюссена, что у подножья Альп. Вы были когда-нибудь в тех местах, господин Авнер?

— Точно в этих местах — только один раз, — ответил я, — это было в 1947 году. Мы тогда занимались, как вам, конечно, известно, нелегальной переброской людей, переживших Катастрофу, из Восточной Европы в Марсель. Из Мюнхена мы выехали в лагерь Ландсберг, а оттуда по той дороге поднялись к Аугсбургу.

В смехе госпожи Оппенхайм я услышал заметную горечь. Она похлопала меня по колену рукой в сиреневой перчатке.

— Да, да, именно эти романтические места я имела в виду. Там и застал Герхарда ливень, после которого он заболел вирусным гриппом, оставшимся в тех

* Страшная эпидемия чумы, поразившая Европу в 1348-1349 годах. Евреи были обвинены тогда в отравлении колодезей и распространении эпидемии. Зверские погромы разразились по всей Европе, в особенности в Германии, где были уничтожены сотни общин.

краях еще со времен большой эпидемии 1918-1919 годов. Герхард получил осложнение и в течение нескольких недель умер от воспаления легких. До изобретения пенициллина это была самая смертоносная из всех болезней. Сейчас я припоминаю, что Бернард хотел назвать своего сына Герхардом, но Генриетта, полная предрассудков и капризов, воспротивилась. Да, будто какое-то проклятие тяготело над нашей семьей. Ханни, наша младшая сестра, уехала в Берлин вслед за каким-то сомнительного вида богемным молодым человеком, — и вдобавок ко всему неевреем, — и там жила с ним. Отец к тому времени был уже стар, и ему пришлось наблюдать, как рушатся крепкие, казалось, основы древнего и богатого рода. Все то богатство, к созданию которого отец приложил немало сил, уплывало и разбазаривалось. Мой муж, правда, был доктором, и кроме того Оппенхаймом, но отцу было ясно, что в большое дело он не войдет, а у меня, к величайшему сожалению, никогда не будет детей. Оставался Бернард, который, хотя и унаследовал от отца его бурную и неистощимую энергию больше всех нас, не придавал, однако, никакого значения тому, что бедному эмигранту из Польши казалось столь значительным, и подвизался где-то между политикой и журналистикой.

К счастью, должна я отметить, отец умер спокойно в нашем летнем доме в Бад-Хомбурге. Неудачи на бирже не разорили его. Он умер летом 1931 года, спустя несколько недель после своего семидесятилетнего юбилея. В последние часы он ничем, ни малейшим намеком, не выдал своего горя — его младшая и самая любимая дочь Ханни была не с ним, а где-то далеко и одна. Но и в этом отцу повезло, так и не узнал он, что в январе 1933 года, сразу же после победы Гитлера на выборах в рейхстаг, приятель Ханни присоединился к нацистам, а она, всеми отверженная, покончила с собой... Красная шапочка, влюбившаяся в волка и отправившаяся вместе с ним в дремучий лес.

Эти отрывки из рассказа госпожи Оппенхайм я при-

вою здесь не только потому, что она была единственной свидетельницей детства Бергерзона, но и потому еще, что в них проявлялись различные мелкие детали, ассоциативно всплывавшие в памяти госпожи Оппенхайм. Одна из этих деталей и сыграла в конце концов важную роль в опознании человека в бессознательном состоянии. Госпожа Оппенхайм продолжала рассказывать о смерти отца в Бад-Хомбурге, и казалось, что мы перенеслись в летний домик на улицу Киссельф, и из окон открывается вид на весь Курпарк и на Кайзер-Фридрих-променад. Она помнила это место таким, каким оно было до войны. Казино, лечебные воды и чистый горный воздух привлекали туда правителей Востока и Запада: короля Сиама, императора Николая и буйного принца Мойлса.

— Это было задолго до вашего рождения, господин Авнер. А уж с тем, что происходило там после войны, вы наверняка знакомы лучше меня, не правда ли?

— Я знаком только с Монте-Карло, — попробовал я пошутить.

— Если так, то Бад-Хомбург превосходит Монте-Карло, но я имею в виду обитавших там ивритских писателей из России и меценатов, им покровительствовавших... Что, вы не слышали? О, там жило много евреев, в основном на Вальштрассе. А какие великолепные синагоги, особенно та, что на Элизабетштрассе!.. Но вас, израильтян, это действительно не должно интересовать. Все это уже мертво, даже для меня. После войны, Второй мировой, разумеется, мы, Манфред и я, подумывали как-то раз съездить во Франкфурт, посетить, как говорил отец на иврите, „кевер авот” — могилы предков. Вот, внезапно совершенно всплыло в моей памяти это выражение. Но мы так и не поехали. От денежных компенсаций и пенсии тоже отказались. Вообще, с прошлым Манфреда связывали только имена, которые он собирал для своей „раввинской генетики”. Да, то лето, когда умер отец, я помню отлично...

И вдруг, с неожиданным возбуждением она громко вздохнула, издав испуганное „О!”

— Как же это я забыла тот случай, господин Авернер?!.. Ведь мы можем все выяснить!.. Мы все сидели тогда в салоне, окна которого выходили на Курпарк. Сиамская пагода была залита каким-то особенным светом, как, например, Хамстед-Хит в Лондоне. День тихо затухал, заходящее солнце слабо освещало рассыпанные по озеру силуэты белых лебедей и красный камень купален кайзера Вильгельма, а за дверью вместе с этим днем умирал отец. И вдруг откуда-то снаружи раздался душераздирающий крик: „Хайнци!..”

Госпожа Оппенхайм понизила голос и чуть слышно передала этот крик, а поскольку в этот самый момент я увидел выходящих из больницы фрейлейн Лампрехт и дипломата, то решил, что именно из-за них она перешла на шепот. Мы пронаблюдали, как они неторопливо, очевидно продолжая прерванную беседу, прошли к машине, и осторожно выехали со стоянки.

Как я уже говорил, мы собирались сразу же, как только они покинут больницу, войти туда, но теперь нам пришла одна и та же мысль: кто сможет дать гарантию, что они направляются прямо в город? В больнице они пробыли меньше часа, и кто знает, может быть, они еще вернуться? Проще всего было бы поехать вслед за ними и убедиться самим, направляются они в город или нет. Тетушка получала истинное удовольствие от такой близости к работе тайных служб и не отрывала глаз от ехавшей впереди машины.

Предпринятые нами предосторожности оказались не лишними. Они, действительно, остановились около придорожного кафе под вывеской „Черный принц”. Я был тоже не прочь перекусить и пригласил госпожу Оппенхайм в соседнее кафе, но она оказалась осторожнее меня и наотрез отказалась покинуть наш наблюдательный пост. А время ожидания она использовала для того, чтобы закончить рассказ, начатый возгласом „Хайнци!”

— То был голос Генриетты. Мы все выбежали на

улицу и увидели Генриетту, несущуюся вниз по улице Киссельф по направлению к казино. Хайнци не было видно, да и голоса его мы не слышали. Вдруг Генриетта нагнулась, а когда она распрямилась, ребенок был у нее на руках. Сначала мы увидели только кровь, расплывшуюся большим пятном по ее белому платью и обagrившую руки мальчика. И только потом разглядели глубокую рану выше колена, из которой ручьями лилась кровь. Выяснилось, что четырехлетний шалун умудрился ускользнуть от десяти пар глаз и выйти на улицу, когда мы все сидели перед дверью умирающего отца. Генриетта поднялась на минуту к Паулине, тогда еще младенцу, и в окно увидела, как Хайнци бежит по высокой траве, внезапно падает и исчезает из виду. Позже мы выяснили, что он споткнулся о забытые кем-то грабли, острые зубья которых впились ему в ногу. Началась, как вы понимаете, жуткая суматоха, мы перекрыли кровь, но все равно ужасно волновались, не повреждено ли колено и не порвана ли артерия, а в соседней комнате умирал отец... Теперь все это кажется очень далеким, однако следы от того несчастного случая, две круглых вмятины на ноге чуть выше колена, остались у Хайнци на всю жизнь. Это такая отметина, которую никто не сможет подделать.

Это, несомненно, была очень важная деталь, но тетушке она казалась решающей, и все сомнения в том, что человек в бессознательном состоянии не ее потерявшийся племянник, сразу же отпали. Однако должны были пройти еще два часа прежде, чем госпожа Оппенхайм смогла наконец убедиться в этом, стоя у его постели. А пока мы следовали за машиной дипломата, который вместе со своей дамой снова отправился в больницу. И все то время, что они были в больнице, я продолжал пополнять сведения о семействах Бергерзонов, Крумбах и Оппенхайм. Но вот они вышли, сели в машину и укатили в Лондон.

Мы подождали еще с полчаса, и госпожа Оппенхайм вошла внутрь. Я не оговорился, именно она вошла,

а не мы вошли, потому что достаточно было одного взгляда, чтобы понять, кто тут главный, и ни у кого не возникло никакого сомнения в том, что я всего лишь ее слуга, у которого не спрашивают ни имени, ни документов. А госпожа Оппенхайм действовала уверенно и в полном соответствии с выработанным нами планом, словно была опытной профессиональной разведчицей.

— Меня зовут доктор Оппенхайм, — представилась она, а потом добавила, — я вдова профессора Оппенхайма, психоаналитика.

Ее слова попали в цель — теперь она была не просто какая-то фрау Оппенхайм. А когда она заявила, что здесь находится ее племянник, Хайнц Изидор Бергерзон, то тем самым окончательно завоевала сердца англичан. И к свите тетушки, этой сморщенной старушки в черном платье, сиреневых перчатках и с сиреневой сумочкой под мышкой, присоединились не только доктор Эванс из хирургического отделения, но и врач-невропатолог, обследовавший пострадавшего, и еще один пожилой врач.

Бергерзона поместили в небольшую, но светлую и чистую палату. Мы остановились около его постели, и казалось, что он недавно задремал и вот-вот должен проснуться. Врачи же рассказывали нам, что они еще никак не могут поставить диагноз этому необычному случаю. Вчера вечером они опасались, что его состояние может ухудшиться, но теперь пульс и кровяное давление нормализовались, дыхание свободное и ритмичное и организм не теряет слишком много воды — все это свидетельствует о том, что его жизнь вне опасности. Собственно катастрофа не нарушила функциональной деятельности организма. Врачей сейчас беспокоит другое — супруге прославленного профессора Оппенхайма не нужно долго объяснять, о чем идет речь, это абсолютное отсутствие реакции на свет и на звук. Больной произносит только какие-то нечленораздельные звуки, но каких-либо серьезных нарушений мозговой деятельности не обнаружено.

Еще до того, как мы вошли в палату, доктор Эванс спросил госпожу Оппенхайм, связалась ли она с доктором Брукнером.

— Он обследовал моего племянника?

— Нет, это немецкий консул. Он был здесь вчера и сегодня...

— Да, неужели? После окончательного решения вопроса нашей семьи в 1942 году удивительно слышать, что они интересуются нами снова, — своим резким ответом госпожа Оппенхайм не только подвела черту под этой темой, но и вызвала новый прилив уважения к себе.

Теперь она стояла около кровати, устремив свои черные глаза на статного мужчину в бессознательном состоянии. Ни одним лишним движением не выдавала она своих чувств, той бури переживаний, которая бушевала сейчас в душе. Не спрашивая ни у кого позволения, госпожа Оппенхайм откинула одеяло с его ног и приподняла халат. Я знал, что она ищет. Но госпожа Оппенхайм вынула заколку, которой прикреплялась шляпка к ее колючим волосам, и провела ею по ступне и лодыжке. Потом то же самое она проделала с его ладонями. Но никакой реакции на это не последовало.

— Да, доктор Оппенхайм, — произнес невропатолог, — анестезия конечностей.

— Другими словами, вы предполагаете, что афония может носить характер истерический...

Они перебрасывались медицинскими и психиатрическими терминами так, будто выступали на каком-нибудь научном симпозиуме. Но только я один мог предполагать, что творится сейчас с этой внушительной старухой после того, как она увидела на правом колене заметный шрам, две ямки и бледные следы от швов, наложенных много лет назад в Бад-Хомбурге. Наши взгляды скрестились на мгновение, и я успел прочесть в ее глазах, как она ни старалась скрыть это, что в эту минуту госпожа Оппенхайм приобрела единственного оставшегося в живых члена своей

семьи — Хайнци, в гибели которого она была уверена последние двадцать лет. Да, я знал, что когда мы снова останемся наедине друг с другом в моем сером „хильмане” под сумрачным небом ноябрьского Лондона, она, конечно же, не сдержит слез. Но сейчас госпожа Оппенхайм действовала строго в соответствии с моими указаниями.

Немцев больше никто не вспоминал. Лишь сопровождавший нас к вещевому складу доктор Эванс сказал, что уже после первого обследования ему стало ясно, что раненый вовсе не дипломат и уж конечно не „один из этих”, — ведь он обрезан. Однако тетушка из Свисс-коттедж и сейчас ничем не выдала нас.

Как нечто само собой разумеющееся, ей выдали два его чемодана и сверток. Вызываемое ею доверие к себе было столь бесспорным, что никому и в голову не могло придти потребовать документы, подтверждающие, что она действительно Маргот Оппенхайм, сестра Бернарда и тетушка Хайнца Изидора. Эти документы лежали в ее сиреневой сумочке, но в них не было нужды. Как нечто не вызывающее возражений, было воспринято также и ее замечание о том, что она намерена проконсультироваться кое с кем из коллег и учеников своего покойного мужа. По всей видимости, дело склоняется все более и более в область психиатрии, но имеет смысл все же повременить и проследить, как будут развиваться события. Если речь идет о соматической реакции, не связанной с органическими повреждениями, то еще рано строить догадки о силе этой реакции. Симптомы ее могут исчезнуть совершенно неожиданно, однако известны случаи, когда подобное состояние длится неделями, месяцами и даже годами. Во всяком случае, заверил сопровождавший нас до самой двери доктор Эванс, каждому шагу будет предшествовать консультация с доктором Оппенхайм, знакомство с которой было большой честью для всех нас.

Старуха не выдала своих чувств и не заплакала в

машине. Лишь неожиданно произнесла сдавленным голосом:

— Какими жестокими могут быть молодые люди! Ведь он был *жив*, все эти годы был *жив*, а мне даже коротенькой весточки не послал, даже ее. Наш Хайнци! Я спрашиваю себя, почему, Хайнци?..

Я молча вел машину кружным северным путем к Свисс-коттеджу. Чемоданы мы проверим в доме тетушки, но уже сейчас я был уверен, что звонивший к нам в посольство был без всякого сомнения тем самым доктором Брукнером. И, видимо, его сообщение было небезосновательным.

А если человек в бессознательном состоянии и на самом деле израильтянин, то работа моя только начинается.

ДЕЛО ПРИНИМАЕТ НЕОЖИДАННЫЙ ОБОРОТ

Вернемся к тому моменту, когда наконец и я обнаружил смятую газету в кармане вельветовых брюк. Уже задолго до этой минуты я не мог до конца разделять радость госпожи Оппенхайм. Ей это событие казалось наполненным каким-то волшебным смыслом: одинокая старуха, в прошлом беженка, для которой понятие „семейство Бергерзон” ассоциируется исключительно с понятием „гибель”, видит вдруг, как ее Хайнц воскресает вдруг из мертвых. И всю дорогу до Гринкрофт-гарденс она строила планы, каким образом можно будет вылечить племянника.

— Несколько бывших учеников Манфреда входят сегодня в число лучших психиатров страны. Я свяжусь с Хартклиффом, который жил вот тут, у нас, в этом доме. Его сейчас считают восходящим светилом психиатрии. Я чувствую, что нужно будет только найти ключ к тому, что его так напугало. Я стояла у его кровати, а он ничего не видел и не слышал и вообще никак не реагировал ни на что, будто замкнувшись в себе. Сколько, должно быть, он пережил с тех пор, как я его видела в последний раз во Франкфурте, в 1937 году. Говорят о травмах, о страхе. Но можете ли вы, господин Авнер, представить себе тот июльский день 1942 года, когда, один Бог ведает каким образом, ему удалось вырваться из когтей гестапо? Что он чувствовал тогда? И так ведь продолжалось день за днем, ночь за ночью. Что случилось с душой этого красиво-

го, чувствительного и такого избалованного ребенка, от которого весь мир хотел только одного — его смерти?

Однажды ко мне по ошибке попала папка с моим личным делом, и я прочел характеристику Авнера Бен-Барака, составленную психологом на основе разнообразных проверок и психотестов. Что же я прочел? „Авнер — человек хладнокровный, способный подчинить все свои чувства выполнению стоящей перед ним задачи”. Я усмехнулся. Будучи одним из легендарных сабр*, я тоже, казалось бы, должен был быть освобожден от страхов и опасений, владеющих евреями в странах рассеяния. Но я уже рассказывал, при каких обстоятельствах я встретил Кари де Хаан, мать моих детей. Поэтому еврейские страхи — это моя вторая натура, а борьба с тем, что их порождает, — моя профессия. И оттого слова госпожи Оппенхайм так затронули меня. А когда же я извлек из кармана брюк номер тель-авивской газеты, датированный всего лишь прошлой пятницей, то и у меня, точно так же, как раньше у консула, зажегся красный сигнал опасности.

Итак, до июля 1942 года вопросов нет. Нетрудно было также восстановить скитания еврейского подростка, которому как-то удастся дожить до окончания войны. Я видел таких ребят в послевоенные годы, во время исхода из Восточной Европы. Загадкой остается — что было дальше, после 1946-1948 годов? Почему он действительно не разыскал свою единственную родственницу, тетушку? Еще более странно другое: ведь, судя по билету, он прибыл в Лондон в мае, провел здесь полгода и не сделал ни одной попытки отыскать своих близких. А достаточно было только открыть телефонную книгу и пожалуйста — М.М. Оппенхайм, M.D., V.P.S., Гринкрофт-гарденс. В чем причина того, что он не установил контакта? Может быть, он предпочитает числиться среди мертвых?

*Сабра — вид кактуса. Здесь — прозвище уроженцев страны.

С какой точки зрения я ни рассматривал этот случай — недоумение мое только усиливалось. Если он провел здесь полгода, то где именно? За пределами Лондона? А если в Лондоне, то почему в эту пятницу ему вздумалось менять место жительства и переезжать в „Камберленд“? Странно. Не менее странна его связь с фрейлейн Лампрехт, ведь Германия тоже всего лишь промежуточная станция по пути в Цюрих. А то и по пути в Тель-Авив. Если бы ивритская газета была единственным намеком, то можно было бы строить какие угодно догадки. Но существует тетушка. Стало быть, это тот самый еврейский мальчик с паспортом на свое настоящее имя. Он, а не кто-то другой, выдающий себя за Хайнца Изидора Бергерзона.

И тут мои мысли переключились на неизвестного информатора. Правда, я был уверен, что это тот самый доктор Брукнер, который навещал больного вместе с фрейлейн Лампрехт. И, видимо, его предположение о том, что пострадавший — это израильтянин с немецким паспортом, соответствует действительности. Однако от этого не становится легче. Пусть он и израильтянин, но по Европе разъезжает вовсе не с целью помочь Израилю. А, как выясняется, с совершенно иными планами. Целых полгода он в Лондоне, и мне об этом ничего не известно? Если же вернуться к той версии, что это просто один из „кочевников“, слоняющихся по миру, то почему в его вещах нет ни записной книжки, ни какого-нибудь письма или визитной карточки, одним словом, ничего? Человек этот, очевидно, что-то скрывает. Но что?

Признаюсь, с этой минуты у меня была одна-единственная цель, и тетушка была поистине даром божьим, который поможет мне в ее достижении. Я уже предназначил для нее конкретную роль, и только одно беспокоило меня: как сказать ей, что ее Хайнци на подозрении, а тайна, окружающая его, не имеет отношения к работе нашей разведки. Но я обязан распутать этот клубок и с ее помощью выяснить причины той двойной жизни, которую ведет ее племянник.

Поэтому я очень надеюсь на эту ее помощь, совершенно мне необходимую. Но как сказать ей об этом?

Тем временем мы еще раз досконально изучили содержание чемоданов, свертка и всех карманов. Ни фотографии жены или ребенка, ни одного намека на тот мир, в котором он прожил двадцать пять пустых лет, мы не нашли. Я знал, что мое поведение граничит с преступным легкомыслием, ведь, начиная с прошлого вечера, каждая лишняя минута, проведенная в этом доме, приближает меня к провалу. Я ощущал на себе взгляды тысячи глаз, но не знал, кому они принадлежат. И несмотря на это, я не уходил, я обязан был заставить тетушку помогать мне. С ней все будет проще и естественнее, без нее же я превращусь в слепого котенка.

Поэтому, когда госпожа Оппенхайм пригласила меня отведать наскоро приготовленный ею обед, я сразу же согласился, тем более, что с самого утра у меня маковой росинки во рту не было. А с другой стороны — это был признак того, что она боялась остаться одна. Это ее ощущение страха я стал усиливать долгими паузами и удивленным выражением лица в ответ на ее предложение перевезти Хайнци из больницы к ней на квартиру. Она готова была сделать это прямо завтра, а еще сегодня вечером связаться с Хартклиффом в его санатории в Сассексе.

— Почему же нет? — спросила она.

Я промолчал.

— По-вашему, еще слишком рано говорить о его выходе из больницы?..

— И это тоже.

— А что еще?

Я снова не ответил.

— Я не верю этому билету Люфтганзы. Целых полгода в Лондоне и не позвонить!

— Есть ли у вас какое-нибудь предположение, госпожа Оппенхайм?

— Нет, напротив, все больше и больше вопросов. Я помню десятилетнего мальчика в 1937 году. Когда

же я узнала его потому особому шраму и по характерным чертам лица, которые он унаследовал от Генриетты, — это был уже сорокалетний мужчина. Из-за этих черт лица отец называл Генриетту, за глаза, разумеется, Изольдой. Это звучало как своего рода насмешка над тем, что по любому поводу она любила вспоминать свой медовый месяц с Бернардом в Байрейте, который они провели, слушая Вагнера... Говоря откровенно, господин Авнер, я боюсь даже подумать...

Но я, хотя и знал, что поступаю жестоко, продолжал нагнетать в ней чувство страха.

— Поскольку он лежит в больнице, — сказал я, — нет никакой причины спешить. Я также не рекомендую пока связываться с учениками ее мужа и вообще давать огласку этому делу. В первую очередь, ради безопасности ее племянника. Я надеюсь, что все это не более чем один сплошной курьез, как, например, первые сообщения по радио и телевидению о том, что он является немецким дипломатом. Хотя успокаиваться тоже не следует, всякое может случиться, а потому стоит поостеречься. Я и так нарушил сегодня все правила конспирации и поэтому вынужден буду немедленно покинуть арену событий. Да и вы, разрешите вам заметить, поступаете с легкомысленностью, недостойной такой разумной женщины, как госпожа Оппенхайм. Даже в обычное время, не говоря уже о ближайших днях, нужно, чтобы кто-нибудь всегда находился в квартире.

— Кроме бумаг и книг Манфреда воры мало чем смогут здесь поживиться.

— Речь не идет о ворах.

Стакан задрожал у нее в руках, она поставила его на стол и посмотрела на меня. Но я обязан был довести дело до конца. И я продолжил:

— Может быть, никто и не придет, но мы должны быть готовы к любой возможности. Я предлагаю поселить у вас на время молодого студента...

— Я не люблю, когда чужие бродят по моему дому!

— Вот он и не даст чужим бродить по вашему дому.

Есть у меня один молодой человек, киббуцник, который получил ранение на войне и приехал сюда изучать изящные искусства. Я очень вам его рекомендую. Я знаю его с самого рождения.

— На какой срок?

Я понял, что лед тронулся.

— Сначала на несколько дней, а потом видно будет, в зависимости от обстоятельств.

— Вы думаете, что все эти годы он жил в Израиле?

— У нас пробел в двадцать пять лет. Мы должны ухватиться хотя бы за какую-нибудь ниточку.

— Найти Хайнци, и вдруг все это. Я старая женщина, а все эти страсти так пугают меня. Сердце может в конце концов не выдержать.

Что верно, то верно, подумал я про себя. Когда я спросил ее, почему она позвонила именно нам, она ответила: „А к кому же еще обратиться мне, старой еврейке?“ И дай-то Бог, чтобы я, испытывающий к ней почти сыновьи чувства, не оказался тем человеком, который нанесет ей этот удар.

ВИСБАДЕНСКАЯ ПАПКА

Возвращаясь домой, я снова и снова размышлял над тем, что предпринять в первую очередь. Единственным оправданием в моей, как мне казалось, медлительности, было то, что прошли всего сутки после встречи с Римоном, а ощутимых результатов еще нет. Разве, пожалуй, за исключением одного – мне удалось убедить Римона немедленно освободить Эреза с тем, чтобы еще этим вечером он перебрался в квартиру госпожи Оппенхайм. Я был уверен, что Эрез сможет защитить старуху, так же как в детстве был уверен в его отце, который всегда придет на помощь в тяжелую для меня минуту. И я ничуть не сомневался в том, что госпожа Оппенхайм будет скрупулезно следовать моим указаниям, и уже представлял себе, как она, с большим мастерством играя саму себя, устраивает перекрестный допрос незванным гостям. Кто они – этого я не знал, но, что они заявятся, было для меня очевидно.

Да, но что делать сейчас? Я еще не отправил отчета о случившемся и ни с кем не советовался на эту тему, боясь выставить себя в смешном виде. Сперва я хотел выяснить, заслуживает ли вообще вся эта история внимания, но теперь, если мы действительно напали на след какой-нибудь новой разведывательной сети, то я попросту обязан лететь в Израиль. Я прекрасно сознавал, что не сделав этого, я рискую попасть впро-сак. Ведь прежде чем поднимать тревогу, нужно хотя

бы проверить в паспортном столе, проживает ли в Израиле некто Хайнц сын Бернарда и Генриетты Бергерзон или человек, носивший это имя раньше. И затребовать из компьютера все данные о нем. Почему я этого не сделал? А потому, что тогда эту мою просьбу придется мотивировать, потребуются разъяснения — и все то, о чем я предпочитаю умолчать сегодня, надо будет рассказать.

Лучше я использую сегодняшний день для другой цели. Тут проглядывает другой вариант, который стоит исследовать прежде, чем дело примет серьёзный оборот. Воспользовавшись помощью связных, выручавших меня не раз в прошлом, следует проверить, в первую очередь, не хранится ли в Отделе репараций в Висбадене дело на имя Х.И. Бергерзона. Подобные случаи, когда скрывают факт получения репараций даже от собственных жен, совсем нередки. И если папка с этим именем существует, то сразу прояснится вся эта атмосфера таинственности. Сколько рассказов слышал я об охватывающем получателей репараций безумии, от которых волосы становились дыбом. Нет, тут не было никакой измены родине, просто очень удобные и нужные немецкие деньги. Может быть, изрядная сумма, доставшаяся ему, как единственному наследнику семейства Бергерзонов, и есть разгадка того, почему он не восстановил связей с тетушкой. Все возможно.

Одновременно я подумал и о двух других путях действия. Первый, — это встретиться с доктором Брукнером и попытаться выудить у него под тем или иным предлогом все, что известно ему и его коллегам. И второй, — встретиться с этой приятной наружности женщиной из Франкфурта, которая с такой поспешностью прилетела в Лондон. А заодно выяснить, есть ли какая-нибудь связь между издательством „Бибер” и капиталом, который Бергерзон, судя по его одежде, частым разездам и осмотрительности, без сомнения держит в Европе.

Но к чему распространяться о неосуществленных планах?

Я говорил уже раньше, что многое из того, о чем я здесь рассказываю, преследует одну-единственную цель — скрыть по возможности все те детали, которые могли бы выдать приемы, применяемые в моей работе. Но инженерное бюро по консультациям для фирм, экспортирующих определенную аппаратуру и нуждающихся в моих знаниях, существовало не только для отвода глаз. Значительная часть моего времени посвящалась этой работе, и, чтобы ничем не выдать себя, мне приходилось в точности выполнять свои обязанности. Поэтому, заглянув в дневник, я к немалому своему удивлению обнаружил, что завтра (четверг, 30 ноября) я должен сопровождать делегацию японских инженеров, инициатором приезда которой был я сам. Понятно, что никакие объяснения моего отсутствия тут не помогут. Таким образом, мне не оставалось ничего другого, как отложить поездку в Висбаден с утра на вечер. В конце концов, наш герой в отличие от японских инженеров все еще находится в бессознательном состоянии.

Мало что осталось у меня в памяти от уроков Талмуда в „Билу”, но различие между „априори” и „постфактум” я запомнил на всю жизнь. И позже выяснилось, что мое вынужденное бездействие было только к лучшему. Но тогда я этого еще не знал. Целый день я пытался разгадать планы тех, кому, возможно, служил Бергерзон, планы, которые, может быть, уже начали претворяться в жизнь. Снова и снова я задавал себе вопрос, как я объясню в случае серьезной неудачи мое молчание: почему не привел в действие моих людей здесь и в Германии, и, главное, почему сразу же не сообщил в страну. В тот день я был „априори” уверен, что вся эта история закончится большим моим провалом, но „постфактум” я убедился, что то мое бездействие оказалось куда более эффективным, нежели какой-либо другой шаг с моей стороны. Крепок человек задним умом! В тот четверг я еще и не

догадывался о той лихорадочной деятельности генерала де Транбле и полковника Унтермайера, которую каждый из них развил. У меня была только тяжелая связка ключей, но я понятия не имел, какие двери они отпирают.

Даже за самую тонкую ниточку я еще не мог ухватиться.

В течение дня я несколько раз звонил Эрезу, получая от него один и тот же стереотипный ответ: „Ничего нового не произошло”. Тетушка нанесла вторичный визит в больницу, на этот раз за рулем сидел Эрез. Но все, что они узнали там, — „состояние Бергерзона без изменений”. Никаких подозрительных людей они тоже не заметили.

В семь вечера я должен был выехать в аэропорт Хитроу, чтобы поспеть на самолет, вылетающий в 20.20 во Франкфурт, и оттуда отправиться дальше в Висбаден. Но между шестью и семью вечера я получил сразу два сообщения, одно из которых я с нетерпением ожидал весь день, а второе — совершенно неожиданное и удивительное. Сперва позвонил Эрез и по условленному коду сообщил, что „пруссак и библиотечкариша напросились в гости, и сейчас они по пути из „Хадасы”*. Из этого сообщения я понял, что доктор Брукнер наконец-то клюнул на удочку. Не исключено также, что свою роль тут сыграла и фрейлейн Лампрехт, выразившая желание встретиться с тетушкой, о существовании которой ей стало известно в больнице.

Неожиданной и удивительной была телеграмма из Парижа, которую доставил один из моих людей. После расшифровки передо мной лежал на столе следующий текст, характерный для Ицхакле, которому никогда уже, очевидно, не освободиться из-под влияния своего отца, известного писателя А.А. Друшкина: „Сотрясенный тевтон в „Мисгав-Ладах”**, что на мосту Топоров***, обитал с вдовой, с сыном которой он состязал-

* Больница в Иерусалиме.

** Известная в прошлом больница в Иерусалиме.

*** Эксбридж (англ.) — мост Топоров.

ся три раза; и он — это наш брат Бар Гершом, он же — кудесник Ан Римон в начале и Трэлан в конце. А ты посмотри на две кручи и увидишь, как начнут сбираться молодцы, чтоб умыкнуть его. Будь быстр, как молния”. К этим сумасшедшим телеграммам мы не только привыкли, но расценивали их как проявление уважения к нам. Сколько раз мы предупреждали его, что чересчур витиеватые намеки могут быть неправильно поняты, но он неизменно отвечал, что для человека, воспитанного на ивритской культуре, самый надежный код — это мир его ассоциаций. И действительно, перевод его телеграммы на нормальный иврит доставил мне огромное наслаждение. Вот он: „Немец в бессознательном состоянии в больнице Эксбриджа — француз. Возможно, что он проживал раньше во Франции, или бежал туда. Его имя во Франции — Анри Монтрэлан, и о нем нам известно очень мало, кроме того, что он еврей Бергерзон. Заложен ли какой-нибудь смысл в том, что в обоих именах фигурирует слово „гора“? Действуй быстро, не дай себя опередить чужим агентам, которые, может быть, попытаются его выкрасть”.

Однако неприятный осадок у меня остался от того неожиданного факта, что тайна, известная только мне одному, становится достоянием многих в Париже, а телеграмма от Ицхакле возвращает меня к этапу, предшествовавшему опознанию Хайнци тетушкой. Но я, опираясь на свой опыт, привык доверять информации, получаемой от Ицхакле, и поскольку он не вдавался в подробности, я мог только предположить, что его французские источники питаются II отделом или контрразведкой в Лондоне. А они оказались гораздо более быстры и эффективны, чем мы привыкли считать. Попытаться дать ответ на вопрос, почему этой информации дали „утечь” и достичь ушей наших людей именно в Париже, безусловно, было бы очень интересно, но в тот момент мне предстояло принять более срочные решения. Я решил не ехать этим вечером в Висбаден, а отправиться немедленно в Свисс-кот-

тедж и предпринять любовую атаку на доктора – консула и на фрейлейн из Франкфурта.

Мы представляли из себя необычный квартет, и можно было бы исписать немало бумаги, описывая это удивительное сплетение судеб. Невозможно вообразить себе большего отличия, чем, например, между старой еврейкой, эмигрировавшей из Франкфурта в Лондон, и цветущей девушкой, бежавшей из Дрездена во Франкфурт. Даже Хайнц, живший в памяти обеих (с воспоминаниями Бригитты о нем мне предстояло познакомиться вскорости), не был одним и тем же Хайнцем. И все же, уже с первой минуты, как я пришел туда и старуха представила меня как своего хорошего соседа, ее „доброе самаритянина”, бросалось в глаза, насколько Бригитта успела подпасть под чары госпожи Оппенхайм. А настоящая тетушка настоящего Хайнца – покорена красивой девушкой, только вчера прибывшей из города, в котором она, тетушка, родилась и провела первые сорок лет своей жизни. Спустя мгновение они уже сидели, уединившись, в глубине салона и вели оживленную беседу на безупречном немецком языке. Мы же с консулом остались сидеть на потертой бордовой софе.

После эта разведчица-любительница, конечно же, утверждала, что подстроила все специально, чтобы дать нам возможность переговорить с глазу на глаз. „Ведь вы не будете спорить с тем, что в нужный момент я подключилась к беседе, то есть краем уха прислушивалась”, – добавила она. И хотя я не уверен, что именно так обстояло дело, тем не менее в тот вечер консул немало добавил к „делу Бергерзона”, которое уже начинало приобретать у меня в голове и в моей записной книжке определенные формы. Немало из того, что я тогда узнал, было уже рассказано в предыдущих главах, и тут уместно будет внести лишь дополнения к версии доктора Брукнера. Чтобы сэкономить место и время, я просто перескажу в легкой обработке то главное, о чем он мне поведал, начиная с того момента, как доктор Брукнер положил свой первый от-

чет на стол полковника Унтермайера. Вот выдержки из записной книжки, куда я записал нашу беседу, вернувшись домой.

После быстрой оценки ситуации я решил не терять времени и играть ва-банк. И я прямо говорю Б., что мы благодарим его за проявленную им смелость. Тут же добавляю, что Бергерзон не работает в наших секретных службах, и поэтому мы обязаны расследовать все до конца. Иными словами убедиться в том, что он не работает против нас, в противном случае выяснить, кто его хозяева.

Б. бледнеет и после короткого молчания признается: да, это он звонил нам. В его голосе я слышу неподдельную дрожь. Это у него первая возможность беседовать с израильтянином, занимающим такой пикантный и в то же время ответственный пост. И он обязан предупредить, что этот поступок был совершен после долгих и серьезных колебаний. Чем они были вызваны — об этом он расскажет как-нибудь при случае. Но еще душевная гармония не достигнута, и нет в нем того ощущения гордости, с которым он мог бы назвать себя немцем и христианином.

Далее он сообщает, что факты, накопившиеся со вчерашнего дня, уже окончательно убедили У., этого матерого разведчика из бывших нацистов, приближенных Канариса, в том, что дальнейшее расследование не имеет смысла. В ответ на мой вопрос Б. отвечает, что полковник, возможно, руководствуется секретными инструкциями, о которых у него, у Б., нет ни малейшего представления. Может быть, они носят политический характер (не ухудшать отношений с дружественными странами? С Францией? С Великобританией? Или с Израилем?). Но с другой стороны, У. совсем не скрывает данных расследований, проведенных в Гамбурге и в Дюссельдорфе. Может быть, это предназначено специально для фрейлейн Лампрехт, чтобы намекнуть ей тем самым на ее недостойную связь, оскверняющую немецкую расу.

Последние слова доктор Б. произносит громко, и

даже если это произошло ненамеренно, — тетушка и Бригитта Лампрехт обращают внимание на восклицание Б. и присоединяются к нам. (Здесь я впервые выслушиваю историю, рассказанную уже в главе „Бригитта Лампрехт”. Поэтому не буду ее повторять).

Из результатов расследования в Гамбурге, рассказывает доктор Б., доставленных после обеда в канцелярию полковника, следует, что уважаемого семейства торговцев Бергерзон никогда в Гамбурге не существовало. Посему в нем не мог родиться ребенок по имени Хайнц Изидор. Порядка ради обещали продолжить проверку других фактов, заключенных в версии фрейлейн Лампрехт, как, например, личности матери-актрисы и истории с бегством подростка в Швецию. Хотя достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в том, что подобного рода операция может показаться правдоподобной лишь человеку, в жизни своей не плававшему по морям.

Однако, продолжает доктор Б., проверка в Гамбурге была, в общем-то, излишней, поскольку синхронная проверка в федеральном архиве в Дюссельдорфе дала совершенно однозначные результаты. Склонность У. видеть в каждом встречном шпиона и врага немецкого народа, саркастически замечает доктор Б., уступает только одному — в любом углу видеть евреев. Тот факт, что паспорт Бергерзона выдан на основании параграфа 116 (2), почти затмил собой другой факт, а именно, что Третий рейх давно уже прекратил свое существование. С Дюссельдорфом У. связался лично, потребовав дать ответ на его запрос с максимальной скоростью. Ответ гласил, что некто Бергерзон, действительно, обращался с просьбой о репарациях, и получил их как в виде личных компенсаций, так и в виде дополнительных компенсаций за лишение имущества. После этого У. немедленно затребовал, по соображениям государственной безопасности, подробное описание дела.

Тут я заканчиваю цитирование из моей записной книжки.

Я не знал, что успели консул и фрейлейн Лампрехт поведать тетушке до моего прихода, но сейчас вполне может подтвердиться одно из самых отвратительных подозрений — что дражайший Хайнци предпочел наследство умерщвленного семейства живой тетушке. И поэтому мне не хотелось бы, чтобы об этом говорилось в ее присутствии. Я бросил взгляд на часы, давая понять, что мне, а, может быть, и гостям, пора уходить. Но госпожа Оппенхайм, присевшая рядом со мной на софу, взяла своими холодными пальцами меня за руку. Да, ее не так просто провести.

— Что же выяснилось из подробного описания дела? — спросила она.

— Выяснилось, что произошло на самом деле, — ответил консул.

Поскольку прошло всего несколько часов, как полковник Унтермайер зачитал доктору Брукнеру и фрейлейн Лампрехт сообщение телетайпа, то все важнейшие детали были переданы консулом точно. Там, где он ошибался в датах, фрейлейн Лампрехт поправляла его, но когда он называл по памяти суммы денег, она закрывала свои нордические глаза, действительно излучавшие, по выражению консула, „некое серое сияние облаков, пронизанных солнечными лучами”. Впоследствии я получил копию того телетайпного сообщения, почти полное изложение которого за исключением имени парижского адвоката, представлявшего истца, приводится ниже. Имени этого не могли припомнить в ту минуту ни консул, ни фрейлейн Лампрехт. Но к нему мы еще вернемся, а пока — перескажем содержание ответа из Дюссельдорфа на запрос Унтермайера.

Дата подачи заявления: март 1958 года. К заявлению были приложены копии свидетельства о рождении, документы, подтверждающие проживание Бергерзона в Париже, начиная с ноября 1938 года, документы о том, что еврейскими организациями взаимопомощи была оказана ему материальная поддержка, нотари-

альные заявления соседей, приютивших подростка во время облавы июля 1942 года, и много свидетельских показаний о его жизни в нечеловеческих условиях нацистской оккупации под чужими именами вплоть до августа 1944 года. Также были приложены документы, подтверждавшие высылку родителей Бергерзона на восток. К этому было приложено описание имущества семьи Бергерзонов во Франкфурте и даты его распродажи после „Хрустальной ночи“.

Отдел репараций земли Гессен в Висбадене и Федеральный фонд по возмещению убытков, понесенных во время Второй мировой войны, выплатили просителю: за перерыв в учебе – 10.000 немецких марок; за лишение свободы, ношение желтого опознавательного знака (с 7.VI.1942 года) и за то, что он вынужден был скрываться, – по 150 немецких марок за каждый месяц; плюс к этому разные прочие выплаты – 8.300 немецких марок. За лишение свободы отца и матери просителя и за их уничтожение он получил в качестве единственного законного наследника 18.000 немецких марок.

Более запутанным оказалось его требование о возмещении имущества, и в этом вопросе решение было принято спустя несколько лет. Здесь была указана только общая сумма в 173.000 немецких марок и непонятно к чему относящаяся дата – 31.III.1964 года, может быть, это была дата закрытия дела.

Чем больше цифр приводил консул, тем темнее становилось морщинистое еврейское лицо старухи. Они с мужем, рассказывала она мне, когда мы сидели в машине у ворот больницы, отказались воспользоваться законом о репарациях (она даже произнесла это по-немецки – Bundesentschadigungsgesetz). И, несмотря на то, что в последние годы Манфред сильно тосковал по родным местам, они все же не вернулись обратно. А сейчас старуха должна была выслушивать рассказ о делишках ее Хайнци. Очевидно, что и она, так же как и я, прикинула в уме примерную сумму, которую он

получил за все страдания своей юности. Выходило что-то около 200.000 немецких марок.

Рука госпожи Оппенхайм словно увяла и соскользнула вниз. Я встал, и вслед за мной поднялся доктор Брукнер. К нам присоединилась фрейлейн Лампрехт, хотя, как мне показалось, она очень надеялась, что госпожа Оппенхайм предложит ей остаться. Но старуха осталась сидеть как сидела, отвечая лишь легким поклоном на наше прощание. На улице шел надоедливый дождик, и весь Лондон представился каким-то совершенно ненужным.

Консул предложил фрейлейн Лампрехт подождать в подъезде, пока он подведет машину поближе. Когда он отошел, я сказал ей, что очень хотел бы встретиться с ней и поговорить с глазу на глаз. Она ответила, что завтра снова собирается быть здесь. Тогда я предложил назначить местом встречи станцию метро „Финчли”. Она согласилась, как мне показалось, с радостью. И тут я не удержался и спросил ее: „Кто такой Анри Монтрэлан?”

Но даже если бы она и была поражена этим вопросом, в тусклом свете подъезда я все равно не смог бы различить никакого признака смятения на ее лице.

— А в чем дело? Это хозяин авангардистского издательства в Париже.

В этот момент подъехала машина консула, и это освободило меня от необходимости отвечать фрейлейн Лампрехт.

Б. УХОДИТ – М. ПРИХОДИТ

Занимаясь электроникой, этой моей второй профессией, я не раз задумывался над тем, насколько раздроблен современный мир. Раздробленность эта языковая, социальная, духовная, но в то же время именно она и дала тот толчок научному прогрессу, который при нашем поколении приобрел столь могучие темпы. Теперь не две культуры господствуют в мире, а конгломерат культур, для которых не существует более границ между государствами, нет классовых разграничений и они свободны от консерватизма. Забавы ради, мы с моим приятелем Мурамадзу провели как-то такой эксперимент. Во время совместной работы над проверкой возможностей технологического применения проводимости определенного вида полупроводников в массовом производстве мы на полном серьезе решили говорить каждый на своем языке. Он по-японски, я на иврите. И все то время, что мы работали вместе, мы прекрасно понимали друг друга. И не только потому, что записывали на доске условные знаки нашего общего профессионального „языка”, или потому, что то и дело употребляли в речи английские слова, – просто мы угадывали мысли собеседника. Наш образ мышления был образом мышления инженеров, граждан международной державы электронщиков.

Та же история, подумал я, и с вненациональным кланом разведчиков. Все они, в конечном итоге, размышляют об одном и том же. Таковы были мои ощущения,

когда я сел записывать все услышанное от доктора Брукнера. Я собирался ехать в Висбаден, а Унтермайер, думая о том же, будто специально по моей просьбе, все разузнал в Дюссельдорфе.

Тогда, разумеется, мне еще ничего не было известно о действиях де Транбле в Париже, но странная телеграмма Ицхакле помогла заполнить пробелы в складывавшейся уже в моем уме картине. Анри Монтрэлан, месье! Парижский книгоиздатель, имеющий деловые связи с франкфуртской фирмой герра Бергерзона. Двести тысяч марок — это совсем неплохо для начала и уж тем более великолепное прикрытие для этого человека-оборотня. Вступление в игру Монтрэлана расширяет поле деятельности Бергерзона. Теперь становится очевидным, почему Бергерзон останавливался в „Камберленде” только начиная с двадцать четвертого.

В данном случае — один плюс один равняется одному.

В первом европейском турне месье М. использует Лондон как своего рода театральную уборную. Из нее он уже выходит герром Б. Во втором — приезжает герр Б., а уезжает месье М. В паспорте не ставят печатей, достаточно показать удостоверение личности, и иди потом ищи иголку в стоге сена. Но все же, куда Анри Монтрэлан прячет свои вещи и в том числе билет в оба конца, который, несомненно, авиакомпании Эр Франс? Возможно, что один из этих ключей и подходит к замку от какой-нибудь лондонской квартиры, где все это хранится. Вопрос лишь, как ее найти?

Я все еще хотел действовать в одиночку. Тем более, что поездку в Висбаден мне сэкономили. Поэтому надо было использовать это утро еще до того, как мне предстояла важная встреча с Бригиттой Лампрехт. И я позвонил в агентство Эр Франс. Чтобы скрыть мое плохое английское произношение, говорил я по-французски так, как говорят на нем иностранцы.

— Я звоню вам, сударыня, — сказал я, — так как меня очень беспокоит судьба моего друга, известного французского издателя Анри Монтрэлана. Он вылетел

из Парижа в прошлую пятницу и до сих пор не прилетел... О, я тоже так подумал, сударыня, но я только что связался с издательством, и они там в большой растерянности... Что значит, забыл? Что забыл? То, что он летел в Лондон специально для того, чтобы редактировать вместе со мной рукопись моей книги?!.. Я не слежу за последними известиями, сударыня, может быть, случилась какая-нибудь авария с одним из ваших самолетов в пятницу, двадцать четвертого?

Очевидно, я неплохо сыграл эксцентричного английского писателя, способного вообразить, что самолет Эр Франс может так запросто исчезнуть в небесах вместе со всеми своими пассажирами. Сначала работница агентства попыталась было отделаться от меня, попросив оставить ей номер телефона, по которому она смогла бы связаться со мной позже. Но мое возмущение и угроза написать в „Таймс” сделали свое дело. Меня связали с другой работницей агентства, и та с подчеркнутой вежливостью объяснила, что несмотря на то, что корешки билетов пятничных рейсов уже отправлены в центральный оффис, она все же сделает для меня особое одолжение и попытается выяснить там интересующие меня детали. И действительно, через пару минут она сообщила, что господин Анри Монтрэлан вылетел в пятницу с аэродрома Орли рейсом № 812...

То, как я закончил беседу с этой работницей, не столь уж интересно, важно другое — что мои предположения подтверждаются. Теперь становится понятным, что на самом деле скрывается за билетом Люфтганзы. М. прилетает самолетом Эр Франс двадцать четвертого, а Б. летит Люфтганзой двадцать восьмого. И никто не сидит в Лондоне полгода. Из билета видно, что Б. прибыл из Франкфурта четырнадцатого мая (обратите внимание, как и девятнадцать лет тому назад, тоже накануне Дня независимости), и логично предположить, что спустя несколько дней М. вылетает в Париж. Лишь вещи, документы и билеты Бергерзона все эти месяцы

пролежали где-то здесь. Но где же был их хозяин? Одним словом, загадка осталась загадкой.

Обращаться к помощи английских иммиграционных властей, как мне посоветовала обеспокоенная работница агентства, я, разумеется, не стану, и дай Бог, чтобы она не обратила их внимание на это дело. Если только они сами еще не заинтересовались им.

Разум подсказывал мне, что не следует ввязываться дальше в это дело, пока я не получу ясных инструкций из страны. Но для этого надо было сперва послать подробный отчет. Однако, как и на предыдущих этапах, меня не оставляло ощущение, что еще шаг — и я нападу на след. Сказала же по своей наивности Бригитта Лампрехт, что Монтрэлан — хозяин авангардистского издательства. И проще всего будет спросить у нее самой о названии этого издательства. Ицхакле хотел удивить меня своей осведомленностью о том, что творится тут у меня, в Лондоне, ну а мы покажем ему, что происходит у него под носом в Париже.

Только в полуденном свете, увидев ее вблизи при входе на станцию „Финчли”, я убедился насколько поразительна и свежа красота этой женщины. Так когда-то все мы влюблялись в Ингрид Бергман. И несмотря на то, что я при встрече преследовал лишь одну определенную цель, все же правила игры требовали соблюдения всех тонкостей этикета. И я спросил ее, не любит ли она индийскую кухню.

— Да, — сказала она, — Хайнц помешан на восточных приправах. Он и меня приучил к ним.

— Да, — ответила она на мой вопрос. Она только что проводила госпожу Оппенхайм из больницы, и они договорились отправиться туда еще раз после обеда.

— Нет, — произнесла она на этот раз, — консул не сопровождал нас. Их отвез молодой израильский студент.

Состояние Хайнци? — С одной стороны, объясняет доктор Эванс, рассеялись черные тучи, и после дополнительных анализов и рентгеновских снимков он и невропатолог пришли к окончательному выводу, что

с чисто физиологической стороны Хайнц абсолютно не пострадал в катастрофе. Однако его нынешнее состояние, тем не менее, остается загадкой, хотя он реагирует на звук и на свет, а сегодня даже отпил сам чай из чашки, которую ему поднесли ко рту. Это уже кое-что, сказал доктор Эванс. С другой же стороны, добавила Бригитта почти шепотом, у них складывается мнение, что необходимо будет прибегнуть к сложному и долгому психиатрическому лечению. А это совсем не утешает.

Я сидел в индийском ресторане „Сент-Джонс-Вуда” напротив этой стройной женщины, на лице которой всякий раз при упоминании Хайнца появлялось выражение какой-то прекрасной грусти, сочетавшее в себе самоотверженность и женскую слабость. И не знаю отчего, но я начинал думать о моем отце, о котором я не так уж часто вспоминаю. После того, как он изменил свою фамилию на Бен-Барак, начались каждодневная суета, бесконечная беготня в поисках заработка. Даже лучшие его годы помнятся мне как предание, услышанное в далеком детстве. Он был худой и маленький и просто физически не в силах был содержать овощную лавку и в то же время метать молнии*. Он стал молчаливым и как будто угас. Так я во всяком случае думал. И о моих продолжительных отлучках за границу он не слишком меня расспрашивал. Он прекрасно понимал, даже и в отношении этой моей последней поездки, что разговоры об эмиграции – это только для отвода глаз. А на самом деле я продолжаю заниматься теми же важными и тайными делами. Потому и не докучал мне своими вопросами. Однако то, что внутри он был крепок, как скала, я обнаружил совсем случайно. Когда умерла мать, я предложил отцу, чтобы он переехал к нам, хотя бы на некоторое время. „По меньшей мере один из моих обетов я выполняю до конца: из Эрец-Исраэль я не уеду”, – будто между прочим ответил он и слегка ухмыльнулся про

* Барак (иврит) – молния.

себя. Но от меня не ускользнуло, что он хотел этим сказать. Нет, он меня ни в чем не упрекал, это была как бы общая мысль: „Каждый, кто живет за пределами Эрец-Исраэль — живет так, будто с ним нет Бога”. А что же говорить о том, кто не только живет на чужбине и сидит в этом индийском ресторане вместе с Бригиттой Лампрехт, но еще должен постоянно вести двойной образ жизни? Уже во время моего первого посещения Германии, сразу после войны, я сумел достаточно глубоко запрятать свои чувства и переживания, настолько глубоко, чтобы они не мешали выполнению возложенного на меня задания. И уже тогда я открыл для себя, что по отношению к чему-либо, с чем у тебя нет прямого контакта, или к чему-нибудь абстрактному несложно выдержать постоянную позицию. Так же и чувства можно подчинить разуму. Но в конце концов это приведет к тому, что у тебя останется в душе не холодный огонь, а лед.

Я сидел напротив Бригитты Лампрехт и пытался понять, что происходит у нее в душе теперь, когда она узнала про своего Хайнца, кем он является на самом деле: еврейский беженец, рассказывающий истории, которых никогда с ним не приключалось. Но Бригитта передавала мне свою беседу с доктором Эвансом и с престарелой тетушкой так, будто полковник Унтермайер ничем не изменил ее отношения к Хайнцу. В ее голосе я не различил ни малейших признаков холодности. Напротив, все происходящее только углубляло объединяющее ее и Хайнца чувство — чувство одиночества. Сколько нежности было в ее словах, когда она говорила о Хайнце, и я чувствовал, что это все относится именно к тому, кто лежит сейчас в больнице и ничего не видит, не слышит и не помнит. Этим утром Бригитта Лампрехт сообщила своей секретарше, что она остается в Лондоне до тех пор, пока состояние здоровья Хайнца не улучшится, и только потом станет ясно, каковы ее дальнейшие планы.

Я решился задать ей трудный вопрос: „Не беспо-

коит ли ее эта его двойственность, более того, годы, проведенные врозь?”

— Но ведь с самого начала стояли эти вопросы: где он тогда, когда не во Франкфурте, то есть одиннадцать месяцев в году? И я отвечала себе: зато все то время, что Хайнц проводил со мной, он отдавал мне полностью и без утайки. Я не вижу, что изменилось сейчас, в какой-то мере теперь я даже более спокойна, чем когда-либо. Однако ваш вопрос, разумеется, имел в виду не это. Итак, хотя у вас нет оснований верить мне больше, чем Хайнцу, но я скажу вам то, что чувствую: Хайнц не продает секреты, самое большее, на что он способен — это создавать их.

— Дай-то Бог, чтобы я мог верить только чувствам, как влюбленные, — рассмеялся я.

— Ну, а что говорят факты? Где они? Как немка, я позволю себе дать вам совет — не полагаться на слова закомплексованных детей нацистов. Они все равно никогда не простят вам, что вас убивали, а они — дети убийц.

— Доктор Брукнер?

— Да. Унтермайер не слишком жаждет искупления. Сразу по приезде Брукнеры поместили меня у себя дома, очевидно, для того, чтобы удобнее было наблюдать за мной. Сегодня утром, по дороге в посольство, полковник заглянул будто случайно к ним на квартиру. И между прочим сообщил мне, что государство больше не интересуется делом Бергерзона. „Дело закрыто”, — официально заявил он мне. Но когда я сказала ему, что несколько минут назад беседовала по телефону с моей секретаршей и та сообщила, что обнаружила в нашем офисе следы взлома, полковник грубо рассмеялся. Решение это, ответил он, вытекает, видимо, также и из результатов этого обыска. Я верю этому полковнику — Хайнц не шпион, он не за и не против.

— И они не пытались узнать, что за связи существуют между издательством „Бибер” и Анри Монтрэла-

ном в Париже? — Моя папка, старался я устранить ее сомнения, еще не закрыта.

— Госпожа Оппенхайм называет вас господин Авнер. Это ваше имя, фамилия или одна из кличек?

Вот такую элегантную и точную игру я люблю!

— Я буду рад, если вы станете называть меня просто Авнером. Кто я — вам известно. Но что вы могли бы рассказать об Анри Монтрэлане, о котором мне ничего не известно?

— Я никогда не видела этого человека, да у нас и нет причин встречаться. Я связана с главной редакторшей его издательства.

— Как ее зовут?

— Я полагаю, что Монтрэлан интересуется вас только в качестве свидетеля по делу Бергерзона. Но если не осталось больше подозрений против Хайнца, то я не вижу смысла копаться дальше в его жизни.

— Для того, чтобы быть уверенным в этом, сперва надо найти разгадку неизвестных нам лет его жизни. Как называется это издательство?

Бригитта встала. Мне не оставалось ничего другого, как тоже встать и подать ей пальто. Она была выше меня, с волевым лицом, самостоятельная и независимая женщина. Она произнесла:

— Когда вы закончите это ваше ненужное расследование, вы не найдете, я уверена в этом, того, что ищете. Но я, подсказывает мне мое сердце, останусь без Хайнца. Сожалею, но помощи такого рода не ждите от меня.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПАПКА

По дороге к тетушке я размышлял над тем, отчего мне никак не удастся справиться с этой загадкой самому. И все больше убеждался в том, что лучше всего будет для меня поделиться имевшимися в моем распоряжении крохами информации с Парижем, чтобы там смогли, наконец, выяснить подлинную личность Монтрэлана и его связи с Бергерзоном. И тогда совсем иначе следовало понимать странное сообщение Ицхак-ле — он всего-навсего просил, чтобы я ограничил свою деятельность одной только охраной, стараясь предотвратить возможное похищение этого человека из больницы. И тут, по крайней мере, я могу похвастаться нетривиальным результатом: контакт тетушки с врачами сослужит нам службу лучшую, нежели что-либо иное.

И сейчас, после того, как я немедленно не сообщил в страну, я, признавшись себе в этой своей ошибке, решил срочно телеграфировать шефу и просить его о: 1) розысках в паспортном столе или в каком другом месте нужного мне имени и 2) инструкциях, предписывающих мне продолжать заниматься этим делом здесь. В одиночку я больше не желаю играть. Это немцы могут позволить себе устраивать взлом в издательстве „Бибер” и потом, будучи в шутовском расположении духа, признаваться в этом другим. Я же себе такого позволить не вправе. Да и откуда мне знать, не уничтожила ли тем временем Бригитта все, что могло бы

пролить свет на темное прошлое Хайнца. Я умываю руки.

Но уже подъезжая к перекрестку улиц Файрхейлз и Гринкрофт, меня осенила вдруг мысль: как же я мог забыть про каталоги издательств, которые валялись в вещах Бергерзона вперемежку с „Плейбоем”, „Таймс литературы сапплмент” и „Собачьими годами” Грасса. Ни тетушка, ни я не потрудились проверить, что же есть в этих каталогах, хотя мы оба предполагали, что они предназначены для фрейлейн из Франкфурта. Больше мне не казалось теперь, что меня преследуют одни лишь неудачи, и у меня сразу поднялось настроение.

Здесь стоит остановиться и рассказать подробнее об этой важной детали нашего повествования.

Вопреки своим планам, сопровождая Бригитту, я снова очутился в квартире госпожи Оппенхайм. И при первом же удобном случае намекнул ей, что мне нужно поговорить с нею с глазу на глаз.

— Вещи Хайнца, — сказала она в ответ на мой вопрос, — спрятаны в потайном шкафу, находящемся в спальне, вход в которую ведет через ванную.

Госпожа Оппенхайм вынула оба ключа из банки из-под чая „Тетли” и протянула их мне. И то, что тетушка не колебалась ни минуты, раскрывая мне свои маленькие секреты, так тронуло меня, что я не удержался и расцеловал ее в обе щеки.

В каталогах были планы на ближайший год нескольких английских издательств. Я сидел в маленькой ванной и внимательно листал каталоги, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Где-то тут таится тайна всех этих издательских трюков, знать которые мне сейчас так важно.

И, действительно, среди разнообразия литературы — воспоминаний глав правительств и генералов, книг по истории мафии и нераскрытых тайн Викторианской эпохи, романов Солженицына, литературы о сексуальных позах Востока и Запада и о загадке летающих тарелок, сборников поэтов от Сафо до Сильвии Плат,

произведений американских писателей-евреев и книг о вкусной и здоровой пище — среди всего этого я обнаружил вдруг нечто необычное. Мое внимание привлекло не название книги, а аннотация, где было сказано, что автор книги никому не известный французский подросток. „Это не просто трогательный человеческий документ, — говорилось там, — но великолепное произведение литературы, лишь чудом сохранившееся для читателя. Автор описывает часть Парижа между Оперой и собором св. Мадлен так, как он видел ее „снизу“ (в английском переводе книга имеет название „From below“, в оригинале, на французском, ее название „En bas“). В отличие от других воспоминаний такого рода, как, например, „Дневник Анны Франк“, подросток этот почти не передает своих переживаний за то время, пока он скрывался в подвале одного из домов. В серии коротеньких рассказов неделя за неделей описывает он происходящее снаружи так, как это видится ему из маленького подвального окошка. Это зрелое произведение литературного гения”.

Я предпочитаю умолчать о том, что я почувствовал, читая эту незатейливую издательскую рецензию, в которой многое скрывалось между строк. И лучше расскажу, что было предпринято мною дальше.

Все, кроме этого каталога, я положил обратно, запер шкаф и спальную комнату и вернулся в гостиную. Госпожа Оппенхайм умоляла меня побыть у нее еще немного, но я пообещал ей, что позвоню попозже, чтобы услышать подробности их вторичного визита в больницу. В серых глазах Бригитты я заметил, что она опасается чего-то. Я холодно улыбнулся ей и поспешил к выходу. Но тетушка не удержалась, вышла вместе со мной в темную прихожую и спросила, нашел ли я то, что искал. Нет, ничего особенного, ответил я, но в нашем положении даже самый легкий намек может помочь. Тогда она спросила, не буду ли я против, если она свяжется с профессором Хартклиффом, потому что в таких случаях, как этот, откладывать лечение не стоит.

— Ради нас всех, — попросил я тетушку, — очень прошу вас запастись терпением еще на один день.

Доверие, оказываемое старухой, было мне очень дорого.

Прямо со станции „Финчли” я позвонил в издательство и попросил к телефону ответственного за приобретение прав на перевод книги, которую издательство собирается выпустить. Мне ответил медленный и тусклый баритон.

— Меня очень заинтересовала рецензия в вашем каталоге о книге „From below”, хотя, к моему стыду, до сих пор я о ней ничего не слышал.

Медленный баритон успокоил меня, сказав, что здесь нечего стыдиться, поскольку рукопись была обнаружена в Париже совсем недавно, и наш каталог даже опережает французское издание. Замысел наш был опубликовать эту книгу одновременно на французском и английском языках, а, может быть, и еще на нескольких. И тогда, уверенно заявил он, эта книга будет замечена всеми любителями литературы.

— Весьма возможно, что израильские книгоиздатели, — тут я добавил, что являюсь другом крупного израильского книгоиздателя. — уже приобрели права на перевод. Но произведенное на меня впечатление столь велико, что я все же хотел бы телеграфировать моему другу-издателю об этой книге еще сегодня. Не могли бы вы сказать мне, кому принадлежат права на перевод этой книги на иврит?

— Да, конечно, — отвечал все тот же медленный баритон, — как возвышенна сама мысль о том, что произведение этого безвестного юноши, рассказавшего о себе так мало, но неизменно повторявшего при упоминании своих друзей слова „Божий агнец”, и бывшего, разумеется, евреем, будет переведено на иврит. Права на перевод принадлежат французскому издательству „Монад”, вот его адрес и номер телефона... Всего вам наилучшего, сударь.

„Монад”. Разгадав образ мышления этого человека, нетрудно обнаружить определенную закономерность в

его рассуждениях. Как и в слове „Бибер”, здесь слышалась аббревиатура — Монтрэлан, Анри, и недостает еще одного имени: Диан, Адель, Ондин...

Еще час назад я готов был подписать капитуляцию — сейчас я чувствовал себя победителем. Если Ицхакле намекал, что творящееся у меня под носом он видит лучше, чем я, то еще сегодня его ожидает большой сюрприз. Прямо отсюда я отправляюсь в аэропорт, лечу в Париж, иду в издательство „Монад” и, если действительно обнаруживаю там то, что мне надо, то тогда я смогу показать Ицхакле, что творится у него под носом.

И все было бы прекрасно, если бы не мелочи, которые всегда расстраивают самые подробные планы. Ведь сегодня пятница и времени уже без двадцати пяти три, поэтому даже если со мной не произойдет в пути ничего подобного тому, что случилось, например, с нашим героем, если мне удастся улететь с первым же самолетом и дорога от аэродрома до Парижа не займет слишком много времени, иначе говоря, если все сложится наилучшим образом, то все равно меня настигнет французский „ле-вик-энд”.

А коли так, то нужно действовать немедленно, прямо из этой вот телефонной будки. Я опустил в аппарат несколько монеток, специально запасенных на такие вот экстренные случаи, и начал набирать номер. Все, что мне нужно сделать, это повторить тот же трюк с израильским издательством. Я представлю себя книгоиздателем, желающим приобрести права на ивритский перевод книги „En bas”. И, наверное, услышу в ответ, что эти права уже приобретены другим издательством. Велик ли риск? Вовсе нет. И билеты на самолет и названия издательств свидетельствуют об одном: человек этот действует в тех жестких рамках, которые он сам себе установил. И если моя общая формула верна, то она должна дать ответ и в этом частном случае.

Телефон продолжал гулко звонить в далеком и пустом пространстве, но никто не поднимал трубку. Не раздался даже записанный на пленку голос, сооб-

щающий, что все уехали домой, и вежливо предлагающий мне оставить сообщение. И так, мои предположения не подтвердились и не были опровергнуты, а моя последняя гениальная мысль не сдвинула меня с мертвой точки.

Когда — но не если — будет снова расследоваться все это дело, я не сумею объяснить, отчего были игнорированы мною самые элементарные правила расследования. Почему я не подключил к своей работе коллег, почему, — и это уж наверняка не будет никем понято и прощено, — я не сообщил немедленно по инстанциям. Это не математика, уже слышу я саркастические интонации в голосе моего начальника, это не электроника и не кибернетика — это всего лишь государственная безопасность.

Я подавил свою гордыню и снова набрал парижский номер, на этот раз номер Ицхакле.

— Откуда глас твой, отрок? — прорычал Ицхакле.

— Реши где ты, в Первой книге Царств и в книге Иова?

— Чтоб я так жил, если б знал, где я нахожусь. Уже семь раз поворачиваю диск дальнеслуха, но ни слуху, ни духу. И вдруг предстаешь ты передо мной, словно в мираже, из своего лондонского замка...

— Послушай-ка, старик...

— Слышать-то слышите, да не уразумеете. А иносказание мое...

— Читал я его, по букве и по духу его. А сейчас прошу перейти на нормальный иврит...

— Ладно. Тогда оседлай первого попавшегося верблюда, выбери нужное направление и...

— В восточные земли? — решил и я попробовать свои силы в умении отгадывать загадки.

— Сперва привяжи твоего верблюда у входа в мой шатер, а там мы спросим у идолов. О стезях земных.

Скорости, с которой мы, знающие друг друга и работающие вместе уже многие годы, перебрасывались этими полуфразами, полунамеками, вряд ли сможет достигнуть самая совершенная вычислительная маши-

на. И из этого разговора мне стало ясно, что я должен немедленно бежать домой, прощаться с семьей и собирать легкий чемоданчик, — это на тот случай, если мне придется прямо из Парижа лететь в страну. Я посмотрел расписание и увидел, что ближайший самолет, делающий посадку в аэропорту Орли, вылетает в 17-00 из Лондона.

Итак, выходя из терминала в Орли в темноту, под морозящий дождик, я повернул не направо, к веренице такси, а налево, и пошел вдоль шоссе, пока не различил вдали желтые огни фар. На обычном месте стоял „пежо”, за рулем которого сидел Ицхакле. Он походил на большого медведя, забравшегося на зиму в свою берлогу, волосы на побелевших висках были тщательно зачесаны к краям уже начинающей утверждаться лысины, а в глазах плясали отсветы прожекторов аэропорта. Я уселся около него, и Ицхакле сразу взял с места. Мы поехали по направлению к Ауто-рот, но я заметил, что мы приближаемся к нему с противоположной стороны, держа путь к Фонтенбло.

— Туда мы тоже не едем, — сказал Ицхакле, — сейчас нам надо побеседовать и решить, что делать. Ехать ли вместе в Париж и оттуда ты возвратишься обратно в Лондон, или же, а на этот случай есть специальный рейс поздно вечером, летишь в Израиль.

Не буду поддаваться соблазну и пытаться подражать эзоповскому языку Ицхакле. Это мне просто не по силам, да и нет в этом никакой необходимости. Во всем, что касается „французской папки”, решающую роль играл генерал де Транбле. Об этом мне стало известно впоследствии, дополнительные же факты были представлены другими источниками, и в основном адвокатом Ришаром Сапиром. Принимая это во внимание и желая избежать повторений, я изложу дальнейшие события так, как их видел де Транбле. Человек, первым нашедший связующее звено между Бергерзоном и Монтрэланом, человек, который открыл „французскую папку”, собрал для нее материалы, дал нам возможность пользоваться ею и наконец закрыл ее.

ГОЛОВОЛОМКА

Хотя он и обещал Раймону оставить Анри в покое и не ввязывать его в дело Бергерзона, пытливый ум генерала не мог позволить ему так просто выйти из игры, изменив своему долгу перед Францией.

В эти ноябрьско-декабрьские дни, сколь поздно вы не пошли бы спать и как рано не пытались бы встать, вам не увидеть рассвета. Отяжелевший от выпитого вина, переполненный рассказами о похождениях молодого Анри, генерал, отправившись спать в темноте, проснулся, когда за окном было все так же темно. И сразу, словно вымуштрованные адъютанты пришедшие с утренним докладом, встали перед ним те же вопросы, что вчера заставили его заняться историей семьи еврейского беженца Бернарда Бергерзона. Аристид Рошто, Эр Франс, различные исполнительные органы...

В комнате начинало постепенно сереть. Он расправил свои узкие плечи и почувствовал, как винные пары испаряются из него. Расчетливая и успокоительная мысль завладела им: хорошо, что я успел привести в действие все эти скрытые пружины прежде, чем рассказ о маленьком герое подполья так всколыхнул мою душу. Я обещал Раймону держать все про себя, однако не смогу выполнить этого обещания, не узнав сперва всех фактов. Даже после всего рассказанного Раймоном все еще остаются невыясненными целые двадцать лет.

В половине десятого де Транбле позвонил его друг, один из боссов Эр Франс, и сообщил, что он выполнил просьбу своего бывшего командира, и обещанные материалы находятся сейчас по дороге к нему. Де Транбле улыбнулся и позволил себе слегка пофилософствовать о том, как приятно иметь такие вот преимущества перед Роше. Ведь с того самого момента, как генерал вспомнил, где он видел этого человека, ему не давал покоя один простой вопрос: в среду, двадцать второго этого месяца, этот человек был в доме Раймона, когда и где он превратился в Бергерзона? Потом в аэропорту шофер купил лондонские газеты, и в одной из них генерал прочел интервью с таксистом, в котором тот, в частности, упоминал о „Камберленде”. Но только теперь, здесь, в Париже, и без всяких помех со стороны Роше, все наконец прояснилось. Двадцать четвертого в гостинице остановился некто, записавшийся господином Бергерзоном. В каждом офисе у де Транбле есть товарищ, коллега, знакомый, один из его бывших подчиненных. Это-то и дает ему известную фору, и хотя ее нельзя назвать честной по отношению к Роше, но зато именно она и определяет ту разницу в общественном положении, из-за которой этот никому не ведомый Клод Роше никогда не сможет обратиться к одному из руководителей Эр Франс с просьбой разузнать, какими билетами пользовался Бергерзон. Только он, генерал, может позволить себе так запросто попросить в качестве личного одолжения („достать из-под земли и до утра”) всю информацию об этих билетах на имя Бергерзона и/или Монтрэлана, по которым тот вылетел из Парижа двадцать четвертого или двадцать третьего и прибыл во Франкфурт двадцать восьмого. Да, лишь между старыми приятелями возможны такие отношения.

В десять часов прибыл посыльный с конвертом, в который был вложен ответ. Одной скрепкой были скреплены три обрывка телепринтерной ленты, и к ним приложена записка от друга. То, что открылось глазам генерала, потрясло его и вместе с тем привело в растерянность своей простотой.

На первой ленте были данные о билете, купленном Анри Монтрэланом в отделении Эр Франс в Женеве 15 ноября. Шестнадцатого он вылетел оттуда в Париж и двадцать четвертого в Лондон. Обратный билет тоже включал остановку в Париже, и конечным пунктом была Женева. Даты проставлены не были.

На второй ленте были данные о билете, купленном Х. И. Бергерзоном в отделении Люфтганзы в Цюрихе. И тут начинались сюрпризы. Билет был продан 3 мая, четвертого Бергерзон вылетает во Франкфурт, а оттуда четырнадцатого в Лондон. Однако обратным билетом — Лондон—Франкфурт—Цюрих — еще не воспользовались.

В коротенькой записке друг сообщал, что между 24 мая и 15 ноября никто по фамилии Монтрэлан не приобретал никакого другого билета на самолет, делающий посадки в Париже или Лондоне. Но с другой стороны, — и это был единственный намек на то, что этот верный товарищ и старый вояка прекрасно понял, о чем идет речь, — выяснилось, что он, Монтрэлан, покупал билет 16 ноября 1966 года в женевском отделении Эр Франс. Это и подтверждалось третьим обрывком ленты.

И вот, разложив перед собой три небольших кусочка ленты, генерал взялся за решение этой головоломки. Но уже довольно быстро в странной истории с билетами человека с двумя именами все встало на свои места.

Итак, перед генералом ясно вырисовывался весенний маршрут. Бергерзон, приобретя билет 3 мая, вылетает во Франкфурт четвертого, и оттуда четырнадцатого летит в Лондон. Там, воспользовавшись обратным билетом, купленным в Женеве в ноябре предыдущего года на имя Монтрэлана, он под этим именем 22 мая вылетает в Париж. И спустя три дня, то есть двадцать пятого, в Женеве круг замыкается.

Но это ответ всего на один вопрос. Остаются другие, не менее трудные: какие причины заставляют этого человека делать вид, что он полгода проводит в Лондо-

не? И почему он с таким постоянством придерживается одной определенной линии поведения, суть которой особенно четко проявляется после разбора осенних маршрутов. Даты вылетов в прошлом и в этом году, так же, как и даты приземлений, всегда разнятся на один день. Однако сравнение дней недели разрешает эту странную, казалось бы, загадку. В прошлом году он прилетел в Париж в четверг, 17 ноября. В этом году он вылетел 16 ноября и тоже в четверг. В прошлом году он прилетел из Парижа в Лондон в пятницу, 25 ноября, в этом году — в пятницу, 24 ноября.

Де Транбле не удалось достать копии прошлогоднего билета Люфтганзы, но все же он позволил себе предположить, что если человек этот собирался вылететь на этой неделе, 28 ноября, во Франкфурт, то то же самое он проделал и в прошлом году. И свой осенний маршрут завершил спустя примерно десять дней в Цюрихе. Можно также предположить, при условии, что у него нет больше других имен и маршрутов, что постоянную базу этого человека следует искать в Швейцарии. И тогда одна из основных целей его пребывания в Лондоне — это изменение личности и заматывание следов. Видимо, ему крайне важно скрыть связь между Парижем и Франкфуртом.

И все же остаются еще два вопроса: чем диктуется такая привязанность к определенным датам в его полетах и какова цель этих его круговых маршрутов?

Вчера, когда де Транбле впервые узнал о судьбе семьи еврейских беженцев из Франкфурта, он обратился к своему испытанному товарищу, который не раз уже снабжал генерала разного рода секретной информацией, известному коллекционеру художественных произведений Аристиду Рошто. Генерал знал, что у него имеются контакты со всеми более или менее заметными людьми новой Германии. Поэтому де Транбле просил „срочно сообщить мне все имеющиеся какое-либо значение детали о Х.И. Бергерзоне, предполагая, что в Висбадене находится папка с его делом о выплате репараций”.

И снова Рошто доказал, что он умеет работать быстро и эффективно, значительно быстрее государственных французских учреждений, к которым одновременно генералом был подан запрос о розыске имени Анри Монтрэлан во всех официальных записях, в которых оно должно было бы фигурировать. Как, например, в списках избирателей, налогоплательщиков, владельцев прав на вождение автомобилей, потребителей электроэнергии, лиц, имеющих прописку по месту жительства, и т.д. и т.п.

И немногим после полуночи специальный курьер принес де Транбле шикарный каталог „Аристид Рошто – новые приобретения”, между страницами которого был вложен запечатанный конверт со всеми требуемыми данными. Почти полная машинописная стенограмма всей папки.

Все те выдумки подростка Анри, рассказанные Раймону двадцать пять лет назад, все те вызывающие недоверие места в его рассказах – все это теперь превращалось в папке маленького еврея Хайнца Изидора в незыблемую, как скала, правду. И генерал повторял себе снова и снова, что он расследует не судьбу преследуемого подростка, а двадцать лет, насыщенных делами об измене и шпионаже, делами, в которых были замешаны (не будем отрицать этого факта) и преследуемые, и евреи. Да, и они тоже, даже в их собственном новом государстве, не говоря уж о тех странах, которые служили им всего лишь ночлегом. Поэтому, несмотря на всю кажущуюся правду об Анри, де Транбле не оставляли сомнения, и в особенности те параграфы закона о репарациях, на основании которых были выданы личные компенсации. Параграф 115, в соответствии с которым полагается компенсация за ущерб, нанесенный образованию в результате законов, принятых в том году, когда Хайнец пошел в первый класс. Параграф 180, в соответствии с которым определяется выплата за родителей, погибших неизвестно где и когда в период между 16 июля 1942 года и 8 мая 1945 года. Параграф 47 – устанавливающий цену каж-

дого месяца, прожитого с желтой звездой или под чужим именем и все время под страхом виселицы...

Позже де Транбле заметил, что именно это и послужило поворотным пунктом во всей этой истории. По этому поводу Раймон заметил, сказав, что, если он имел в виду перемену в подсознании, то он наверняка был прав. На деле же, и сознательно, генерал продолжал расследование еще быстрее и энергичнее.

В висбаденской папке де Транбле обнаружил очень важную для себя информацию о том, что поверенным Бергерзона в этом иске был парижский адвокат с явно еврейской фамилией — Сапир. И, не теряя ни минуты, генерал ему позвонил из своего номера гостиницы. В телефонной книге фигурировал всего лишь один адвокат с таким именем.

Генералу ответил усталый и хриплый мужской голос, по всему видно, человека, добывающего хлеб свой собственным горлом. С легким иностранным акцентом он ответил, что господина адвоката нет в офисе. Но как только де Транбле назвал свое имя, человек на том конце провода, смутившись, признался, что он и есть Ришар Сапир, и ответил так потому, что уже оставил адвокатскую практику, и такой ответ освобождает его от пространных объяснений. Генерал попросил позволения приехать к нему, и как можно скорее, на что Сапир ответил, что он почтет за честь самому подъехать к генералу. К удивлению де Транбле, он даже не поинтересовался о теме беседы, заметив только, что желательно было бы встретиться немедленно, так как в два часа дня у него назначена встреча — в составе какой-то общественной делегации — с несколькими сенаторами в Люксембургском дворце.

Ришар Сапир был небольшого роста. Первое впечатление, которое он производил, было не из приятных: расширяющееся книзу тело походило на громадную грушу, свисающее брюхо, широкие потертые штаны, склоняющаяся к плечам, будто требующая отдыха голова. Но за время беседы, а вернее, одних лишь экспансивных монологов старого адвоката, стал воз-

никать другой образ, находящийся в удивительном противоречии с его старческой тяжеловесностью: грустное выражение выпуклых глаз из-под усталых бровей, агрессивная, выдающаяся нижняя челюсть, прерывистое дыхание и тонкие длинные пальцы.

Правда, во всех его движениях, в облике, в голосе с едва заметным акцентом чувствовалась, на первый взгляд, какая-то наигранность, нечто такое, что присуще атмосфере зала судебных заседаний. И все же за внешностью этого холеного французского адвоката скрывался один из мудрецов Востока. И генерала, ответственного сотрудника службы безопасности, поразила вдруг мистическая мысль, что на него смотрит лицо из Ветхого Завета.

Месье Сапир не потерял самообладания, хотя и был, безусловно, потрясен, когда услышал от де Транбле, с какой целью тот хотел с ним встретиться. И Сапир начал рассказывать генералу про человека, который сейчас лежал в лондонской больнице, все, что знал сам. Но де Транбле, внимательно слушавший его рассказ, примечал и все, о чем тот умалчивал. Умалчивал не по злему умыслу, чтобы скрыть правду, а как раз наоборот, чтобы ее подчеркнуть, словно на сцене, где весь подтекст остается скрытым за игрой актеров.

С Бернардом Бергерзоном, рассказывал Сапир, отцом маленького Хайнци (так его называли дома до самого последнего дня, хотя мальчик требовал, чтобы к нему обращались исключительно как к Анри), он познакомился вскоре после их приезда во Францию. Все было крайне просто. Долгие годы он оказывал юридическую помощь еврейским беженцам, поэтому что же „могло быть более естественным для такого человека, как я, попавшего во Францию после погромов 1905 года, как не оказание этой помощи”. Старик сложил руки на животе, растопырив свои тонкие пальцы, и продолжил: „Что значит быть сыном эмигрантов из России в Париже, господин генерал, я не забыл, хотя и вряд ли забуду когда-нибудь все то хорошее, что мне дала Франция. Вершину своего успеха я вижу в том,

что я, Сапир, стою под знаменем свободы, равенства и братства и защищаю тех, на стороне которых один лишь французский закон и ничего болес. Таким образом, я быстро превратился в своего рода учреждение, где одних евреев-бедняков сменяли другие...”

— Так вы и познакомились с семейством Бергерзонов? — вернул де Транбле беседу к первоначальной теме.

— Именно так. Бернард был, возможно, на год, на два моложе меня, но в те годы, сударь, все мы были очень молоды. Бернард отличался какой-то особенной притягательностью, был образованным и очень красивым мужчиной, но при этом в нем было что-то трагическое. Мне рассказывали о нем, что его немецкий слог блестящ, и если бы не фашистская чума, он наверняка стал бы одним из самых известных публицистов в своей стране. А, может быть, он стал бы драматургом, у него была безудержная фантазия и какая-то необыкновенная способность схватывать самое существенное в человеке по его манерам и разговору. Но мне кажется, что он лучше всего преуспел бы в политической жизни, если, конечно, ему дали бы возможность жить этой жизнью... жить вообще. Кстати, и по-французски он писал и говорил отлично, но в Париже одним лишь знанием французского языка прокормиться непросто, а уж тем более еврейскому беженцу в 1939 году. Благодаря моим рекомендациям он получал различные подработки, писал брошюры, делал переводы, читал несколько лекций и редактировал какой-то листок. Но основным источником существования служил им тот небольшой капитал, который им удалось вывезти из Германии. И они с нетерпением ждали того часа, когда придет, наконец, сообщение о падении Гитлера. Об этом у нас, между прочим, велась постоянная дискуссия. Нацистское безумие казалось Бернарду дурным сном, и он отказывался идентифицировать всю Германию с тем, что мне уже тогда, господин генерал, казалось неминуемым результатом антисемитской традиции, которой столько же веков, сколько

христианству в Европе. Бернард отрицал этот мой подход в корне и продолжал верить, что „настоящая, истинная Германия” готова пробудиться каждую минуту, и доказывал мне это с той же легкостью как теорему Пифагора. Так это и было вплоть до июля 1942 года. Тогда их всех и взяли. Только Анри, у которого был ярко выраженный арийский тип, как и у его матери-красавицы Генриетты...

Де Транбле осторожно прервал адвоката и попросил его, пропустив период войны, перейти к послевоенным годам.

— Когда Анри возобновил с вами связь?

— Очень поздно, в конце 1957 года. Была, правда, одна встреча, если можно так ее назвать, сразу после войны, в 1946 году. Был какой-то большой парад, и на бульваре Сен-Мишель я заметил вдруг Анри. Он уже не выглядел подростком, а был юношей лет восемнадцати, но несмотря на это, я сразу узнал его. Я крикнул „Анри! Хайнци!”, однако он не остановился, делая вид, что не узнает меня...

— Почему?

— Он объяснил мне это в 1957 году.

Сапир описал, как однажды вошел к нему в контору мужчина лет тридцати, мускулистый и загорелый. И Сапир снова тут же его узнал — и не потому, что самого Анри невозможно было забыть, а потому что образ его отца и матери навсегда запечатлелся в его памяти. К чести Анри будет сказано, что он не стал притворяться и тут же заявил, что пришел с одной-единственной целью — возбудить иск о репарациях. И, хотя никто его об этом не спрашивал, рассказал, что после войны стал жить совсем другой жизнью, очень далекой от „всего этого”, очень далекой... При выходе из подполья, снабженный новыми документами на имя француза и христианина, он твердо решил жить новой жизнью. В тот день на бульваре Сен-Мишель, признался Анри, он прекрасно слышал крик старого друга своего отца, но „если уж порывать — то порывать!” Для чего же он явился теперь? Потому что и в новой

этой жизни нужно как-то жить, а у него, намекнул он, были тяжелые дни. Совершенно случайно он услышал, что в марте будущего года заканчивается срок подачи требований о личных компенсациях по закону о репарациях. После долгих колебаний он пришел к выводу, что, отказавшись от этих денег, а также от имущества семьи, единственным наследником которой он является, Анри тем самым накажет только самого себя. „Наказаний же я понесу еще достаточно”, — закончил он, криво усмехнувшись.

— Анри прекрасно знал, — произнес старый адвокат, — что эти слова ранят сердце такого человека, как я, который приложил столько усилий, правда, большей частью тщетных, чтобы помочь своим братьям-евреям. Но Анри даже и не пытался смягчить своих слов. Я пришел к вам, сказал он, потому что только вы сможете представлять мои интересы, не вызывая ни у кого подозрений, поскольку вы хорошо знаете, кто я такой и какова судьба моей семьи. Я пришел к вам еще и потому, что только вам одному я могу поставить условие, чтобы мое второе имя осталось в тайне даже для вас. В этом деле я хочу оставаться Хайнцем Изидором Бергерзоном, с небольшим опозданием вернувшимся с войны.

— Какова была моя реакция? — ответил Сапир генералу. — Первым побуждением было выставить его из конторы. Но я так не сделал. Древнее еврейское правило гласит: еврей, пусть и согрешивший, — остается евреем. Даже если он и откровенно признается в том, что пришел только ради денег, все же я видел в этом его приходе, каким бы ни казался он нелицеприятным, проявление еврейского духа. И если он, пусть даже и с определенной целью, не забывает своего имени и претендует на наследие своих отцов, то это значит, что хоть в какой-то степени его мучают еще угрызения совести, а исстрадавшуюся душу его с неудержимой тоской влечет к потерянному прошлому...

Опасений и сомнений было у меня более чем достаточно, — продолжал адвокат, — но я совершенно

сознательно абстрагировался от всего этого. С формальной стороны оговорки, сделанные Анри, были совершенно законны. И мы достали все требуемое для возбуждения иска, как-то: свидетельство о рождении во Франкфурте, свидетельские показания времен его преследований нацистами, документы об уничтожении его семьи, опись имущества и все прочее...

И теперь не только для немцев, но и для меня Анри или Хайнц останется навсегда сыном моего самого дорогого друга Бернарда. Два раза в год он звонит мне, и мы вдвоем обедаем в хорошем ресторане. Кстати, и ресторан этот и моя контора находятся недалеко от вашей гостиницы. И вспоминаем прошлое, те три, нет, четыре, года столь прекрасной дружбы между мною и семейством Бергерзонов. Теперь же, мой генерал, позвольте задать вам один вопрос: есть ли связь между вашим визитом в Париж сразу после авткатастрофы и вообще вашим интересом к этому делу и интересами государственной безопасности?

— При всем моем уважении к вам, мой друг, я не могу пока ничего сказать и тем более сказать правду.

— Коли так, позволю себе высказать мое мнение — все это чепуха!

— Нетрудно понять те глубокие чувства, которые вы испытываете к своему питомцу, но опирается ли ваше мнение на факты, которые выдержали бы экзамен у такого блестящего адвоката, как вы?

— Я вам не все рассказал. Однако моя уверенность в том, что Анри не связан ни с чем таким, что могло бы заинтересовать личность такого масштаба, как вы, господин генерал, покоится на другом. Хайнц, как я уже говорил, не является изменником никакой родины и не шпионит в пользу ни одной из держав. Это мечущаяся из стороны в сторону душа...

— Что же вы, месье Сапир, не рассказали мне?

— Итак, позволю себе взять на душу небольшой грех, чтобы снять с несчастного (это единственно верное определение этому человеку — несчастный) серьезное подозрение. Я знаю, сколько он всего полу-

чил, примерно 200.000 марок. У меня есть серьезные основания предполагать, что деньги эти он не использует на свои обычные расходы, как ни пытался он доказать это мне, а хорошо их вложил. Мне известно, например, что он является обладателем акций нового книжного издательства во Франкфурте...

— Издательство? — не удержался де Транбле. Они сидели в холле шикарного отеля, и стрелки старинных башенных часов напротив быстро приближались к тому моменту, когда этот старик вынужден будет поторопиться на прием в сенат. А именно сейчас-то и начинается самое интересное.

— Издательство „Бибер”. Года три-четыре назад он рассказал мне об этом и даже спрашивал совета по поводу своих взаимоотношений с какой-то женщиной, которая возглавляет это издательство. Сперва я не понял, почему он решил вложить деньги именно в это предприятие, но сегодня я знаю почему. Во Франции он тоже издает книги. Прошу поверить мне, что у Анри, может быть, и есть много секретов, но вас, прославленный генерал де Транбле, они едва ли смогут заинтересовать.

Генерал де Транбле прекрасно понял, что таится за этим неожиданным обращением „прославленный”, которое должно намекнуть ему, что старый хитрец отлично знает, с кем он разговаривает. Этим, видимо, и объясняется столь быстрое согласие его на встречу и упорство, с которым он настаивал на своем приезде к генералу. Но еще больше де Транбле тронула его безоговорочная вера в человека, все рассказы о котором только лишний раз подтверждают, что старику ровным счетом ничего не известно о его послевоенной жизни. Богатая практика этого опытного адвоката и весь его ум лишь с трудом скрывают сохранившуюся в нем детскую наивность, подумал про себя де Транбле, и вдруг у него возникло желание как-нибудь отблагодарить старика за этот его жест.

— Если вы, сударь, действительно убедите меня в том, что ваш подопечный просто чудак, по каким-то

причинам считающий необходимым выступить под несколькими именами, то дело будет сразу же закрыто. Я даю вам слово чести французского генерала.

— Генерала де Транбле, — тяжелая голова еще больше склонилась к плечу, усталые глаза все так же с тоской глядели из-под очков, но на выпяченной нижней губе появился некий намек на улыбку, — итак, ровно год тому назад, да, в ноябре, я по своему обычаю сидел в компании друзей в кафе „Селект”. Какой это был день, я не помню, но особая прозрачность того вечера запомнится мне на всю жизнь. На небе не было ни облачка, стояла теплая погода, и запах спелых каштанов манил меня, быть может, в последний раз. Вы ведь знаете, что для таких стариков, как я, каждый ноябрь кажется последним. Я сидел спиной к стене и лицом к улице, как вдруг на противоположном углу показался Анри. Он прошел мимо. Если бы вы, сударь, видели его в тот момент, вы почувствовали бы то же самое, что и я. Его гордая осанка и красота выделялись на общем фоне. На голове у него была каракулевая серая шапка, на плечи небрежно наброшена шуба, меховой воротник которой придавал ему облик принца или великого актера. Я не удержался и выскочил на улицу. И провожал его глазами до тех пор, пока он не вошел в „Ле Куполь”. Тогда только я заметил рядом с ним маленькую женщину, укутанную в плащ, издали похожий на потрепанное одеяло. Они прошли между столиками к стеклянной перегородке, и тут им навстречу поднялся человек, с которым у меня еще со времен войны были кое-какие дела. Это был тогда неизвестный и, прошу прощения, презренный адвокатишко, навозная муха, неизвестно чем промышлявшая в годы оккупации. После войны, когда появилась вся эта новая богема Сен-Жермен-де-Пре, он стал одним из главных ее подпевал. И довольно быстро он поднялся в гору, став юрисконсультом всякого рода деятелей кино, театра и литературы. Его имя Дуваль. И тогда мне стало ясно, что тут заключен ответ на вопрос, терзавший меня все эти го-

ды — что скрывается за французской личиной Анри? Да, господин генерал, это меня тогда очень мучило. Я не вернулся к своим друзьям и не вошел в „Ле Куполь”, как думал сделать сперва под видом случайного прохожего, а стал наблюдать. Но хотя я и знал, что смогу связаться с Дувалем и позже, все же не двигался с места. Примерно час сидели они, оживленно беседуя и просматривая какие-то бумаги, пока неожиданно Анри и его дама не встали...

Сапир замолчал, увидев, что к ним подходит один из служащих гостиницы. Он поклонился де Транбле и сказал, что его хотят видеть, чтобы лично вручить какой-то пакет. Спустя минуту в холле снова появился тот же служащий и следом за ним молодой человек в темном костюме. Он вручил генералу пакет, что-то пробормотал и ушел.

— Прошу меня извинить, — сказал де Транбле Сапир и, положив конверт на колени, стал слушать окончание рассказа.

— Короче говоря, они вышли, а Дуваль вернулся на свое место. Я подождал, пока Анри и его спутница скрылись на ступеньках лестницы, ведущей в метро, и только тогда вошел в „Ле Куполь”. Я подошел к Дувалю и прямо спросил его, как зовут человека, с которым он только что беседовал, человека, которого я знаю, но не помню откуда...

— Анри Монтрэлан, — прошептал де Транбле и, как бы скрывая тонкую усмешку, начал теревить запечатанный конверт.

— Разумеется! — не скрыл Сапир своего удивления, — но если вам все известно, о чем мне следовало бы догадаться заранее, то отчего же вы не прервали меня раньше?

Теперь и старик бросил взгляд на часы, вспомнив, что через полчаса ему надо быть на левом берегу Сены в Люксембургском дворце.

— Простите, сударь, но я перебил вас только для того, чтобы избавить от необходимости совершить хоть незначительный, но все же грех.

— А известно ли вам, что он является хозяином нового издательства под названием „Монад“?

— Нет, это мне неизвестно, признаю.

— Итак, для меня было важно проверить, правду ли мне сказал Дуваль. И я выяснил, что это за издательство, оно оказалось одним из тех, которые работают на тот особый сорт нынешней молодежи, объединенной в этакое всемирное сообщество босяков. А та маленькая женщина оказалась одним из их вождей, ее имя — Надя Дидье. Вот, собственно говоря, и все.

Де Транбле отвлекся, уставившись в лист бумаги, который он вынул из конверта. Воцарившееся молчание говорило о том, что там было написано нечто очень важное и заслуживающее больше внимания, нежели все, рассказанное собеседником генерала. И хотя молчание длилось не более нескольких секунд, тем не менее стало ясно, что разговор закончен.

Так, во всяком случае, показалось старому адвокату, и поэтому, когда генерал обратил к нему свой рассеянный взгляд и сказал: „Да, я согласен с вами, это дело не представляет больше интереса для государства, и вся шумиха, поднятая вокруг него, была излишней“, — то Сапир не знал, как понимать слова генерала. То ли действительно так, то ли — вежливый намек на то, что пора прощаться. Но Ришар Сапир был опытным и известным деятелем в еврейских кругах Франции, и несмотря на то, что стрелки старинных башенных часов напротив напоминали ему о необходимости срочно двигаться, он и мысли не мог допустить о том, чтобы упустить этот неожиданный случай, предоставляющий ему возможность завязать контакт со столь уважаемой особой в администрации де Голля. В тот момент, когда в телефонной трубке раздался голос человека, назвавшего себя генералом де Транбле, Сапир почувствовал, что это знамение свыше. И теперь он одной ловкой фразой изменил ход беседы. — Я не вправе опоздать на встречу с сенатором Мари-гэном и другими нашими благожелателями, начиная с понедельника, вся еврейская община находится в

состоянии шока, и мы собираемся выяснить, является ли голос президента также и голосом Республики...

— Сенатор Маритэн? — удивился де Транбле. — Ведь мы с ним старые друзья...

— Позвольте мне заметить вам, господин генерал, — перебил старик, расчувствовавшись, и склонился к генералу, беря его своими тонкими пальцами за рукав, — что за последнюю неделю мы не слышали еще голосов тех, кто зажег факел свободы в те мрачные дни...

— Самые мрачные во всей истории Республики, — тихо повторил де Транбле, покачивая головой.

— Я не боюсь погрешить против истины, но мы снова видим черные тучи в небе Франции. Слова, произнесенные де Голлем в Елисейском дворце, так схожи со словами тех, против кого он сам поднял двадцать семь лет назад Лорренский крест!

— То, что сенатор Маритэн может высказать публично, я обязан пока что хранить у себя в сердце.

— Но неужели борющаяся и благородная Франция промолчит, когда поносят народ, весь грех которого состоит в его упрямом желании выжить и защищать свою жизнь на поле боя с оружием в руках?! Неужели эта Франция промолчит?!

Де Транбле молчал. Сапир остался сидеть еще мгновение, глядя в глаза генералу, затем встал и хмуро попрощался. Де Транбле взял под руку своего гостя и так проводил его до самого такси, а когда швейцар открывал дверцу машины, де Транбле сжал в своих сухих ладонях тонкие пальцы старого еврея и пробормотал что-то, что дошло до Сапира, лишь когда он мчался уже к Сене и к бульварам восточного берега.

— Считаю честью для себя познакомиться с вами. Благодаря вам я лучше узнал Хайнца Изидора Бергер-зона. Узнать же Анри Монтрэлана в истинном свете помог мне человек, к которому вы сейчас едете. Когда я, а это случится скоро, уйду в отставку, то почту за честь видеть вас в моем доме. Друзья Раймона — мои друзья.

АНТРАКТ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Вернемся на Ауто-рот, по которой мы с Ицхакле ехали по направлению к Фонтенбло. Удивительно, но именно этой дорогой я и Кари проезжали на прошлый Песах, направляясь к чарующим замкам в долине Луары, чтобы отметить этим запоздалым свадебным путешествием двадцатую годовщину нашего знакомства. А после десяти безмятежно проведенных там дней мы внезапно очутились в атмосфере надвигающейся катастрофы, предшествовавшей Шестидневной войне. Сейчас я не мог определить, как далеко на юг мы заехали, — за окном была беспросветная тьма. На следующем повороте, сказал Ицхакле, мы свернем, и если я не ошибаюсь, дорога поведет вдоль леса, пока не упрется в курортный городок. Тут снова проявились халуцианские наклонности Ицхакле: хотя на самом-то деле он любил городской шум, общество людей и хорошие рестораны, тем не менее Барбизон оставался для него воплощением прекрасной идеи — природа, первозданность и так далее в том же духе.

Мы въехали на слабоосвещенную, неширокую улицу одного из тех французских городишек, которые лучше всего характеризуются словами „раз-два и проехали“. Дома с потрескавшейся штукатуркой, узкие и высокие жалюзи на окнах, как в сельскохозяйственных колониях, основанных в свое время бароном Ротшильдом в Эрец-Исраэль, мощеная площадь, которую окружают здания всех важнейших учреждений города,

и одинокая тусклая лампочка, освещающая вход в гостиницу-ресторан „Грас де Дье”. Теперь я убедился, что я действительно во Франции.

— Перст Божий, — провозгласил Ицхакле, — представь себе израильский ресторан, который назывался бы „Бе-эзрат ха-Шем”.* Тут мы подкрепим наши силы и бросим жребий.

Мы сложили воедино все известное каждому из нас, но все равно нам не доставало еще целых кусков его жизни. А, главное, — для нас оставались загадкой его побуждения. Правда, Ришар Сапир был твердо уверен в том, что впервые де Транбле услышал о посещении еврейской делегацией сенатора Маритэна именно от него, Сапира. И поэтому фраза растрогавшегося генерала о знакомстве друга своей молодости с Анри Монтрэланом была естественной реакцией на слова старого еврея. Однако мне и Ицхакле эта версия казалась весьма сомнительной, мы склонны были предположить, что скорее всего вся эта игра была в деталях продумана де Транбле заранее. Двойная жизнь Бергер-зона—Монтрэлана, предполагали мы, едва ли является новостью для французского II отдела, но в нынешней ситуации ухудшение отношений с Бонном, которое могло бы повлечь за собой это шпионское дело, явно не входило в расчеты Елисейского дворца. К этому следует добавить, что человек, пребывающий сейчас в бессознательном состоянии, возможно, жил определенное время в Израиле и является обладателем израильского паспорта. И второе, сенатор мог действительно не знать, что его протеже — французский агент, действовавший в Западной Германии.

А если эти предположения верны, рассуждали мы, то роль де Транбле сводилась только к тому, чтобы расставить действующих лиц по местам. Он пригласил Ришара Сапира якобы за тем, чтобы выслушать от него то, что и так прекрасно известно II отделу, а на самом же деле для того лишь, чтобы произнести ту самую

*С Божьей помощью (иврит).

будто бы случайную фразу, целью которой было направить старика к произраильски настроенному сенатору.

В то же самое время генерал сообщил по секрету Маритэну, что его протеже — никто иной как израильский шпион, в надежде, что этот секрет наверняка будет тут же разглашен. А уж далее, строил свои расчеты де Транбле, события непременно примут нужный ему оборот: во время встречи в Люксембургском дворце Сапир обязательно передаст привет от де Транбле (каждое новое влиятельное лицо, знакомством с которым он может похвастаться, только поднимает его престиж) и добавит, что ему известно, сколь глубокие чувства связывают генерала и сенатора с тем человеком — еврейским мальчиком, распятым на Голгофе Европы.

Сенатор, удивившись, спросит от кого он такое слышал. И тогда Сапир растерянно пробормочет что-нибудь о случайно вырвавшейся фразе генерала. Но сенатор, отлично зная характер своего друга, который никогда не кидает слов на ветер, сразу поймет, что в действительности хотел сказать генерал. Что это отнюдь не случайная фраза, а, наоборот, она должна достигнуть ушей израильтян и послужить им своего рода предупреждением. И еще следует не забывать, что буря, вызванная словами президента Республики, произнесенными им три дня назад, усложнила и без того запутанное положение нашего друга-сенатора. Обе палаты этого кастрированного парламента бесильны перед старым автократом — а тут подворачивается подходящий случай, чтобы хоть как-то искупить это новое предательство по отношению к евреям. И сенатор не сдерживается, уводит смущенного адвоката в какой-нибудь дальний угол и, ссылаясь на самые достоверные источники, намекает, что этот еврейский мальчик — „и я не нахожу определения более точного, нежели сделанное вами, сударь”, — мальчик, распятый на Голгофе Европы, подозревается в шпионаже в пользу Израиля. Очевидно, он чем-то выдал себя

во время автомобильной катастрофы и, кто знает, не является ли она, как это часто бывает в подобных случаях, началом конца. План де Транбле действовал великолепно: то, что Анри в свое время рассказал о своем решении порвать с еврейством, представится сейчас Сапиру в новом, трагическом свете (не тут ли скрыта истина, подумали мы с Ицхакле), и он поспешит сообщить об этом израильтянам.

И тогда-то настанет наша очередь в театре марионеток де Транбле. В тот момент, когда мы начнем действовать, — а это мы уже сделали, — мы предоставим II отделу доказательства, после чего можно будет подsunуть всю эту галиматью немцам. Вот и весь его сценарий.

Свою эрудицию в Священном Писании Ицхакле приобрел на учительском семинаре, а в Париже он стал крупным специалистом по маленьким забегаловкам и по спесиалитэ*, которые можно раздобыть в изысканных бистро Парижа. Израильтяне, на долю которых выпадало счастье провести вечер с Ицхакле, долго пребывали потом в состоянии глубокого шока от всех тех райских прелестей, которыми награждал их Ицхакле. И рассказывали об этом с большим даже азартом, чем об обязательном посещении Пляс Пигаль. После короткой профессиональной беседы с шеф-поваром „Грас де Дье” он выбрал блюдо, которое, быть может, и не отвечает утонченным вкусам парижских гурманов, но зато и ошибиться в нем нельзя — это был ирландский овечий суп а ля Прованс.

— Наши трудности на этом не кончаются, — вернулся Ицхакле к прерванному разговору, — выстроенная нами хитроумная модель объясняет, правда, некоторые из его французских делишек, но ничего не говорит о нем самом, этом душевнобольном, у которого имен столько же, сколько у Итро, биографий, как у шизофреника, а женщин не меньше, чем у царя Соломона. Не есть ли его связь с Израилем только лишь

*Специализированный кофе.

фантазией де Транбле, или действительно в этом что-то есть? Мы-то думаем, что этот еврейский мальчик взошел на Сион с ликованием и низвергнут был обратно в Париж с песнопениями. Но коли это так, так должны же остаться записи в книгах, что такой-то прибыл в страну на основании Закона о возвращении тогда-то и получил удостоверение личности за номером таким-то. Итак, да будет тебе известно, что дело это все еще достаточно запутано. На свой запрос, посланный сразу же после того, как Бергерзон и Монтрэлан воссоединились в одно целое, я получил из Израиля ответ с беспрецедентной в истории еврейского народа быстротой. Йок*. Никакой Бергерзон или Монтрэлан не въезжали в страну и не выезжали из нее, но это, хабиби**, просто невероятно. Если не найдется никаких подтверждений нашему предположению, что он израильтянин, то вся блестящая модель де Транбле рухнет, как карточный домик. Не будет объяснения словам сенатора, сказанным им на приеме старому адвокату, и невозможно станет объяснить, каким образом попала израильская газета в карман вельветовых штанов нашего героя. Но еще хуже — что нам делать с международными связями главной редакторши издательства „Монад“, мадемуазель Надей Дидье?!..

— Ты уже успел связаться с издательством „Монад“? Когда? — Только сейчас я заметил, как он построил свой рассказ: этаж за этажом. Когда мы с ним встретились, я рассказал ему о своей попытке связаться с издательством „Монад“, но он никак не прореагировал на это и до самого последнего момента не выдавал себя даже намеком. Я, едва сдерживая в себе гнев, пробурчал: „Понимаю, ты оставил мне это на десерт...“

— Ты познакомился с кремом „Бавария“, я — с суфле „Фламбе-Брум“. Я позвонил в издательство,

* Йок (тур.) — нет, в том же значении принято в израильском жаргоне.

** Хабиби (араб.) — приятель, дружище.

попросил госпожу Дидье и отрекомендовался как старый друг Анри, который еще до моего отъезда в Ханой дал мне этот номер и посоветовал, когда я вернусь, позвонить по нему. Нет, нет, поспешил я разъяснить ей, я не журналист. Я кочевник. Да, именно кочевник. Я кочую в основном по Индокитаю, по этому прекрасному полуострову, который прямо на наших глазах превращается из рая в ад. Убей меня, Авнер, не знаю, как я додумался до всего такого. Но я чувствовал, как на другом конце провода разгорается огонь, и огонь этот раскаляет трубку в моей руке. К сожалению, ответила мадемуазель Дидье, в два часа ко мне придут друзья и увезут меня в свой загородный дом до конца недели, если бы не это, я непременно встретила бы с вами еще сегодня. Может быть, в понедельник?.. О, в понедельник, вздохнул я, я лечу в Алжир. Но не беда, вернусь весной, — этой зимой я отдаю себя на растерзание солнцу, — и снова позвоню вам. Не может быть и речи, произнесла она, сгорая от любопытства, а чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас всего десять часов. Я весь в вашем распоряжении. Не скрывается ли за именем Надя, добавил я, ваше русское происхождение? Да, ответила она, моя мама эмигрантка. Чудесно, ответил я, буду весьма рад отобедать с вами „У Жоржа“. От „Монада“ до улицы Мазарэн это всего пять минут ходьбы... Короче, мы встретились!

Кастрюлю с ирландским супом мы прикончили раньше, чем Ицхакле кончил рассказывать про свою встречу с мадемуазель Дидье. Он обрисовал ее как женщину невысокого роста, слишком худощавую на его вкус, и одержимую какой-то лихорадкой, может быть, русской, может быть, французской, а, может быть, просто лихорадкой восточного берега Сены, о которой она сама упомянула, сказав, что прошло уже больше двадцати лет, как она впервые переступила порог „Де Маго“. Представь себе, сколько же ей должно быть лет, но тем не менее, эта бурлящая и энергичная женщина еще далека от увядания. А как загоре-

лись ее глаза, когда она стала вспоминать свою первую встречу с Анри — недалеко от этого места, где мы сейчас с вами сидим, чуть ближе к Сен-Жермен-де-Пре, в джазовом подвальчике, бывшем тогда центром вселенной. С каким пылом описывала она совершенную красоту девятнадцатилетнего юноши, с которым тогда только что познакомилась. В ее узком лице, в мальчишеской прическе и в небрежной одежде, во всем том, что призвано подчеркнуть независимость, свободу и молодость, рассказывал Ицхакле, я видел Надю тех лет, тогда еще гибкую, розовощекую и ищущую. Она хотела найти своего идола, стать его жрицей, наложницей или пророчицей, будучи уверенной в том, что весь мир только и жаждет поскорее услышать, что она ему возвестит. Она и сейчас такая, разве лишь с учетом прибавившихся двадцати лет. Говоря об овеванном славой подполья Анри, об этом дитя рая, о прирожденном герое, она рассказывала, на самом деле, про свою юность. Сколько времени продолжалась тогда их дружба? Год, месяц, а может быть, она и не прекращалась вовсе. Анри, по ее словам, всегда предупреждал ее: „Я упал с другой планеты, и дом мой там, где меня сейчас нет”.

Странно, но несмотря на насмешливый тон Ицхакле, я чувствовал, что эта женщина, не пропустившая за последние двадцать лет ни одного сколько-нибудь важного события, — будь то марши протеста против атомной бомбы или кока-колы, сборы подписей за прекращение войны в Корее или против русской интервенции в Венгрии, — буквально пленила его. Он изобразил мне ее восторг от „культурной революции”, сотрясающей сейчас Китай, и ее наивную веру в крестьянина-солдата-поэта-философа Мао, нашедшего решение столь многих проблем. Решение, приемлемое пока еще только для Китая, но в скором будущем оно станет возможным и во всех чучельных бюрократиях от Сан-Франциско до Владивостока, которые будут сметены могучим ураганом. Эти слова Ицхакле произнес как-то по-особому гнусавя, будто желая тем са-

мым еще больше подчеркнуть их смехотворность. Но все же удивительно, почему он так долго распространяется на эту тему, когда единственной целью разговора было выудить из Нади все известное ей о человеке под именем Анри Монтрэлан. Надя Дидье, заметил Ицхакле, выглядит сейчас так, будто она в расцвете второй молодости, и что, наконец-то, годы ее юности в Сен-Жермен-де-Пре обрели настоящий смысл. Буря, которая вот-вот разразится в Вашингтоне, Берлине, Варшаве, Праге, Москве и в Париже, да, да и в Париже тоже, станет расцветом ее обновившейся молодости...

Я посмеялся вместе с Ицхакле. А все же, подумал я про себя, то, чего мы не договариваем, не скроешь. Вот сидит передо мною мой близкий друг, сверстник, — седина рано посеребрила его голову, взлохмаченные волосы зачесаны к краям начинающейся лысины, а в помутневших от ирландского супа а ля Прованс и от вина „Бужоле” глазах горит огонь желания. Его мечта была стать еврейским учителем где-нибудь в Рош-Пине или Хартуве, а пришлось превратиться в завсегдатая парижских бистро, в которых он разбирался так же хорошо, как ученик иешивы в тропинках Нехардеи. Вот сидит передо мною мужчина, переваливший уже за сорок, здравомыслящий и умудренный жизненным опытом. Нетрудно было представить его, да и меня тоже, одурманенного встречей с некоей Надей Дидье, сорокалетней девушкой, мимо которой пронеслось столько событий, и воскуривающей фи-миам „красным гвардиям” Мао и „детям цветов” Эшбори-энд-Хейт. Именно так, может быть, подумал я, вернулся к ней Анри Монтрэлан.

Анри, рассказала она, вернулся с той же внезапностью, с какой исчез незадолго до того, как алжирский кризис снова поставил у власти де Голля. Надя была в то время активисткой в кампании против зверств парашютистов и „черноногих” по отношению к борцам за свободу, и тогда, между прочим, приобрела свой первый издательский опыт. И вот в той обстановке не-

прекращающейся борьбы появился вдруг Анри, таинственный, прекрасный, тридцатилетний. Где он пропал? Весной 1947 года, будучи на Лазурном берегу и участвуя там в съемках, рассказывал Анри, ему вдруг все опостылело, и он взял да и уехал в Бангкок. Ни войн, ни революционной болтовни, ни „авангарда“, ни Монте-Карло — лишь вечное спокойствие реки, еда, которую ты срываешь с деревьев и вынимаешь прямо из воды, размеренность смены дня и ночи, лето круглый год, украшенные цветной мозаикой храмы и смеющиеся лица. Он рассказывал, как объехал весь Индокитай, просиживая целыми днями с монахами в желтых балахонах, как торговал в Гонконге, потом вернулся в Сайгон, заработал немалые деньги, но в конце концов тоска по Парижу осилила его. И с тех пор, горько вздохнула Надя, он появляется раз, иногда два раза в год, всегда неожиданно, однако эти короткие отрезки времени с Анри для нее все равно, что общение с человеком с другой планеты. Между прочим, так она его и называет — мой Гагарин... „О! — передразнил Ицхакле взрыв чувств, вызванный водкой, икрой и „Бужоле“, которым она запивала бефстроганов, — только теперь, сидя с вами „У Жоржа“, все волшебные сказки Анри превращаются в действительность, ведь вы, милый Исай Ильич, дороги для меня не только тем, что встречались с Анри в Сайгоне, но я чувствую, что вы еще и настоящий коробейник...”

Невозможно было удержаться от смеха. Писатель А.А. Друшкин, отец Ицхакле, был среди репатриантов, прибывших на борту известного судна „Руслан“, и невзирая на то, что он принадлежал к кругу рыцарей иврита, дома у него безраздельно властвовали жена и русский язык. Поэтому мне нетрудно было предста-

* Корабль, на котором 20 декабря 1919 г. прибыло в страну 670 новых репатриантов из России, многие из них стали впоследствии видными деятелями в ишуве. Эти новые репатриачты прибыли под видом бывших жителей Эрец-Исраэль, изгнанных турками в Египет и возвращающихся теперь обратно после освобождения страны англичанами.

вить тот спектакль, который Ицхакле разыграл перед дочерью белоэмигрантки. Но вот помнит ли он, зачем мы, собственно говоря, сидим в „Грас де Дье“?

Все это, улыбнулся Ицхакле, Надя рассказала как бы между прочим. А главное, что Анри, как она сообщила, был в Париже на прошлой неделе, сейчас же он в Лондоне, откуда должен отправиться в Токио и Гонконг. Он полон смелых издательских планов, ибо книга снова стала могучим оружием в руках революционно настроенной молодежи. И подобно связям, которые издательство „Монад“ завязало уже во Франкфурте и в Лондоне, он попытается сделать то же самое в Америке и на Дальнем Востоке. Сейчас издательство готовит серию книг, посвященных борьбе малых народов за освобождение, и поэтому, очевидно, Анри предложил мне связаться с издательствами этих стран. И тут, наконец-то, сама по себе, без всяких намеков с моей стороны эта экзальтированная сорокалетняя девица упомянула об Израиле — маленьком, героическом Давиде, победившем филистимлянского Голиафа.

— Такую книгу я бы и сам хотел написать! — взволнованно произнес я, но, вспомнив, что всего пару часов тому назад рассказывал ей о моих алжирских планах на ближайшую зиму, поспешно добавил, — с революционной точки зрения, разумеется. Принимая во внимание опыт моей вьетнамской эпопеи, я мог бы не так уж плохо справиться с задачей, но с другой стороны, Израиль...

Тут Надя перебила меня, заявив, что в отношении всего, что касается контактов с израильскими издательствами, она уже связалась, по совету Анри, с известным тель-авивским книгоиздателем, с которым Анри познакомился на книжной ярмарке во Франкфурте...

— Ах!.. — вырвалось у меня.

— Счастлив, имеющий терпение, — нравоучительно произнес Ицхакле и продолжил свой рассказ. — Я никак не отреагировал, сказав только, что за время пребывания в Алжире я должен буду привести в поря-

док свои вьетнамские записи, а потом начну собирать материал для следующей книги. Весной же, а может быть даже именно сейчас, стоит нанести свой первый визит в Израиль... И Надя по собственной инициативе предложила мне записать имя и адрес того тель-авивского издателя...

— И, по-твоему, это и есть нужный нам человек?

— Ессе Номо!.. Я проводил ее до конторы, которая представляла собой всего-навсего небольшую комнатку в квартире неподалеку от Одеона...

— И в ее словах ты не различил никакой горечи от таинственных исчезновений и появлений этого ее друга?

— Для Нади нет ничего более привлекательного, чем такой таинственный мужчина, дважды в год падающий с другой планеты прямо к ней в постель. Наш герой изворотлив, как лисица, и умен, как черт, он гениальный комбинатор, не оставляющий без внимания ни одной детали. Он не только постарался сделать так, чтобы во всех выдуманных им биографиях не было ни одной точки соприкосновения, но и деловые связи между каждым из своих обликов оформляет с наименьшим риском раскрытия. Факт остается фактом, до сих пор мы не знаем, какова цель основанного им книгоиздательского интернационала и чьи интересы он представляет. Объяснить это нашим шефам в Израиле с помощью зашифрованных телеграмм просто невозможно. Они там подумают, что мы оба, не приведи господи, свихнулись. И чем настойчивей мы себя поведем, объясняя им в чем суть дела, тем большее недоумение это у них вызовет, не говоря уже о том, что внимание шифровальщиков всего мира будет привлечено к нам.

— Короче говоря, ты уже решил, что этой ночью я лечу в страну.

— Наоборот, мне самому чертовски хочется лететь, но, зная тебя, я заранее отказался от этой мысли. Ведь ты начнешь утверждать, что имеешь больше прав на то, чтобы посмотреть Большой Израиль. — Мы одно-

временно посмотрели на часы. Было 8.10. — Я устроил тебе билет на рейс, которым летит группа католических паломников. Свято и надежно. Когда колеса самолета коснутся посадочной полосы в Лоде, тебя встретит субботнее утро.

— Хорошо, только с аэродрома надо будет позвонить в Лондон.

— Что ж ты думал, что я не сообщу Кари, куда ты пропал?

— Однако ты забываешь еще про одну женщину.

Тетушка сразу же узнала мой голос, но, как старый и опытный разведчик, ни разу за всю беседу не упомянула моего имени. Мне показалось, что своими продолжительными паузами она пыталась дать мне понять, что ее телефон прослушивается. Поэтому я ей ничего не сказал, кроме того, что вернусь в Лондон через несколько дней, а пока советую начать подготовку к осуществлению ее плана. Поскольку она сразу же заявила, что все поняла и сделает так, как я ей советую, я постарался намекнуть, что не стоит разглашать ни немцам, ни кому бы то ни было другому, где именно будет находиться Хайнци после выхода из больницы. Нужно, сказал я ей, чтобы все это мероприятие носило исключительно частный характер, и только ближайшие родственники и лучший ученик ее покойного супруга были бы допущены к больному. Ее быстрая реакция („это также и мое мнение, и в любом случае ничего не будет сделано без вашего присутствия“) свидетельствовала, что добрая тетушка из Свисс-коттеджа прекрасно меня поняла и в ближайшее время обратится к профессору Хартклиффу с просьбой принять Хайнци в своей клинике в Сассексе, но не начинать курса лечения до моего возвращения. Она не спросила ни откуда я звоню, ни что послужило причиной моей внезапной поездки, и вообще, все ее поведение говорило о том, будто она состоит у меня на службе. Но сколь ошибочно было это мое впечатление: недоверие этой одинокой старухи ко всему окружающему миру и непоколебимая уверенность

в невинности Хайнци были причиной того, что она видела во мне своего агента. И горе мне, если оправдаются те подозрения, проверять которые я лечу этой ночью в Израиль.

О ЧЕМ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДУМАЛ ГЕНЕРАЛ

В предыдущей главе я рассказал о беседе между мной и Ицхакле и о выводах из нее, основывавшихся на информации, которой мы к тому времени располагали. Надо подчеркнуть, что израильскую нить нашей версии нам протянул генерал де Транбле. И то, что, казалось, должно было принести нам лишь новые неприятности, направило все следствие по другому руслу. Но, размышляя в одиночестве о построенной нами „модели“, я увидел, насколько она шатка. И как только мне представилась возможность, я спросил об этом самого генерала де Транбле. Поскольку дело, началом которому послужила автомобильная катастрофа в окрестностях Лондона и заинтересовавшее столько стран, близится уже к своему завершению, стоит здесь рассказать, чем в действительности руководствовался де Транбле, когда он после того, как ему принесли запечатанный конверт, как бы нечаянно „проговорился“ Сапиру. Это должно будет объяснить, почему мы, сами того не замечая, оказались вдруг по ту сторону водораздела и почему вся эта история приняла совершенно другое направление.

Итак, в конверте была обстоятельная телеграмма, которую послал в центр в Париже полковник Роше. И хотя он, предпринимая эту свою инициативу, совсем не имел в виду, что она попадет в чужие руки, тем не менее центр решил переправить ее генералу. Даже прежде, чем вникнуть в ее содержание, де Транбле

бросилась в глаза ее многословность. Не каждый день этому заносчивому кролику удается порычать польвиному. Категорический запрет не прикасаться к делу человека в бессознательном состоянии не распространялся на дипломатические приемы. Поэтому ничто не могло остановить Роше, отправившегося на прием, устроенный югославами двадцать девятого ноября по случаю дня провозглашения Социалистической Федеративной Республики. А когда полковник Стивенсон из британской контрразведки предложил ему стаканчик сливовицы — разве мог он отказать? И с этого момента Роше попросту выполняет свой долг, информируя начальство. За это уже никто не станет его порицать. Без всякого повода с моей стороны, отмечает Роше, англичанин начинает делать политические намеки, о которых я и довожу до сведения начальства. Первым делом англичанин предложил выпить за славу французского оружия, и тут же весьма нетактично, — об этом его качестве, отсутствии такта, известно всем знакомым Стивенсона, — добавил, что будь здесь израильский военно-воздушный атташе, он непременно присоединился бы к этому тосту, ведь именно благодаря французским „миражам” его страна добилась столь убедительной победы. Второе замечание Стивенсона касалось отсутствия на приеме западных немцев. Он заметил, что сотни тысяч югославов приводят в движение немецкую промышленность, а сотни немецких нудистов загорают на берегах Адриатики, — факт, отражающий политическую действительность намного лучше, чем этот нудный дипломатический прием. Тем более, что даже птицы на деревьях щебечут о том, что установление полных дипломатических отношений между Бонном и Белградом является делом считанных дней.

Тут Роше извинился, заметив, что он так подробно передает болтовню Стивенсона только для того, чтобы стало ясным, в каком контексте тот высказал несколько весьма странных замечаний, на которые он, Роше, обращает внимание Парижа. Вчера вечером, сказал Сти-

венсон, германский генеральный консул пролепетал что-то о какой-то катастрофе. Слышал ли об этом Роше? „Да, я слышал, — процитировал сам себя Роше в телеграмме, — но не заметил в этом ничего такого, что могло бы оправдать почтовые расходы”. На это Стивенсон ответил конским ржанием и заявил, что французы правильно делают, не обращая внимания на эти булавочные уколы, ведь „в конце концов все мы плывем в одной лодке, не считая собаки, как выразился Джером К. Джером...” Ясно, что под сидящими в лодке он имеет в виду три державы, но кто же собака? („И все это, представьте себе, в зашифрованной телеграмме”, — рассказывал позже де Транбле.) Стивенсон оставил без ответа мой вопрос, но спустя некоторое время взял меня под руку и повел к выходу. Во время нашей прогулки под дождем он рассказал, что вмешательство Парижа в дело этого несчастного, лежащего в больнице Эксбриджа, поставило правительство ее Величества в крайне неудобное положение и что ему, кроме того, известно, что Бонн сделал серьезный выговор фон Штойсселю за его безответственную болтовню. И весьма возможно, что его дни в Лондоне сочтены. Тут Роше, подчеркивая как бы самую важную часть телеграммы, цитирует Стивенсона: „Наша разведка убеждена, что человек этот не состоит на службе у французов. Она также убеждена, — и это я вам сообщаю под строгим секретом — что он также не немецкий агент. Один из моих коллег сообщит об этом как можно скорее немцам в той же дружеской и неофициальной форме, как это и должно быть при существующих между нашими странами отношениях. Ясно, что третья пассажирка лодки — Британия — тоже никак не связана с этим делом. Остается, стало быть, только собака. Неопровержимых доказательств у нас нет, но я должен вам сказать со всей откровенностью, — мы и не ищем их. И вообще, нас не интересует все это дело”. На этом Стивенсон попрощался с Роше, но не Роше с телеграммой. Теперь он вернулся к разъяснению стивенсоновского замечания

о „израильтянах, обязанных своей победой французским „миражам” — намек в духе Стивенсона на то, кем в действительности является эта „собака”.

Что же касается моего личного пса, заметил де Транбле, то его приемы мне давно известны. Телеграмма была послана для того, чтобы оправдать невыполнение прямых инструкций и объяснить, как это он отважился использовать мое отсутствие для предпринятия своих, не оговоренных со мной, шагов!.. Во всяком случае, продолжил свою повесть Роше, он почувствовал себя обязанным проверить информацию, которую Стивенсон столь услужливо ему предоставил. Соблюдая все правила конспирации, он посетил больницу Эксбриджа и обнаружил там, что Бергерзон является еврейским беженцем и что какая-то женщина под охраной молодого израильтянина выдает себя за тетушку пострадавшего. Таким образом, личность этой „собаки” представляется ему установленной. Но, подчиняясь указаниям из центра и лично генерала („экий ханжа”, — усмехнулся де Транбле), он ограничивается этим докладом и ожидает новых указаний.

Так, объяснял мне позже де Транбле, созрело в нем внезапное решение направить еврейского адвоката к своему другу-сенатору, а параллельно позвонить Маритэну и рассказать тому, что нужно прошептать на ухо Сапиру.

— Не опасался ли он тевтонских моментов в той игре, которой он подверг израильтян? — спросил я де Транбле в той беседе. — Ведь запущенная рука могла наткнуться на раскаленное железо.

— Там, где мы остановились, — ответил он, — мы были похожи на утомленных сынов Израиля в пустыне. Возврат обратно ко лжи был бы сейчас не менее тягостен, чем путь к истине. И разве легче пересечь эту пустыню дважды? Сегодня-то я знаю, что уже тогда я проникся мыслями старого адвоката и моего друга Раймона, но сделал только то, от чего нельзя было отвертеться. И я молился Богу.

ОБРАТНО, К ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

21 — это число пронеслось у меня в голове, когда декабрьская ночь гасла с неестественной быстротой и рассеивалась последней зарей месяца хешван над берегом Эрец-Исраэль. Двадцать один год. И в это субботнее утро в самолете, полном французских паломников, после бесчисленных взлетов и посадок я почувствовал, как комок подошел к горлу, точно как в то мое первое отплытие в один из дней между Йом-Киппур и Суккот, отплытие, которое так резко рассекло мою жизнь на две части. Двадцать один год весь мир ограничивался для меня тем, что сейчас можно охватить одним взглядом из иллюминатора самолета: от пляжа Гордон* до Иудейских гор, от Хадеры до Гедеры, поход „от моря до моря” по Галилее, восхождение на Масаду и киббуцы там да сям. Полжизни. А после того дня месяца тишрей 5707 года на борту „Пиреоса”, — невероятно, но факт, — началась непрерывная цепь отъездов и приездов, и так на протяжении двадцати одного года. Изо дня в день корабли, поезда, автомашины, люди, порты, вокзалы, аэродромы, гостиницы — иногда дешевые, иногда шикарные, — люди, пограничные шлагбаумы, мосты, горы, леса, дороги, реки, люди, языки, климатические пояса, церкви, музеи, кафе, люди, люди и еще много и много людей — и все это мелькает в мозгу, словно диапозитивы. Кажется,

*Пляж в Тель-Авиве.

что перед тобою разворачивается биография чужого человека, а не твоя собственная жизнь.

Паломники возбужденно носятся по самолету, собирают свои вещи, забрасывают вопросами двух семинаристов, своих гидов по Святой Земле, снова усаживаются по местам и застегивают ремни, с нетерпением готовясь к встрече с Иорданом, Храмом Рождества Христова, Назаретом, Виа-Долороза, Голгофой и Храмом Гроба Господня.

Я вспомнил свой первый отъезд. Солнце погружается в море, Кармель растворяется легким облаком в поднимающихся над его восточным склоном испарениях. Вспомнил первый приезд спустя несколько месяцев — темная ночь, холодная вода, доходящая тебе до горла, марш-бросок через пески, иностранный паспорт, делающий тебя чужим в твоём собственном доме, и второе отплытие, еще одно звено в цепи длиной в полжизни. Двадцать один и двадцать один — ровно половина.

Мой Израиль, я хочу особо подчеркнуть это, остался таким же, каким он был в первой половине моей жизни. Виновата в этом вторая половина. Долгие годы, проведенные за границей, осторожность, с которой я сходил с людьми, диктуемая специальным характером моих занятий, ограниченный круг самых надежных и постоянных друзей — все это очень сузило мою Эрец-Исраэль. Государства Израиль, принявшего за последние двадцать лет массу новых репатриантов, которые изменили лицо страны, я почти не знал. Нет, конечно, временами я путешествовал по стране, всматривался, вслушивался, был в курсе дела, но беда была в том, что четверо из пяти, а то и пятеро из шести людей моего поколения, которые проживают сегодня, в эту последнюю субботу месяца хешван 5728 года в Эрец-Исраэль, не жили в той Эрец-Исраэль, от берегов которой я отплыл на борту „Пиреоса” в месяце тишрей 5707 года.

Зачем я рассказываю обо всем этом, когда читателя интересует история нашего героя?

Но буду придерживаться своего правила и не стану

заскакивать вперед. Ограничусь лишь одним замечанием. Расследование такого рода, каким я занимался, основывается не только на фактах, но и на определенном рода умозаключениях. Даже самый опытный следователь не застрахован от ошибок в своей работе, тем более в тот момент, когда он начинает искать причины поведения своего подопечного, исходя из собственных представлений об окружающем мире. Казалось бы, всем известна такая опасность, но тем не менее, многие продолжают делать ту же ошибку, видимо, из-за особой природы этого явления.

Вернемся, однако, в зал ожидания. Несмотря на то, что буря над Северной Италией и Адриатическим морем задержала отлет из Орли, было все еще слишком рано. По правде говоря, я просил Ицхакле никому не сообщать о моем прибытии, и поэтому я не рассчитывал на встречу на аэродроме. Ни коллег по работе, ни родственников. Работать я люблю один — и быстро. А визиты и путешествия — после.

Однако немедленно возник вопрос: работать — как? У меня в кармане листок бумаги, который мне дал Ицхакле, и на нем адрес книжного издательства „Баркаи”: улица Ахад-ха-Ам, номер дома и номер телефона. Хозяин Авишалом Хеврони. Но что прикажете делать с этим в четверть восьмого утра, в субботу? Конторы закрыты, домой ему не позвонишь — придется искать кружные пути и первым делом собрать информацию об издательстве „Баркаи” и об этом Авишаломе Хеврони.

Естественно, что я сразу же подумал о Гиди. Он не то, что я, он знает всех.

С Гиди я знакомился несколько раз. Впервые это было летом 1942 года, когда нас, семнадцатилетних юнцов, собрали вместе, выдали итальянские карабины и объяснили, что с минуты на минуту ожидается высадка немецкого десанта, который мы должны будем уничтожить. Гиди был сыном знаменитого Винограда, одного из тогдашних руководителей ишува. Гиди учился в Новой гимназии и был чемпионом страны среди

юношей по прыжкам в высоту. На меня, сына торговца и ученика профессионального училища, тощего и низенького, он смотрел, в прямом смысле этого слова, свысока. И это несмотря на то, что уже тогда у меня была репутация очень хорошего морзиста, и к подразделению Гиди я был прикреплен только на случай особо важных заданий. Я тогда ненавидел Гиди. Во второй раз мы встретились спустя пять лет в Марселе. Изнеженность и высокомерие по-прежнему были его характерными чертами, но я к тому времени уже занимал достаточно ответственный пост, чтобы Гиди искал моего расположения и дружбы. Нашу первую встречу он не помнил, или делал вид, что не помнит. Но, по правде говоря, и я, подобно „нелегальным” репатриантам, тоже был очарован им — он был весел, прекрасно пел, одним словом, настоящий сказочный сабра. Позже наши пути разошлись. Я остался в Европе. И лишь спустя годы узнал от друзей, что молодой писатель Гиди Гефен, чье имя все чаще и чаще мелькало на страницах газет, и есть тот самый Гиди Виноград. Сам я, скажу правду, не читаю беллетристики, и тем более нет у меня терпения читать ивритских поэтов и прозаиков. Как-то раз, когда я был во Франции, один из моих друзей привел ко мне Гиди, и наше знакомство возобновилось. Теперь его общество доставляло мне даже удовольствие, а однажды он преподнес мне две свои книги — роман и сборник рассказов — с посвящениями, изобиловавшими комплиментами в мой адрес. Роман я с пропусками, правда, но дочитал все же до самого его печального конца, из рассказов же осилил всего несколько. Но по всеобщему мнению, Гиди считался оригинальным писателем, и кто я такой, чтобы оспаривать мнение знатоков? Одно лишь смущало меня, и я даже осмелился спросить жену одного из наших общих знакомых, которая по специальности была литературоведом, почему Гиди, будучи человеком, не чуждающимся прелестей жизни, любящим вкусно поесть, попутешествовать и т.д., и как выяснилось в последние годы, когда он, став директором ка-

кого-то дохлого издательства, сумел поставить его на ноги, будучи также человеком и практичным; да и в разговоре он просто кудесник, его рассказы всегда полны разных историй — почему же то, что он пишет, так неинтересно, банально, а язык его такой заковыристый и вычурный... Литературоведша снисходительно улыбнулась, и в улыбке ее я прочел удивление моим столь примитивным представлениям о связи личности автора с его творениями. Она, безусловно, была права, однако я предпочитал Гиди его рассказам, и каждый раз, когда он прилетал в Европу, мы встречались и неплохо проводили время. Кари была просто влюблена в него. Она, как я уже говорил, „нелегальной” репатрианткой прибыла в страну весной 1947 года, и с тех пор, за исключением двух лет, которые она одна прожила в Израиле, мы все время были вместе. И поэтому так получилось, что и для нее Эрец-Исраэль была тем же, чем и для меня, то есть ограничивалась узким кругом наших знакомых. Гиди же был неиссякаемым источником всяких историй, он все знал, обо всем умел интересно рассказать, и Кари слушала его буквально с раскрытым ртом. Кари мягкая и преданная жена, но с Гиди, не раз думал я, она могла бы изменить мне. Кари много читает и обладает изысканным вкусом, поэтому я очень хотел, чтобы она прочла его рассказы, хотя бы для того, чтобы слегка охладить ее пыл. Но Кари до сегодняшнего дня затрудняется прочесть даже газету на иврите. Романы она читает по-голландски, по-французски и по-английски, но только не на иврите.

Во всяком случае, все, что касается израильских издательств, наверняка известно Гиди. Когда я позволю ему, то он первым делом, как нечто само собой разумеющееся, пригласит меня к себе домой, и мне не надо будет ничего объяснять — вся информация потечет сама собой. Гиди живет в переулке, ответвляющемся от улицы Соколова, и чтобы убить оставшееся время, я отпустил такси на площади и неторопливо стал подниматься по пустой улице Дизенгоф, снова и снова

убеждая себя не поддаваться искушению и не делать смехотворных сравнений с Елисейскими полями, Риджентс-стрит и Пятой авеню — ни вечером на исходе субботы, когда Дизенгоф кишит людьми, ни уж тем более в субботнее утро. Какие низкие и незатейливые домики, какая узкая улочка, подумал я про себя, хотя в памяти моей до сих пор живо было еще воспоминание о том вечере, когда на нашей Кикар Цина Дизенгоф был введен в действие цветной фонтан, самый прекрасный в мире. А улица тянулась и тянулась до пляжа, до ярмарочной площади, до бесконечности... Я должен положить конец моей заграничной жизни, которая с этого дня составляет уже больше половины пройденного пути, а та его часть, что приходится на Эрец-Исраэль — меньше половины.

Странно только, что старый Тель-Авив беспрестанно растет, а тот, что все время стоит перед моими глазами, — все уменьшается и уменьшается.

АВИШАЛОМ ХЕВРОНИ И ВСЕ ЕГО ПРОШЛОЕ

— Черт побери, ты что, Авнер, не знаешь Авишалом Хеврони?! Как это может быть?! Ты же его сто раз видел, тысячу раз. Наверняка в нашем доме ты с ним встречался. Он хороший приятель Антаби. И Джони Гросса. И Хаимке Пеледа. Да кому он, вообще, не друг?! Ты меня поражаешь, Авнер, что тебе напомнить? Авишалом был на хахшаре* в Нахаль-Кдумим, и был там из первых; был среди тех, кто прошел всю войну, ходил с транспортами**, был на Кастеле***, в Старом городе****, а после, до самой операции „Ув-да“*****, находился в Негеве. Хотя этого всего ты действительно можешь не помнить, ведь ты, собственно, застрял тогда в Европе... Я-то прибыл на пароходе во время второго перемирия***** и сразу же был отпра-

* Хахшара (иврит) – дословно подготовка. Здесь курс, охватывавший сельскохозяйственную и военную подготовку в новых киббуцах.

** Специально оборудованные машины, пытавшиеся доставлять продовольствие в осажденный Иерусалим по шоссе Тель-Авив–Иерусалим и подвергавшиеся непрерывным нападениям арабов.

*** Гора в окрестностях Иерусалима, в районе которой происходил один из самых тяжелых боев Войны за независимость.

**** Имеется в виду неудачная попытка частей Хаганы и Эцеля освободить Старый город Иерусалима.

***** Операция по освобождению Эйлата и южного Негева в начале марта 1949 года.

***** Так называемое „второе перемирие“ в Войне за независимость вошло в силу 18 июля 1948 года и формально действовало до конца войны.

лен на юг, к Джони Гроссу, и там, в Хан-Юнисе, встретил остатки группы, всех тех, кто не был похоронен в Кирыят-Анавим...

— Нет, ты меня просто сметишь... Сейчас ты еще скажешь, что и Брахи не знаешь... Слушай, а ты, собственно говоря, тель-авивец ли? Что, какая Браха?! Браха Лихт... Ну, слава Богу! Вот именно, младшая сестра Амнона. Один год я был инструктором девиц из гимназии. Ты помнишь, что тогда называлось „физподготовкой“? Ну, так я был инструктором этой самой физподготовки, а Браха была просто прелесть и особенно развитой в тех местах, что ниже подбородка и выше колен... Ну, конечно, это-то ты должен помнить!.. Она обладала парой прекрасных глаз, точно, — широко распахнутых — и длинными ресницами, совсем как на японских гравюрах. А Авишалом — это муж Брахи, еще со времен киббуца... Ты думаешь, я знаю, что имею в виду сейчас, говоря „близкие друзья“? Друзья... Да, мы оба занимаемся книгами, стало быть, есть связи по работе, немного конкуренции, ну и просто дружба. Но Браху, по правде говоря, мы любим больше. Она ни чуточки не изменилась. А вот Авишалом — это яркий представитель нового тель-авивского быта. Ты живешь вне всего этого и даже не представляешь себе, какой здесь вырос удивительный класс обезьян, карабкающихся друг на друга — и Авишалом стал полной противоположностью тому, чем был раньше... Что ты смотришь на меня такими удивленными глазами, будто один из нас только что свалился с луны?.. Может быть ты устал с дороги и хочешь немного вздремнуть?..

И действительно, может вздремнуть? Видимо, из-за столь резкого двойного перелета от утра в Лондоне и вечера во французском городишке к тель-авивскому солнцу я чувствовал себя так, как бывает, когда, возвращаясь после долгого перерыва в маленькую тесную компанию, видишь, насколько ты утратил с нею контакт. Со стороны Гиди я не ощущал ни малейших признаков раздражительности, напротив, когда я позвонил

ему из дежурной аптеки — единственного места, открытого в этот ранний утренний час, — он прямо зарычал от радости. А когда я сказал ему, что только что прилетел и звоню ему, чтобы сказать привет, то он не дал закончить фразу и спросил, где я в эту минуту нахожусь, потому что он уже выезжает, чтобы подобрать меня, и надеется, что я еще не успел набезобразничать, поселившись в какой-нибудь занюханной гостинице. Гиди, несомненно, парень острого ума и достаточно деловой, но будучи при этом человеком, влюбленным в себя, он нисколько не сомневался в том, что я звоню ему прямо с аэродрома и по одной только причине, что соскучился по нему. И эта моя преданность дружбе так польстила Гиди, что он проявил весь свой шарм, заявив, что, хотя он и не в состоянии устроить мне тот гуд тайм, какой я ему представлял на протяжении многих лет в Париже, Риме и Брюсселе, он все же отдает в мое распоряжение свой кабинет на все время моего первого визита.

— Явного, — поспешил он добавить, — с тех пор, как ты вынужден был эмигрировать из-за экономического кризиса...

В его словах я услышал иронию человека, знающего правду, но в них слышались также отзвуки сплетен, гулявших по тель-авивским салонам.

Тем временем встала Авива и накрыла стол к запоздалому и неторопливому завтраку. Несмотря на то, что я не раз встречал ее за последние годы, она оставалась для меня загадкой. По большей части Авива молчала, будто прислушивалась к какому-то голосу, непрерывно звучащему у нее внутри. И только когда говорил Гиди, она как бы пробуждалась и буквально смотрела ему в рот, ловя каждое его слово, подобно матери, восхищающейся умом своего сына. Кари, которая тоже не относится к разряду сплетниц, провела как-то долгую беседу с Авивой и была очарована ею. И только тогда мы узнали, что, вопреки нашим предположениям, Авива вовсе не является одной из тех бледнолицых черноглазых еврейских девочек из

Польши, лица которых выражают вечную скорбь и неприспособленность к жизни, — а была уже четвертым или пятым поколением уроженцев Цфата. В Гиди она влюбилась, прочитав его первые рассказы, и сразу же написала ему письмо. Письмо привело к встрече, а встреча привела к этой прекрасной супружеской паре. Теперь у нее трое детей, и когда Авива появилась тем субботним утром в просторной кухне их шикарного пентхауза, я, к своему удивлению, заметил, как ее всегда белая кожа начинает покрываться желтыми пятнами, а под затылком образуются складки жира — эти отпечатки прожитых лет. Да, этим субботним утром Авива выглядела располневшей, не слишком опрятной женщиной, прошедшей уже половину пути.

После кофе Гиди вывел меня на свою крышу, чтобы дать мне насладиться красотой моря, то темнеющего, то светлеющего от пронсящих над ним облаков. И там, на крыше, мы говорили о том, о сем, пока я, как бы между прочим, не перевел беседу на издательство „Баркай”.

Прошлым вечером в „Грас де Дье” мы, я и Ицхакле, точно знали, как должен выглядеть этот человек — порождение разлагающегося общества иммигрантов. Но в ту секунду, когда Гиди назвал имя Брахи Лихт и ее брата Амнона, наше представление разбилось на мелкие кусочки. Мы не были близкими друзьями, но имя Амнона Лихта я часто слышал во время моей работы в тель-авивском штабе. Он был сыном хозяина типографии, расположенной на улице Иехуды ха-Леви, которая так и называлась — „Типография Лихта”. Его широкие плечи, расплющенный нос, пышные усы и неизменный мотоцикл — все это вместе служило в те годы отличительными признаками человека сверхсрочной службы. Младшая сестра Амнона была одной из моих воспитанниц на курсах связистов, которые я вел в ту последнюю военную зиму. И описание Гиди сразу вызвало во мне воспоминания — по правде сказать, она очень привлекала тогда меня своими наивными глазами с подкрашенными ресницами и грудью,

угрожавшей разорвать ее вышитую блузку. Но я был тогда стеснительным и кроме того думал, что не пристало командиру заводить шашни со своей воспитанницей. Однако у меня были планы включить ее в наше отделение связистов, но летом неожиданно она исчезла из моего поля зрения, и мне сказали, что она бросила гимназию, не доучившись до восьмого класса, и отправилась на хахшару. Еще много дней я продолжал видеть ее во сне, но встретиться нам больше не довелось. И за долгие годы, прошедшие с тех пор, я просто-напросто позабыл про нее. Только с сынами старой и доброй Эрец-Исраэль может приключиться такая история — сейчас вот я увижу ее воочию, и в качестве кого — жены Авишалом Хеврони, из-за чьей подозрительной личности я так спешил сюда.

„...Как это ты не помнишь? Ты еще как помнишь. Прежде всего он очень красивый мужчина с таким своеобразным лицом славянского типа — между прочим, только несколько месяцев тому назад он рассказал, что в его жилах действительно течет русская кровь. Раз мы проводили субботний вечер у Джони Гросса, вскоре после окончания этой войны, и я без всякого умысла стал напевать на ухо Брахе песню, которую мы все когда-то пели. „Не дай твоему сердцу увлечься гойскими прелестями”. Мы все сейчас пребываем, ты еще убедишься в этом, в экстазе после освобождения Эрец-Исраэль, но об этом мы еще поговорим с тобой. Кстати, если ты не против, то у меня есть уже идея одной шикарной поездки... Как бы то ни было, Браха рассмеялась и сказала, что это сочетание гойской прелести с хасидской бурей. Я спросил, что она имеет в виду, и тут Авишалом рассказал совершенно фантастическую историю. Со стороны матери, как выясняется, его семья русская, приблизившаяся более ста лет назад к Хабаду, — они не были субботниками, — приехала в страну, по всем правилам приняла еврейство и поселилась в Хевроне. Я знаком с Авишаломом восемнадцать-девятнадцать лет, но мне и в голову не приходило спросить его, почему он носит

фамилию Хеврони. Разве тот, кто носит фамилию Яр-кони, родился на реке Яркон? А Хермони — на горе Хермон? Дальше он рассказал, что отец его прибыл в страну, чтобы учиться в Новой иешиве в Хевроне, и там ему сосватали местную девушку из того самого семейства, предки которого приняли еврейство и стали хабадниками. Во время резни в Хевроне, устроенной арабами, первенцу, родившемуся от этого брака, Авишалому, было два года. Отец его стал одним из мучеников, погибших там, а мать сошла с ума и была помещена в лечебницу. Сам же Авишалом, видимо, жил у родственников матери, ведь вся семья его отца осталась за границей. А после его отдали в детский дом Дискина. Почему родственники Авишалома так обошлись с ним и с его матерью? Браха созналась, что эта рана в его душе не дает ему покоя по сей день. Он говорит, что у него нет никаких родственников в стране и, действительно, он не поддерживает с ними никаких отношений. С другой стороны он отлично помнит, хотя это и кажется невероятным, разные подробности об отце и матери и утверждает, что с самого раннего детства ощущает себя хевронцем. После бар-мицвы он бежал из детского дома, добрался до Тель-Авива и с этого момента жил один, сам зарабатывал себе на пропитание. Тот, кто хотя бы немного был знаком с Авишаломом, — а глядя на этого высокого, светловолосого мужчину, трудно поверить, что он воспитывался в детском доме, — ничто не покажется удивительным. Он крутился по мастерским, расположенным между Тель-Авивом и Яффа, работал подмастерьем в слесарной мастерской, потом в гараже, в типографии, вступил в Ха-Ноар ха-Овед*, изучал иностранные языки на вечерних курсах, а когда американцы начали строить большой лагерь в Тель-Литвинском и набирали рабочих, он попал туда, схватывая буквально все на лету. Его документы были еще на фамилию отца, но уже тогда он представлялся как Хеврони. И

* Организация рабочей молодежи при партии МАПАЙ.

Браха и я знали его только под этим именем. Браха рассказывала, что Авишалом выбрал фамилию Хеврони в память о том, что сделали с его отцом и матерью. Я еще вернусь в Хеврон, всегда говорил он ей. И действительно, этим летом — и в эту войну он сражался в дивизии Джони Гросса, и надо признать, сражался он героически, — на следующий же день после возвращения из армии Авишалом взял Браху и детей и отправился в Хеврон, после тридцативосьмилетнего перерыва. Куда нам, писателям, против сюжетов, которые преподносит нам Эрец-Исраэль?!.. Слушай-ка, Авнер, а объединенный Иерусалим ты уже видел? Тогда дай мне исполнить эту приятную обязанность. У меня есть гениальная идея — мы позвоним Брахе и поедем все вместе. Выедем через час, поедем по рамалльской дороге, заглянем в Еврейский квартал. Побываем у Стены Плача, перекусим в хорошем арабском ресторане и через Бет-Лехем и Гуш-Эцион приедем в Хеврон. Все это, разумеется, при условии, что ты не очень устал с дороги. Тебе удалось, вообще, сомкнуть глаза этой ночью?

Даже если бы я валился с ног от усталости, то и тогда ни за что не отказался бы от этого предложения. Душа моя ликовала, ведь именно о такой экскурсии я и мечтал, отправляясь так неожиданно в Израиль. Но то, что эта моя мечта исполнится уже сегодня, а поездка станет как бы частью моей работы — такого я и предположить не мог. Догадываясь о секретном характере моей службы, Гиди даже намеком не выдал своего любопытства — что же именно привело меня в страну в это субботнее утро. Но я, желая предотвратить возможный вопрос еще до того, как мы спустимся с крыши, и до того, как он позвонит Брахе, сказал Гиди, что я располагаю временем до восьми вечера, поскольку мне нужно еще устроить „несколько дел” в Тель-Авиве. И добавил, что если Брахе каким-то образом и известен действительный характер моей службы в Лондоне, то все равно я инженер-электронщик, приехавший в страну в надежде, что после войны

для меня найдется здесь подходящая работа, и я смогу вернуться сюда насовсем. Вообще же, доверился я Гиди, я на тебя полагаюсь и надеюсь, что мое пребывание в Израиле не станет широко известным. По правде говоря, я должен был бы сидеть дома до вечера, но соблазн, который ты предлагаешь мне, слишком велик.

Поездка была великолепной и взволновала меня до глубины души, и хотя это и не относится к теме моего рассказа, но я все же упоминаю о ней — о самой экскурсии и, в особенности, о том незабываемом впечатлении, которое произвела на меня встреча с той, которую я видел в последний раз кругленькой девочкой, ученицей седьмого класса, превратившейся теперь в тридцатидевятилетнюю женщину. И только потому, что я заранее знал, что передо мной Браха, я находил в ней остатки ее прежней красоты, красоты девушки, которую я, казалось, позабыл уже навсегда. Она вспомнила, что я был ее инструктором, но и виду не подала, что ей известны были мои тогдашние чувства к ней. И к моей работе, характер которой ей был, видимо, отлично известен, она тоже не проявила никакого интереса. Мне показалось, что Браха с радостью ухватилась за предложение Гиди потому, что это давало ей возможность на целый день избавиться от детей, которые должны были остаться вместе с детьми семейства Гефенов.

Всю дорогу Браха говорила без умолку, громко, сумбурно и с какими-то испуганными интонациями в голосе, будто боялась, что ее перебьют. Хоть для меня это и был необычный день, мне удалось восстановить все прошлое Авишаломы Хеврони. И вот как оно выглядело.

Первые воспоминания Гиди и Брахи об Авишаломе относились к 1948-1949 годам. О детских и юношеских годах Авишаломы им было известно исключительно с его собственных слов, но в их достоверности ни Гиди, ни Браха, видимо, нисколько не сомневались. Авишалом был для них одним из тех немногих подростков с

рабочих окраин и гимназистов, которые вступили в Пальмах и прониклись особой атмосферой замкнутых в себе отрядов „хахшары”, состоявших из воспитанников молодежных движений и из киббуцников. Браха встретила с Авишаломом, если не ошибаюсь, спустя несколько месяцев после того, как Гиди уже познакомился с ним в Хан-Юнисе, где различные отряды хакшары — иногда остатки таких отрядов — объединились для того, чтобы поселиться в молодых поселениях на границах вновь образованного государства Израиль.

С этого момента рассказ делался совсем простым. В киббуце они прожили шесть лет („только сейчас я понимаю, какие это были прекрасные годы, каким особенным смыслом была наполнена наша жизнь”, — произнесла Браха), пока их семью не постигло несчастье. Ее старший брат Амнон, дослужившийся в Войне за независимость до должности командира батальона — а ему было тогда всего двадцать четыре года — не поддавался уговорам остаться на сверхсрочной службе, демобилизовался и вернулся в семейную типографию. Вопреки всем трудностям экономического спада того периода он был одним из первых, кто видел во всем этом лишь временные затруднения. Он купил новое оборудование, взялся за типографские работы, не производившиеся до того в стране, завязал связи с правительственными и прочими учреждениями, и в конце концов в результате встреч и контактов с различными издателями у него зародился план основать собственное издательство, базой для которого должна служить типография „Баркаи”. (Это имя, между прочим, было одним из первых изменений, которые внес Амнон. Еще служа в армии, он как-то раз попал в кафе „Касит”*, где его представили Шленскому, и тот буквально умолял его дать типографии ивритское название: „Баркаи”**. Лихт-отец, будучи при-

* „Касит” — кафе в Тель-Авиве, где собиралась богема в 1940-1950 годах.

** Баркаи (иврит) — первая утренняя звезда.

вязан к своей фамилии, опасался, что изменение названия типографии может нанести ущерб престижу дела. Но когда Амнон поменял свою фамилию на Баркаи, старик сдался. Он придавал громадное значение тому, чтобы фамилия хозяина совпадала с названием фирмы.) Летом 1955 года Амнон, а ему было тогда всего тридцать один год, погиб: его джип упал в пропасть во время учений в Негеве резервистского батальона, которым он командовал. У отца уже не было сил вернуться к управлению делом, которое Амнон за те немногие годы, что он стоял во главе его, так расширил и обновил, и для того, чтобы спасти „Баркаи” от полного краха, Браха с Авишаломом вынуждены были переехать в Тель-Авив и взять в свои руки ведение дел.

Из обрывочных воспоминаний Брахи и Гиди, в которых упоминался Авишалом, становилось ясно, что он был стержнем молодого галилейского киббуца. Его скромность, довольствование малым и мягкость характера были только одной стороной его личности. В то же время он отличался необычайной находчивостью во всем, что касалось хозяйственных нужд киббуца — он умел вести переговоры с чиновниками учреждений, занимавшихся киббуцами, с банковскими служащими и с поставщиками. Авишалом еще не перевалил за третий десяток, но как прирожденный дипломат он умел найти подход к любому, даже самому скрытному сердцу. Для него отъезд из киббуца был самой настоящей трагедией, говорила Браха. Мы проезжали мимо Гуш-Эциона, и Браха продолжала рассказывать о первых тяжелых шагах их жизни в горном киббуце.

— Я-то уже с семнадцати лет была привычной к киббуцной жизни, но, по правде говоря, легко мне это никогда не было. Все-таки я выросла в богатом доме, и даже во время войны у нас всего было в достатке. А в молодом киббуце на краю света тогда было очень трудно. Сегодня я, может быть, смотрела бы на все это иначе, но тогда, когда нас просто умоляли переехать в Тель-Авив и получить готовым такое выгодное дело, решиться было нелегко. Конечно, в первую

очередь я думала об отце, только что потерявшем сына, и на глазах которого рушилось дело всей его жизни. Авишалом же относился ко всему этому по-другому. Киббуц стал для него первым в его жизни настоящим домом. И несмотря на то, что он до прихода в киббуц был одним из тех, кого называют трудновоспитуемой молодежью, а мы же все были гимназистами, ребятами серьезными и активными участниками молодежного движения, Авишалом сразу стал нашим предводителем. Есть у него такие качества, которые развиваются, наверное, у тех, кто с самого детства вынужден рассчитывать только на свои собственные силы. Например, мы не раз оказывались в тяжелом положении — приходит зима, а в Галилее зима — это зима, деньги уже все истрачены, и не у кого взять займы ни копейки. И тогда за помощью обращались к Авишалому, приносили ему список всего, чего не хватает. Я видела, как он, читая этот список, недоуменно пожимал плечами, но никто не сомневался, что на следующий день он достанет их Хайфы или даже из Тель-Авива нужную нефтяную печку, сапоги, плащи, электрический движок и многое другое. О, расставание было очень тяжелым — в киббуце был просто траур, Авишалом ходил как в воду опущенный. Спросите меня сегодня, зачем же мы уехали из киббуца — отвечу, не знаю. Да, это верно, — согласилась Браха с Гиди, — и сегодня, спустя двенадцать лет, я все еще скучаю, то есть я не думаю, что могла бы сейчас вернуться в киббуц и продолжать жить там, как будто ничего не случилось за все эти годы. Но то, что я оставила там, живо во мне, и пустота остается незаполненной. А Авишалом уже через год настолько свыкся со своей новой жизнью, что, казалось, он всегда только и делал, что управлял делами издательства. Ты знаешь, Гиди, — добавила она, — первые годы мне казалось, что он избегает посещать киббуц, чтобы не беречь раны. Но нет, он на самом деле с головой ушел в дела и все, что было раньше, перестало существовать для него. Ты как писатель что думаешь об этом? Возмож-

но ли, чтобы человек, который был так привязан к киббуцу, так все напрочь позабыл? Что это — сиротство?

Ошибкой было бы думать, что все семь часов поездки мы говорили лишь об одном Авишаломе. Такое впечатление у вас может возникнуть от этого длинного монолога Брахи, но долголетняя привычка превратилась в мою вторую натуру или в профессиональную болезнь: я слишком внимательно вслушиваюсь в слова собеседников и совсем не умею поддерживать беспредметного разговора, какой принято вести в такую теплую и ясную субботу того периода года, который именуется у нас зимой — нашей зимой с несколькими проливными дождями, очищающими насыщенный летней пылью воздух... Об этих дождях, об окрестностях Латруна за Зеленой чертой*, по которым мы проезжали и которые неизбежно вызывают у людей нашего поколения воспоминания далекой молодости, ну и, конечно, о *моих* англичанах и Совете Безопасности, о *моих* французах и де Голле, о книгах, посвященных Шестидневной войне, о целесообразности периода выживания накануне ее и о ее истинных героях — обо всем этом говорили, в основном, сидевший за рулем Гиди и Браха, сидевшая по правую руку от Авивы. Гиди обращался к нам, слегка повернув голову назад, Браха же, наоборот, в разговоре наклонялась вперед. Авива, которой и рта не давали раскрыть и которая по природе большая молчаливица, смотрела в окно, и скоро ею овладела сонливость. Я внимательно слушал и время от времени выуживал новые подробности об Авишаломе, которые все полнее обрисовывали мне израильский облик человека в бессознательном состоянии.

Так, весьма любопытным было, например, замечание Брахи о реакции Авишаломы на их переезд из киб-

* Зеленая черта — граница Израиля до Шестидневной войны, названная так потому, что, глядя с птичьего полета на территорию современного Израиля, бросается в глаза резкая разница в ее окраске: зеленая в границах 1967 года и желтая, цвета выжженной пустыни, вне ее пределов.

буца в Тель-Авив: „Все, что было раньше, как будто перестало существовать для него”. В этот момент, нужно подчеркнуть, у меня уже не оставалось ни малейшего сомнения, что Авишалом и есть тот человек, истинное лицо которого я ищу. По описаниям Гиди он выглядел таким красивым, будто сошел с экрана кино.

И еще я отметил про себя замечание Гиди, когда тот намеревался пригласить Браху поехать с нами в Хеврон — что, мол, Авишалом снова крутится по Европе, а бедняжка сидит одна с детьми. Так мне стало понятным то, что еще оставалось неясным в отношении билета Люфтганзы Бергерзона. Когда мы сидели, кажется, в „Голден чикен”, Гиди начал подзуживать Браху, описывая европейские рестораны, в которых обедает сейчас Авишалом.

— Я надеюсь, что оправданием этой поездке послужат ее коммерческие успехи, — сказал он, но тут же был пронзен возмущенным взглядом Авивы и моментально сделал поворот на сто восемьдесят градусов, — нет, это я так, Браха. Просто обидно признаться себе, что ваш альбом — это настоящее произведение искусства. Его не назовешь даже исключительным творением прыткого книгоиздателя — сила страсти, которая в него вложена, сравнима разве только с любовным актом. Разумеется, что и в те майские дни он был за границей. — Гиди обратился ко мне. — Когда Насер закрыл проливы, двадцать второго? Так вот, спустя два-три дня, — верно, Браха? — Авишалом был уже в стране, он направился прямо к Джони Гроссу и воевал, действительно воевал, в его дивизии. Ты, правда, ценишь его вне всяких пропорций, но он и на самом деле настоящий мужчина, этот Хеврони.

Вечером, отправившись будто бы заниматься теми „делами”, о которых не принято спрашивать, я бродил по вечернему Тель-Авиву, особенно оживленному на исходе субботы, и дело Авишалом Хеврони казалось мне почти завершенным. В нем уже все было расстав-

лено по своим местам, даже, признаюсь, те открытия, которые так всколыхнули мою душу.

Во время моего краткого майского визита в Израиль, казалось, сами улицы были полны приметами приближающейся катастрофы. Был один из тех жарких и душных вечеров, вынести которые человеку, прожившему в Лондоне хотя бы год, просто не под силу. Большая часть мужчин была мобилизована, а те, что остались дома, стеснялись выйти на улицу; стены и тротуары излучали какую-то изнуряющую жару; тело покрывалось потом, и казалось, что весь воздух как бы испарился. Тот вечер был даже более гнетущим, чем лето 1942 года, когда мы при помощи итальянских карабинов собирались отразить нападение гитлеровских парашютистов. Мы были тогда подростками и в тельавивской жаре чувствовали себя как рыба в воде. На тренировках вместо ружей нам выдавали обычные палки, мы пели советские военные песни и не понимали ни черта в том, что творится вокруг. Но в тот вечер конца мая 1967 года Тель-Авив душила не жара, а воспоминания.

Сейчас, на исходе субботы, Тель-Авив выглядел необычайно молодым, помытым, свежим, улыбающимся, довольным собой, будто он был пупом земли. Я мысленно повторил маршрут, который проделал утром: по Дизенгофу от площади до бульвара Нордау и оттуда через улицу Соколова к дому Гиди, — и в моей памяти возникала исчезнувшая Эрец-Исраэль, казалось, что я перенесся в нее в машине времени. А когда я сегодня пересек „зеленую черту”, во мне неожиданно ожили все те краски, звуки и запахи, огромные пустые пространства, огороженный каменным забором сад, соха, кактусовые заросли, терпкие ароматы базара, отчужденность и страх — все то, что я вычеркнул из своей памяти благодаря своему замкнутому, может быть больше, чем у других, образу жизни. Насколько иным я был тогда.

И Тель-Авив я тоже видел таким, каким он был в те вечера на исходе субботы. Сильные дожди прошлой

недели смыли с домов летнюю пыль, промыли кроны деревьев и дали, наконец, возможность мужчинам вынуть из нафталина свои костюмы, а женщинам выглядеть не менее современными, чем в Лондоне, в своих максипальто и миниюбках под всепроницающим взглядом пупа земли. Сейчас я шагал с севера на юг, от угла улицы Жаботинского по направлению к площади, спрятавшись под воротником овечьей шубы, невидимый, но всевидящий. Девятнадцатилетний юноша в единственном в мире городе.

Половина города спешила на второй сеанс, другая половина возвращалась с первого — я же был одинок и безымянен. Отец замкнулся в своей маленькой квартирке в конце Ибн-Габиры, сестра Герцлия в киббуце, а младший брат Менахем в Ашдоде. Я шел по самому оживленному месту города, — от Керен Каемет и дальше, — но был настолько погружен в себя, что столкнувшись носом к носу с отцом, Герцлией или Менахемом не заметил бы их. Я вне всего. Даже начальнику своему я не позвонил и отложил это на потом. Мой мозг должен сперва навести порядок в той информации, которую он получил об Авишаломе Хевроне. И не менее важно не дать моим чувствам и воспоминаниям повлиять на трезвую оценку личности и побуждений человека в бессознательном состоянии.

Конечно, не хватало еще многих звеньев, чтобы свести все известные факты в единое целое. В течение этого длинного дня меня не раз одолевали сомнения, и казалось, что почва уходит из-под ног, и наша с Ицхакле теория рушится. В напряженном голосе Брахи слышалась трудноскрываемая боль, когда она рассказывала о многочисленных поездках Авишаломы. Но во всем, что она говорила, а говорила она много, я не уловил и тени сомнения в отношении того, что касалось его детства. Только гениальный иммитатор мог убедить тель-авивскую девушку — через два, самое большее через три года после приезда из Франции, — что он родился в Хевроне, и на протяжении восемнадцати лет совместной жизни ничем не выдать

себя. Момент, когда я почти „сломался”, был в самом Хевроне, во время рассказа Брахи о намерениях Авишалом разыскать дом, в котором он родился. „С родственниками он порвал, они для него все равно что умерли, но по фамилии матери он пытался разыскать дом. Его прадед, принявший иудаизм, оставил все же прежнюю фамилию Ковалевский, и Авишалом считал, что его родители жили в одной из комнат дома деда, где, кстати, и появился на свет мой муж”. Это был удобный случай. И я спросил, какова же была фамилия его отца. Она тут же ответила — Хвойник. „Но Авишалом, — быстро добавила Браха, — предупредил меня с самого начала, что не женится до тех пор, пока официально не изменит своей фамилии. Он хотел, чтобы в ктубе стояло Хеврони”.

Трудно было найти в этом, казалось, совершенном рассказе уязвимое место. И тем не менее, слоняясь вечером инкогнито по городу, в котором я родился и вырос, я вдруг увидел, насколько весь он надуман. Какой еще гений смог бы учесть все варианты настолько точно, что ни один из возникших вопросов не остался без ответа. Было очевидно, что Браха никогда не встречала ни одного человека, знакомого с Авишаломом Хеврони или с Хвойником до 1947–1948 годов. И она никогда не видела ни одного из членов семейства Ковалевских из Хеврона.

Все это — был ли убит в 1929 году ученик иешивы по имени Хвойник, была ли госпитализирована душевнобольная, носившая эту фамилию, и был ли в детском доме Дискина такой сирота — все это поддается проверке. Однако даже если все это окажется правдой, то и это, подсказывают мне мои чувства, еще ничего не объяснит.

С другой стороны, не представляло никакого труда проверить в авиакомпании Эл-Ал даты полетов Авишалом Хеврони из Лода в Цюрих и обратно. Свой последний билет Бергерзон купил в кассе Люфтганзы четвертого мая. Я посмотрел, когда был в этом году Песах, и увидел, что он пришелся на первое мая. Те-

перь я готов был отдать голову на отсечение, что на следующий день, или самое большее через два дня, Авишалом Хеврони вылетел из Лода и, как уже упомянул Гиди, вернулся двадцать четвертого или двадцать пятого мая. Из слов Гиди и Брахи и из того, что мне удалось выяснить в отделении Эр Франс в Лондоне, просто было установить даты его последнего отъезда — примерно недели две-три назад. Из Брахи же я уже выудил, что вернуться он должен был пятнадцатого декабря. Одно мы с Ицхакле угадали: человек этот весьма последовательный и придерживающийся очень жестких и заранее установленных рамок.

Но чем вся эта информация может нам помочь? Даже если и правда то, что человек, выдающий себя во Франкфурте за немца, в Париже за француза, а в Израиле за хевронца в третьем поколении, не является ни одним из этих трех — о чем все это говорит? Три государственных службы безопасности (а то и больше) были поставлены на ноги из опасения, что в этом деле запутана вражеская агентура. Но в этом, надо признаться, я еще и сам до конца не разобрался.

Однако кое-какие новые сведения я для себя почерпнул. Некоторая крупница истины безусловно была скрыта в истории Хеврони, а именно, в самом имени — Авишалом Хвойник. Браха припомнила даже, что официально Авишалом поменял фамилию только после провозглашения государства. Это-то как раз не проблема, утром я свяжусь с министерством внутренних дел и все выясню. Но вопрос не в этом — пусть даже фамилия Хвойник и высосана из пальца, — а в том, под каким именем он прибыл в страну. Въехал ли он легально под именем Бергерзона или Монтрэлана, или прибыл на корабле „нелегальных” репатриантов и уже здесь, в стране, получил паспорт на имя Хвойника? Разумеется, есть и другой вариант, который я, собственно, и должен проверить в первую очередь, — не был ли он с самого начала подослан какой-нибудь иностранной разведкой с уже готовым паспортом и указаниями оставаться до поры до времени в тени? Начал

ли он свою шпионскую деятельность в 1957 году, когда начались его столь частые поездки? И такие случаи у нас уже бывали...

По правде сказать, эта версия казалась мне смешной. Да и сам я был смешон себе. На протяжении всей той субботы я всеми силами старался не примешивать свои чувства, постепенно овладевавшие мною, к выполнению той задачи, ради которой я приехал сюда. До сегодняшнего дня я не могу с уверенностью сказать, что именно в вымышленной биографии Авишаломма Хеврони так взволновало меня. Это напоминало чем-то ночной кошмар, от которого пробуждаешься весь в поту, а после объяснить причину, вызвавшую его, не можешь. Может быть, это было вызвано всеми теми противоречиями, услышанными мною тогда, или было последствием того, что уже почти двое суток я не смыкал глаз. А может быть, из-за обилия впечатлений во время поездки по освобожденным территориям Эрец-Исраэль, которая как бы возвратила меня в мое прошлое (и я вдруг подумал, что с юношеских лет состоя на службе еврейского народа, я тем не менее ни разу не принимал участия в его войнах); или, может быть, наконец, все это объяснялось простой необходимостью все время прислушиваться к тому, что говорили Гиди и Браха. Не знаю. Стоял вечер прозрачной тель-авивской зимы, вечер, который в Лондоне назывался бы весенним, и меня несло в потоке гуляющих в сторону площади. Я пробивал себе дорогу в таком же потоке, текущем в обратном направлении, и поначалу опасался, что меня узнает кто-нибудь из тех, кто не должен был бы знать о моем пребывании тут. Но я довольно быстро убедился в том, что являюсь совсем чужим в городе, где прошла первая половина моей жизни. Так много людей, так много молодых (а тебе, дружок, стукнуло, уже сорок два), и ни одного знакомого лица. Я пересек площадь и пошел дальше по Дизенгофу, где он уже не так освещен и блестящ и где даже в этот благодатный час все выглядело каким-то грустным и увядшим. Вот они — эти

домики, среди которых прошло мое детство. Тель-Авив щелкает их, как орешки, один за другим. И родители мои тоже перебрались ближе к северу, к Яркону. Отец, наконец-то, продал свою овощную лавку и открыл маленький писчебумажный магазинчик, но после смерти матери продал и его. Удивительно, думаю, шагая по Дизенгофу, что несмотря на все то одиночество, которое так переполняет меня в Тель-Авиве, я могу спокойно бродить по улицам вместо того, чтобы взять такси и поехать порадовать отца. Все дети его разъехались кто куда, и он остался, как сам часто говорит об этом, наедине с четырьмя стенами. Для других, да и для самого себя, если можно так сказать, я был воплощением человека целеустремленного, в отношениях с людьми остающегося таким же холодным и бесчувственным, как и со своими электронными приборами. Сейчас же, не знаю почему, мною овладело какое-то ужасное ощущение скорби, и я никак не мог решить, по кому же я скорблю: по Хайнци Бергерзону, племяннику госпожи Оппенхайм, сочинившему столь дивную историю об Авишаломе Хеврони, или по самому себе, оказавшемуся полнейшим идиотом, перед которым подняли все завесы и открыли все тайны, а он не понимает, что этот ребенок шпионит в лучшем случае в свою лишь пользу, что он попросту бежит от самого себя, преследует себя и скрывается — опять-таки от самого себя. И все эти маски-обличия, которые он так часто меняет, обладая почти животными инстинктами приспосабливаться к окружающей среде, словно сливаясь с песком, камнями, страданиями и мечтами, стали его второй натурой. И он уже не в состоянии определить, где же его настоящее место в этой жизни, как будто у него нарушено чувство ориентации. Вот и все. Но это другая история, во всяком случае не имеющая ко мне никакого отношения. Трудно мне будет завтра объяснить начальству, что же привело меня сюда из Лондона, кроме, разве, мысли о том, что повод для приезда был очень уж подходящий.

Авишалом Хвойник существует — я чувствовал, что сейчас я не ошибаюсь. И вот она зацепка. Мне сразу нужно было подумать о центре „Брихи” в Париже. Девятнадцатилетний юноша, окруженный славой героя „маки”, этот белообрый еврейский сирота, слоняющийся по улицам послевоенного Парижа, наталкивается вдруг на солдат с желтыми маген-давидами на форме. И именно из-за неожиданности своей эта встреча открывает перед ним перспективы начала новой жизни, намного более заманчивой, чем жизнь на парижских задворках. Гениальный талант к подражанию помогает ему стать своим в среде этих грубоватых, шумных и наивных молодых людей, пришедших с зачарованного Востока. Его жесты становятся похожими на их жесты, его ивритские фразы, которые он быстро усваивает, являются копией их речи, а поскольку в его облике, как в зеркале, отражаются они сами, то его новым друзьям он представляется тем самым еврейским братом, образ которого сложился в их представлении еще до отправки в Европу, но которого они почти не встречали там. Такие парни, как ты, говорят они Анри (или Хайнцу, если тот представился им в своем первоначальном, франкфуртском облике), нужны нам в Эрец-Исраэль. Ты уже не выглядишь „новым репатриантом”, и единственное, что тебе еще не хватает, — это немножко загореть. Он достает военную форму, чрезвычайно ему идущую, и форма эта разрушает последний барьер между ними и им. Между ими и ним.

Авишалом Хвойник. Как я сразу не додумался до такого простого источника его израильской метаморфозы. Теперь я почти уверен, что слышал это имя тогда в Европе. И где-то в районе Мюнхена, Парижа или Марселя наши пути пересекались. Я вижу перед собой киббушника, а, может быть, мошавника, одного из тех молодых людей, не говоривших на идиш и имевших, казалось, мало общего с беглецами „Брихи”, но шагавших, однако, из ночи в ночь через леса и горные перевалы по тропам „Брихи” и тайно проводивших бегле-

цов из одной европейской страны в другую через снова закрывшиеся границы. Я вижу перед собой одного такого парня по имени Авишалом Хвойник. Но даже если память и изменяет мне, то все равно мне ясно теперь, каким образом попало к Анри (или к Хайнцу) имя, приведшее его на британском военном корабле, за счет его величества короля Георга VI, в Александрию, а оттуда на медлительном, как верблюд, поезде в Реховот. Я слышу, что сказали ему в Париже деятели Ти-Ти-Джи (английские буквы, проставляемые в поддельных дорожных документах шоферов грузовиков, участвовавших в „Брихе“, и ставшие паролем всей этой подпольной деятельности; на самом же деле Ти-Ти-Джи — это аббревиатура слов „тильхас тиззи гешэфтн“ или в свободном переводе: „поцелуйте меня в задницу“, — на смеси арабского с идиш, а вовсе не сокращенное название одного из подразделений английской армии, как могло показаться на первый взгляд) : тебе нетрудно будет выдать себя за Авишалома Хвойника. В его военном удостоверении записано только, что он белокур, глаза голубые, а рост такой же, как у тебя. Чтобы не завалиться на возможном допросе сотрудников Си-Ай-Ди, настоящий Авишалом Хвойник рассказал ему всю свою биографию. И Анри (или Хайнц) не только впитал в себя все услышанное, но и стал Авишаломом Хвойником.

Теперь нетрудно восстановить, что же произошло с ним после прибытия в страну. Прошрое свое он оставил в Париже, а настоящее виделось ему в тумане. Человек, чье имя он носил, тоже должен был рано или поздно вернуться домой и для того, чтобы не оставалось ни малейшей зацепки, ему нужно было теперь совершить еще один двойной прыжок. Возможно, что он и почерпнул отдельные детали из биографии настоящего Авишалома Хвойника — не исключено, что среди его предков были русские, принявшие иудаизм, был Хабад и Хеврон. Но в Пальмах он вступил (может быть, в грохоте первых боев кровопролитной весны 1948 года) под именем Авишалома Хеврони. И тем

обеспечил себе не только будущее, которое не повторяет ни одного из его прошлых перевоплощений, но и оригинальное прошлое, впечатляющее даже больше, чем прошлое человека, с чьими документами он прибыл в страну. Он ощущал внутреннюю потребность стать законченной личностью с легендой, не вызывающей подозрения.

Теперь мне эта версия уже не казалась одним из возможных вариантов. Это было единственно правильное решение, такое же очевидное, как и то, что между двумя точками можно провести только одну прямую линию, или то, что площадь круга равна πR^2 . Это смелое предположение в отношении Авишаломы Хеврони требовало, разумеется, доказательства. И на следующее утро я собирался связаться с паспортным отделом министерства внутренних дел, а также постараться найти людей, работавших в те дни в Париже по организации нелегальной репатриации в страну. Они наверняка смогут передать мне нужную информацию о настоящем Авишаломе Хвойнике и рассказать, что с ним случилось после того, как он отдал свое воинское удостоверение. И на этом, по всей видимости, расследование можно было бы закончить.

Впрочем, вопросы остались. Если бы я знал, что отпирают ключи, найденные в его кармане, другими словами, если бы я добрался до этих комнат или сейфов в Лондоне или в Цюрихе, где он хранит свои паспорта, квитанции из банков, в которых указаны суммы полученных им репараций, переписку с издательствами „Бибер” и „Монад” и тому подобное, — то мне проще было бы убедить мое начальство в том, что здесь нет ничего для нас интересного. С этой точки зрения мои доводы в пользу закрытия дела были не более обоснованы, чем мое поспешное решение открыть его. Но есть и еще один, пожалуй, центральный вопрос, на который мне придется завтра дать ответ — почему 1957 год? Расследование, проведенное мною, базировалось до этого момента на том предположении, что наш человек приехал к стране по собственной воле, более того,

что он твердо решил стать настоящим израильтянином, в делах, в разговоре, в мыслях. Теперь же, когда развеялось подозрение в том, что в этом деле с самого начала была замешана еще какая-то сторона, и почти не осталось сомнения в том, что причина всех перевоплощений заключалась в страстном желании этого ребенка военных лет найти здесь свое последнее пристанище, с еще большей остротой встает вопрос: что же случилось в 1957 году? Так, ни с того ни с сего начал он снова слоняться по Европе?.. Чем сильнее становилось желание пустить корни в Израиле, тем более усиливалось то нечто (или некто?), которое спустя одиннадцать-двенадцать лет вырвало его из замкнутого круга своего нового „я” и заново бросило его в тот мир, с которым он раз и навсегда порвал. Что же случилось в 1957 году?

Этот вопрос мучил меня весь день. Я уже упоминал о том, что Браха разговаривала громко, и время от времени ее голос дрожал, словно его сводило судорогой. Однако это ощущение оказалось неверным. Через пару часов я стал различать в ее голосе едва уловимые оттенки чего-то такого, что мне, как бывшему радисту, представлялось позывными далекой радиостанции, доносившимися сквозь какофонию звуков и посвистываний. Я слышал слабые сигналы SOS, которые сама Браха пыталась заглушить своей непрекращающейся речью. На улице я бы не узнал теперь эту девушку с длинными ресницами и рвущейся на свободу грудью. Но на обратном пути, когда короткий день близился к вечеру и я сидел рядом с Брахой (Авива сидела теперь рядом с Гиди), во мне пробудилось вдруг давно позабытое влечение, которое я втайне испытывал когда-то к юной гимназистке. Я спросил ее, что случилось с Авишаломом, не сегодня, а десять лет тому назад. Даже сейчас, когда ее тело утратило свою гибкость, и она раздалась в бедрах, а вблизи заметны были признаки слишком раннего увядания и отложившийся слоями жир на шее и под затылком опоясал ее словно спасательными кругами — она по-

прежнему излучала необычайную женственность, и натянутые струны ее голоса, казалось, говорили: обними меня покрепче, положи голову на грудь и прошепчи всего-навсего несколько слов, поклянись, что „на этот раз либо ты поедешь вместе со мной, либо я останусь с тобой в твоём доме”. А ведь сколько лет я не видел ее? С того самого первого отплытия, поделившего мою жизнь на две половины. Чего же не хватает этому Авишалому в тель-авивской девушке, из чьего гнезда он выпархивает регулярно, два раза в год, чтобы быть Хайнцем с Бригиттой Лампрехт и Анри с Надей Дидье? Незаметно для самого себя я стал размышлять о своих взаимоотношениях с Кари. Хотя она как будто бы и отождествляет себя с моими друзьями и моей Эрец-Исраэль, в действительности же мы, Кари и я, все еще притираемся друг к другу, пытаемся быть не теми, кем являемся на самом деле, и конца этому еще не видно. Сейчас, вечером, в машине, Браха напомнила мне вдруг давно прошедшие времена, и мною овладело сильное желание приблизить ее к себе и почувствовать то, что радируют эти ее тихие сигналы мне, инженеру-эмигранту, съедаемому тоской по родине: скажи мне, скажи несколько ласковых слов, и мы оба на короткое время познаем отдохновение.

Я сделал уже почти целый круг и по улице Ибн-Гвириоль дошел до Кастеля — ближе к дому отца, чем к дому Гиди. Час был поздний, и усталость взяла верх над бурей чувств. Брахе я не позвоню и к ней не пойду ни сейчас, ни завтра. В отношении Авишаломы вопросов у меня больше нет, а впутываться в историю — если этого не требует родина, — нет уж, спасибо. Отца же я навещу, но завтра.

Только после длинной и утомительной беседы с Гиди на его громадной кухне мне удалось наконец уединиться в кабинете моего друга-писателя, где на полках были расставлены его собственные произведения, а стены завешаны картинами, полученными им в подарок от друзей-художников. Я улегся на приготовленный Авивой диван и, чтобы заснуть, стал пере-

листьявать субботние выпуски газет, разбросанные по всей комнате. Заголовки израильских газет — это особый мир. Только теперь я узнаю, что весь Париж просто потрясен антисемитским выступлением де Голля. Ну, дай-то Бог... И второе грандиозное событие, о котором я, увлекшись делом Бергерзона, даже не слышал. Насер, наконец-то, оправился от шока и произнес выпененную речь, будто „конь и всадник его” не были „ввергнуты в море”. Все начинается сначала: то, что взято силой, будет возвращено силой.

И тут я натолкнулся на третий заголовок: „Секретные службы Советского Союза, Франции и США сотрудничают с Шин-Бетом”. Ведь это же старая песенка, чего вдруг снова об этом?

Старая, да не старая. Я держал в руках страницу газеты недельной давности. Перевод из „Фигаро”. Статью в оригинале принесли мне на просмотр еще в тот же день, и я пробежал ее глазами, но, признаться, тогда она показалась мне не более, чем еще одной модной и абсолютно безвредной легендой об израильских суперменах. Иначе, очевидно, подействовала статья на доктора Брукнера и, возможно, если верить специалистам по промыванию мозгов, на всех нас: „Израильский Шин-Бет пользуется широкоразветвленной агентурной сетью во всем мире. Несмотря на нейтралитет Парижа и враждебность Москвы, многие агенты советских и французских разведывательных служб сотрудничают с израильскими тайными службами, организация которых, между прочим, сходна с организацией французской разведки”. Мы прочли, но не поняли, для чего, собственно, это говорится. Тем не менее, инстинкт разведчиков подсказывал нам, что, подобно тому как за молнией обязательно прогремит гром, так и теперь следует быть готовыми к интриге, которая подтвердит „справедливость” утверждений „Протоколов сионских мудрецов”. То, что опубликовала „Фигаро” неделю тому назад, предстает сегодня, после слов президента о „евреях, оставшихся такими, какими они были всегда”, в совершенно ином свете. Разни-

ца, по словам де Голля, состоит лишь в том, что свое традиционное „в будущем году — в Иерусалиме” израильские евреи заменили на агрессивную претенциозность и для достижения своих целей используют деньги, влияние, средства пропаганды, евреев Америки и Европы. Слишком близки по времени и однозначны эти события, чтобы видеть в деле Бергерзона простую цепь недоразумений.

Еще несколько минут назад, лежа на диване Гиди, я был уверен, что столь хорошо обоснованное мною объяснение всех метаморфоз Бергерзона—Монтрэлана—Хвойника—Хеврони должно окончательно устранить все подозрения. И сам собой напрашивался вывод — закрыть это дело. Патетическая история еврейского юноши, неустанно меняющего свой облик и ищущего все новые и новые убежища, по-прежнему не вызывает сомнений. Но и ответа на вопрос, при каких обстоятельствах и с какой целью он снова закружился в карусели масок, тоже еще нет.

Я мысленно вернулся к нашей беседе с Ицхакье в „Грас де Дье” и вспомнил „случайно вырвавшуюся” у де Транбле фразу о связях его друга-сенатора с маленьким Анри и того неизвестного — о котором рассказывал сенатор Ришару Сапиру — будто бы прошептавшего ему на ухо, что Анри Монтрэлан работает на Израиль. Между этими двумя замечаниями безусловно должна существовать связь. Теперь ясно, что это за связь — дело Бергерзона призвано было подтвердить тезис об израильской разведке, пользующейся „услугами широкоразветвленной агентурной сети во всем мире”. И эту миссию взял на себя один из самых надежных людей — генерал Жан Франсуа де Транбле. Да, дело более серьезно, чем мы предполагали.

Утром, когда я сообщу начальству о всех своих открытиях, я предложу дерзкий план, единственный, который сможет расстроить направленные против нас замыслы. Кто-нибудь — например, я — должен будет привести к прямому и открытому конфликту де Транбле и ответственного за деятельность немецкой

разведки в Лондоне, полковника Унтермайера, с нами. Мы выложим карты на стол, заявив, что на этом человеке не лежат подозрения в какой-либо шпионской деятельности и что уж, конечно, он не является нашим агентом. Любая попытка использовать всю эту историю, которая, может быть, так и осталась бы никому не известной, если бы не автомобильная катастрофа, лишь повредит тем, кто хочет погреть руки на страданиях еврейского беженца из Германии, героя „маки“, с одной лишь целью – нанести ущерб Израилю. Да, именно так я буду говорить. Так мы погасим этот опасный пожар в самом начале, и от всего „дела“ останется одна зола.

А ПРО БОЛЬНОГО-ТО ЗАБЫЛИ?

На протяжении всей книги внимательный читатель может подметить одну, без сомнения, должную ему показаться странной, особенность. Многие страницы посвящены описанию событий, последовавших за автомобильной катастрофой: анализу поведения и мыслей разных людей, которым была отведена та или иная роль в те пять дней, что прошли с момента, когда Хайнц Изидор Бергерзон потерял сознание; проверке подозрений, павших на него; собиранию подробностей, как истинных, так и вымышленных, его жизни и изучению ее. Сам же пострадавший — человек, лежащий в больнице Эксбриджа и пребывающий как в дреме, ничего не видя, ничего не слыша, ничего не говоря, и, по всей видимости, утративший память — этому больному автор почти не уделяет внимания. Как будто он — живой человек, страдающий и борющийся за жизнь, — не интересует автора этого жизнеописания. Как если бы не человек, но некий подозрительный предмет лежал бы там, в Эксбридже. Кто такой Авнер Бен-Барак, возможно, подумали некоторые из читателей, кто он, тратящий силы на описания того, каким образом лицо человека, увиденного де Транбле по телевизору, ассоциируется с книгой Мишеля Фуко, прочитанной генералом поздно вечером в постели, но не проявляющий ни малейшего интереса к исковерканному внутреннему миру человека, являющегося объектом его исследования; к тому, как же смогут воссоединиться эти

оторванные друг от друга части его бытия, — если, конечно, врачам удастся вырвать больного из забвения? Неужели ему это безразлично? Нет, всей деятельностью Авнера руководило то, чему он посвятил свою жизнь: безопасность государства, а отнюдь не безразличие. А уже после того, как он пришел к выводу, что в этом деле нет ничего такого, что могло бы иметь отношение к его работе, ему осталось только одно — положить конец возне других разведок вокруг несуществующего дела. И выполнив эту задачу, автор покинет „поле боя”; закрыв дело, он закончит тем самым свой рассказ.

Внимательный читатель прав. В основном, интересовал меня не наш герой, а его „дело”. И в понедельник утром, возвращаясь в Лондон, я был преисполнен чувства профессиональной гордости. Мои предположения подтвердились с такой точностью, что даже мой начальник не осмелился отругать меня за то, что я действовал, не советуясь с ним и не докладывая ему о ходе расследования. Проверка в паспортном отделе не только подтвердила факт перемены фамилии с Хвойник на Хеврони, но и показала, что человек этот родился в Иерусалиме (!?) в семье Авидора-Залмана и Гени Хвойников 8 сентября 1927 года. Настоящий же Авишалом Хвойник и поныне живет и здравствует в мошаве, в котором он вырос и в который вернулся из Европы в конце 1948 года. Номера паспортов у обоих Хвойников были разные, и у мошавника было записано, что он родился в Хайфе от Давида и Фани Хвойников. Когда, как и кем были сделаны эти несущественные изменения, мы не выяснили, но и у моего начальника эти различия нисколько не пошатнули уверенности в правильности моей теории. Он дал свое согласие на мое предложение вступить в открытый конфликт с французами и немцами и даже заметил, что мой визит в Израиль не привел к потере ни одного часа рабочего времени — я приземлюсь на аэродроме Хитроу примерно в то же время, когда де Транбле и Ун-

термайер вернуться к своим рабочим столам после выходного дня. Чистая работа, добавил он.

Таким образом, я возвращался из этой моей кратковременной и насыщенной поездки, что называется, усталым, но довольным. Увиденное, услышанное, поразительные открытия, пробудившиеся вдруг позабытые страсти молодости — все это перемешалось у меня в голове. Даже последний вечер с отцом, — а такого вечера не бывало и в далеком детстве, потому что отец всегда возвращался из нашей овощной лавки усталым и измученным, — даже эти тихие и спокойные часы в обществе отца не успокоили меня. Сейчас я чувствовал себя как после грандиозной пьянки, когда на следующее утро голова раскалывается с похмелья. Я очнулся от полусна-полубреда как раз в тот момент, когда самолет начал снижаться. Он прошел сквозь слой густых облаков, и уже почти при самом приземлении в иллюминаторе промелькнуло нечто тусклое и мрачное, именуемое пригородами Лондона. До чего же здесь все смазано, нет ни одной четкой линии, кажется, будто ты попадаешь в царство светотеней. Однако отчего так блестит вода и так освещена зелень? Когда мы пронеслись над бесчисленным множеством кривых улочек, над нескончаемыми рядами кирпичных домиков, над спортивными площадками и над вереницей автомобилей, я неожиданно обнаружил в себе самую настоящую тоску по старухе из Свисс-коттеджа. В нашей последней беседе, когда я звонил ей из Орли, ее реакции оказались настолько быстры и профессиональны, что были подстать самой Мате Хари. Будто она была моим агентом, а не тетушкой своего Хайнци. Как отреагирует ее сморщенное и удивительно живое лицо, когда я расскажу ей все по порядку: сперва о том, что узнал в Париже, а затем обо всем, что происходило с Авишломом Хеврони в Эрец-Исраэль за последние двадцать лет? Трудно было сейчас представить себе, что мы познакомились с ней всего пять дней тому назад. Более того, несмотря на милый и приятный вечер, проведенный в маленькой и скромной квартирке отца, чье

устойчивое и уверенное восприятие мира осталось таким же, каким было в те далекие дни, воспоминания о которых пробудила во мне поездка в Иерусалим и в Хеврон, в отношениях между нами продолжала царить какая-то болезненная отчужденность. Вот уже полжизни я бегаю взад-вперед, а на самом деле жизненный путь-то один — короткий и прямой... Но о своей жизни я даже и не пробовал рассказывать отцу — мои слова все равно повисли бы в воздухе пустыми звуками. Тетушке же, я знал, я смогу рассказать обо всем, даже о той Эрец-Исраэль, которую выдумал Авишalom Хеврони.

С аэродрома я позвонил Кари и обещал вернуться как только освобожусь. Затем я позвонил тетушке. Трубку поднял Эрез Хаммер. Утром, сказал он, здесь был профессор Хартклифф, который совсем недавно, взяв с собой старуху и Бригитту Лампрехт, с пятницы поселившуюся тут, отправился в больницу. Эрез объяснил мне, что старуха настаивала, чтобы он остался присматривать за квартирой; в его словах я слышал опасения того, что он не справился с возложенной на него задачей. Я рассмеялся. В воображении моей Маты Хари все шпионы мира только и заняты тем, что ищут способы проникнуть в ее дом. Я приказал Эрезу оставаться там до ее прихода, а потом — он свободен. Все это оказалось блефом, сказал я в телефонную трубку. И меня охватило ощущение какой-то свободы, которую я не знал долгие годы.

Мой „хильман” поджидал меня на многоэтажной автостоянке, и по спиральному выезду я соскользнул прямо на главную автостраду. Въехал в длинный туннель и из другого его конца попал наконец в нормальный мир. Я посмотрел на часы. Пока я доберусь до Лондона, весь дипломатический корпус уже успеет разбрестись по дорогим ресторанам. Самым разумным, убеждал я себя, будет отправиться прямо сейчас в Эксбридж. Позвонить я смогу из больницы, а если повезет, то удастся назначить встречу с де Транбле и с Унтермайером на послеобеденные часы. Этот же час

потерян в любом случае, и я использую его на то, чтобы увидеть тетушку. А если этого парня выписывают из больницы сегодня, то и профессору Хартклиффу будет полезно узнать его историю.

Предметом моей профессиональной гордости является, между прочим, то, что моя физиономия исчезает из памяти тех, кто меня видел, в тот же момент, когда я пропадаю из поля их зрения. Однако маленькая и пухлая медсестра, груди которой во время ходьбы, казалось, резвились под халатом, словно пара озорных котят, сразу узнала меня.

— Они все находятся сейчас в кабинете доктора Эванса, — сообщила она необычайно радостным тоном, причина которого тут же обнаружилась, — старая госпожа привела с собой профессора Хартклиффа. Знаете, люди, которых часто видишь по телевизору, кажутся нам почти что родными. Его лицо невозможно было не узнать, но я думала, что он выше, ведь по телевизору показывают всегда только одну голову, а этот восхитительный человек с бровями, как у старого льва, и глазами такими прозрачными, что сквозь них, кажется, просвечивает телевизионный экран, но такими страшными, когда они останавливаются на тебе, словно гипнотизируют, — а он ведь всюду выступает против гипноза, — и вот с этим человеком я сталкиваюсь вдруг здесь, носом к носу, и он оказывается таким маленьким...

Очевидно, что-то в выражении моего лица подсказало крошке-сестре, что и я не великан, она растерянно захихикала, раскрыла передо мной дверь, пробормотала в кабинет несколько слов и улизула.

В первое мгновение, когда в кабинете воцарилось молчание, я словно запечатлел глазами всю комнату. Кроме знакомых лиц тетушки и Бригитты, а также доктора Эванса и еще двух врачей, из которых один, если не ошибаюсь, был невропатологом, я увидел стоящего спиной к широкому окну низенького человека, так хорошо описанного медсестрой, профессора Хартклиффа. Единственное, что меня поразило в нем —

это его возраст. Поскольку тетушка рассказывала о нем как об ученике своего мужа и почти что члене семьи, в моем представлении он был молодым человеком. Коротышке же, стоявшем передо мной, было по меньшей мере лет шестьдесят. Его взгляд был, действительно, таким, как об этом рассказывала пухлая сестра, за тем разве исключением, что сейчас сквозь его глаза просвечивала серость окна, к которому он стоял спиной. По его взгляду я понял, что мой приход помешал важной беседе. Но не успел я еще объяснить причину своего внезапного вторжения, как тетушка взяла инициативу в свои руки. Она протянула мне свои ладони, на которых все еще красовались сиреневые перчатки, и морщинки радости покрыли ее темное лицо.

— О, это вы, мой ангел! — и, повернувшись к присутствующим, начала врать, не моргнув глазом. — Можете ли вы поверить, что в наше время не перевелись еще такие соседи?! Утром я рассказала этому редкого обаяния человеку, господину Авнеру, что, может быть, еще сегодня Хайнци будет переведен в Сассекс, но в тот момент, — повествовала тетушка Хартклиффу, вперившему теперь свой взгляд в меня, — я и представить себе не могла, что и об этом вы позаботитесь, дорогой Майкл. И господин Авнер немедленно заверил меня, что прибудет в больницу. Я, правда, не предполагала, что он на самом деле сдержит свое слово. Вы слишком великодушны, Авнер... С доктором Эвансом вы знакомы, с доктором Партриджем тоже, как мне кажется, а это господин Честер и, — она указала на профессора, — мой верный и самый дорогой друг, самый лучший в мире, профессор Хартклифф.

— Я вам не друг, Маргот, — произнес коротышка серьезным баритоном, — я ваш любовник, мадам!

Все рассмеялись, все сразу стало на свои места, и я был принят в качестве молчаливого слушателя. Из беседы я понял, о чем они говорили вначале. Повторные анализы только подтвердили диагноз об отсутствии какого-либо органического повреждения, которым

можно было бы объяснить нарушения жизнедеятельности организма.

— Готовность профессора Хартклиффа взять под свое наблюдение больного, — произнес доктор Партридж, невропатолог, — только радует нас, поскольку здесь мы не можем дать больному те виды лечения, которые предположительно ему нужны. Диагноз подтверждается также улучшением общего состояния больного: частичный паралич, побочные явления и онемение лица исчезли. Даже слепота и глухота стали теперь селективными. Вчера и сегодня утром мы поднимали его с постели и пытались заставить ходить. И он, встречая на своем пути препятствия — стулья, тележки с лекарствами — обходил их. Еще более показателен другой произведенный нами опыт. Спустя немного времени после завтрака, — а еду мы даем ему, как и другим больным, на подносе, где есть ложка и вилка, и он пользуется ими, — одна из медсестер помогла ему дойти до двери туалета, на которой было написано „мужской“. Больной, очевидно, не понял смысла надписи. Но когда сестра открыла ему дверь, он застенчиво улыбнулся и сам вошел внутрь. Тут проявились те рефлексы организма, которые я называю „поведенческий автоматизм среднего класса“, — доктор Партридж улыбнулся уголком рта, — то есть такие рефлексы, как закрыть дверь туалета, пользоваться туалетной бумагой, спустить воду. Наши последние наблюдения наводят на мысль, что и глухота его селективная: слова не доходят до его сознания, но шумы он различает. Мой вывод, следовательно, таков: катастрофа не повредила центральной нервной системы, она лишь по неизвестным нам причинам привела к патологическим изменениям, часть из которых уже прошли сами по себе, но у нас нет никакой уверенности, что процесс выздоровления будет продолжаться и дальше. Лишь в одном, как мне кажется, не наблюдается улучшения — слова, произнесенные или написанные по-немецки ли, по-английски ли или по-французски, он никак не воспринимает. Замешан ли здесь какой-

нибудь фактор памяти? Вопрос, какой вывод мы можем сделать из нашего диагноза, если учесть, что полное неприятие мира слов — это тоже своего рода слепота и глухота, а, может быть, и провал в памяти? Но тут я вступаю в вашу область, профессор Хартклифф.

Не только невропатолог обращался к прославленному психиатру, чей визит был выдающимся событием для всей больницы. Доктор Эванс тоже адресовал свои замечания исключительно профессору. Лишь одна Бригитта, блистая своей сдержанной красотой, наблюдала за всем как бы со стороны. Она упрямо не хотела покидать Лондон, странным образом привязавшись к старой еврейке. И уже не из-за связи той с Хайнцем, а, наоборот, будто заменив его старухой. Лицо Бригитты было обращено в сторону Хартклиффа, но ее взгляд не выражал ничего, можно было подумать, что она сосредоточилась на сером тумане за окном. И только лицо тетушки живо реагировало на каждую фразу — то казалось, что ее пронзала невидимая стрела, или что надоедливая муха жужжала над самым ухом, или кто-то проводил рукой по волосам, успокаивая ее. Сиреневые перчатки с силой стискивали сиреневый кошелек, а в глазах читалось ожидание еще большей боли. И дым ее вечной сигареты окутывал тетушку, будто внутри у нее полыхал какой-то огненный смерч.

Сам же коротышка стоял и молча слушал, наклонив голову вперед, глаза его притаились за густыми зарослями бровей. Только после того, как доктор Партридж окончил свое выступление, а доктор Эванс высказал опасения о трудностях, которые могут возникнуть при объяснении больному, куда его собираются перевозить, — потому что, скорее всего, нежелание установить словесный контакт следует понимать как вообще нежелание выздоравливать, — только после этого профессор коротко и властно подытожил все сказанное выше:

— Излишняя приспособленность больного к своему нынешнему положению должна беспокоить нас больше, нежели активное нежелание выздороветь. В опре-

деленных случаях активное сопротивление является первым шагом на пути к осознанию ситуации. Более того, поскольку с терапевтической точки зрения время играет роль отрицательного фактора, то я предлагаю немедленно перевести больного в мой санаторий.

— Среди тех „догматов веры”, которые я все больше и больше отрицаю, — профессор улыбнулся госпоже Оппенхайм, — немалое место занимает слишком длинный анализ. Поэтому отправимся лучше в дорогу.

И с той же властной ноткой в голосе он перешел к обсуждению способов перевозки больного в Сассекс. Из санатория прибыла уже сюда машина, оказавшаяся ничем иным, как маленьким амбулансом, в который можно уложить больного. Но стоит, чтобы шофера сопровождал еще кто-нибудь. Только ни в коем случае не фрейлейн Лампрехт, добавил он, заметив, что та вся напряглась, горя желанием взять на себя роль сопровождающего.

— Я полагаю, — обратился он ко мне, — что вы согласитесь составить мне компанию.

Поездка в Сассекс никак не входила в мои планы. Я планировал после посещения больницы встретиться с французами и с немцами, а потом увидеть, наконец, жену и детей. Но теперь я очутился в неудобном положении. Я был уверен, что как только старуха увидела меня, она со свойственной ей находчивостью сразу же отрезала мне пути к отступлению, оповестив всех, что я сам вызвался помочь ей. Мог ли я теперь отказаться?

Только когда я открыл перед ней дверь машины, и она задержалась, чтобы проводить глазами Бригитту, и в то же время поглаживая голову уже перенесенного в машину Хайнца, госпожа Оппенхайм спросила:

— Неужели в Израиле так жарко? Вы даже успели загореть.

Я рассмеялся. И за те несколько минут, пока мы оставались наедине, я признался, что действительно два дня провел в Израиле, и рассказал ей, что ее племянник живет в Израиле с окончания войны, что я знаком с его семьей и друзьями и что, на мой взгляд,

перед нами просто-напросто цепь недоразумений.

— Ну а кто вам твердил о том же с самого начала? — старуха с трудом сдерживала волнение. — Однако собранная вами информация может все же пригодиться. Если здесь нет секретов, то Майкл обязан знать все детали!

— О том, что я не ваш сосед, он уже, кажется, догадался!

Тетушка сделала вид, что не слышит, и обратилась к приближающейся Бригитте:

— Хайнцы уже на пути к выздоровлению, милочка!

— Он сейчас улыбнулся мне, будто узнал меня, — сказала Бригитта, — такой характерной для него улыбкой...

Странно, но и у меня возникло сейчас чувство, словно наши пути скрещивались много раз — и совсем не оттого, что он был мужем Брахи. Мне он тоже улыбнулся. Медбрата и шофера, которые перенесли его на носилках в личный амбуланс профессора Хартклиффа, он тоже одарил широкой улыбкой путешественника, следующего из одного города в другой. Я смотрел на него и силился обнаружить на его лице следы обжигающего дыхания пустыни, среди которой Авишалом Хеврони провел немало знойных дней последнего лета, но лицо это, лишенное всякого выражения, расплывалось в пугающе отсутствующей улыбке.

Машину вел я, и сидящий рядом профессор указывал мне дорогу своим резким голосом, словно капитан корабля, отдающий приказания рулевому. Мы проехали по похожим одна на другую улицам однообразных городков, окружающих Лондон, и выбрались наконец на шоссе, ведущее на юг, в сторону Брайтона. Пелена дождя превратилась в отдельные облака, рассеянные по вымытому небу, и постепенно пригород большого города уступил место сельским пейзажам. Спустя немного времени мы достигли холмов Сассекса, освещенных мягким английским светом, непривычным для человека, еще утром видевшего сияние нашего южного солнца. Я крутил руль, слепо подчиняясь

указаниям профессора, но то, что просила меня тетушка рассказать ему о Хайнце—Анри—Авишаломе, я рассказывал с подъемом.

Будем точны. Я говорил с подъемом, который, несомненно, представлял из себя нечто большее, нежели простую готовность исполнить желание тетушки маленького Хайнца. Только позже я понял, что рассказывал тогда с таким воодушевлением потому, что хотел сбросить с себя накопившийся за те несколько дней тяжелый груз: меня будто прорвало, и я произносил слова вслух в надежде, что с ними выходит из меня вся эта история. Мне хотелось рассказывать. Более того, мне казалось, что так неожиданно — ведь это путешествие к южному побережью Англии не входило в мои планы — я смогу отделаться там, в санатории, от этого человека со всеми его биографиями и вернуться в Лондон один.

Но события развивались иначе. Клиника Хартклиффа отнюдь не была похожа на те лечебницы покалеченных душ конца нашего столетия, которые рисовались в моем воображении. Она размещалась на подъеме узкой и извилистой улочки городка, больше похожего на деревушку. Скромный фасад, выкрашенные в желтый цвет кирпичи, маленькие окошки и дверь, к которой надо было спуститься с тротуара по ступеньке — ничем не отличали ее от соседних домов. Но каким сюрпризом оказалось для нас то, что мы увидели, переступив порог и войдя внутрь, — шикарная приемная, обставленная кожаными креслами, маленькими столиками с торшерами возле них, на стенах висели картины, в углу расположен был отделанный позеленевшей медью камин. Но самое большое впечатление производила противоположная стена, представлявшая из себя два ряда стеклянных дверей, сквозь которые была видна внутренность клиники. Хитроумная планировка не позволяла увидеть с улицы новое модернистское двухэтажное здание, разместившееся на отлогом склоне холма. Своим внешним видом оно напоминало какую-нибудь современную университетскую построй-

ку из точно пригнанных один к другому обожженных кирпичей, бетона, деревянной отделки и узеньких оконцев. И перед всем этим — большая, окаймленная высокими деревьями лужайка. От одного такого пейзажа, подумалось мне, здесь выздоравливают.

Все, что мог, я рассказал уже во время поездки, а теперь я завершил и свою роль шофера. Поскольку из моих слов стало известно, что я всего три часа как вернулся из Израиля, нетрудно было заметить, как я стремлюсь снова оказаться в Лондоне. Но коротышка-психиатр настаивал на том, чтобы я задержался еще по крайней мере на несколько минут.

— Вы, израильтяне, большие мастера осуществлять невозможные вещи, но если вы хотите и впредь преуспевать в этом ремесле, то вам нужно, подобно нам, англичанам, делать перерыв, чтобы выпить чашку чая.

Отдав должное восхитительному виду, мы вскарабкались на вершину холма, откуда видно было море, а затем вернулись в кабинет профессора и уселись пить чай. Во время поездки он только внимал моим словам, лишь время от времени задавая вопросы. Мы думали, что сейчас его черед говорить, но он всецело предался чаю, бутербродам и своей трубке. И Бригитта и тетушка пребывали в сильном напряжении, но ни та ни другая не пытались подтолкнуть профессора говорить. Пробормотав, что мы уже достаточно намолчались, я стал было приподниматься из кресла, и тут до меня донесся его баритон, который, казалось, обращен был к трубке, зажатой в руке.

— Главная проблема — это не то, кем он был, но то, кем он будет. Что касается его прошлого, то нам известно уже немало, хотя, как всегда, вопросов больше, — и они глубже, — чем ответов. Один любопытный вопрос был затронут вами, господин Авнер... Кстати, это ваша фамилия? Не то чтобы это имело особое значение — это имя, конечно, распространено у вас, из-за библии, но у меня оно ассоциируется как раз со стереотипом англичанина-пуританина или с каким-нибудь диккенсовским героем... Вопрос был: что же произо-

шло в 1957 году? Что привело к внезапной трещине в том облике, который он принял и который, по всей видимости, отлично играл на протяжении десяти лет и продолжал играть, — прилагая, правда, все больше и больше усилий, — еще десять лет? Мы можем попытаться найти ответ на этот вопрос, и сегодня ни для кого не секрет, что в распоряжении науки есть различные способы докопаться до самых глубоких слоев сознания. Трудность состоит в том, что речь идет здесь не об археологии, а о сложившемся механизме, и чтобы понять его строение, требуется иногда разобрать его до последнего винтика, до самой маленькой пружинки. Маргот знает, что еще несколько лет назад я высказывал сомнения в том, умеем ли мы разбирать этот механизм и, — а это самое главное, — собирать это заново. Маргот, — обратился он вдруг к госпоже Оппенхайм, слушавшей его со склоненной на бок головой и с закрытыми глазами, — вы знаете, о чем я вспомнил сегодня утром по дороге к вам? В 1944 году, когда я отправлялся во Францию, вы с Манфредом просили меня попытаться выяснить судьбу вашего брата и его семьи. Вернувшись в Англию, я приехал к вам в Гринкрофт-гарденс...

— Я рассказывала об этом Авнеру...

— И сейчас, спустя так много лет, мы все еще продолжаем поиски... — в комнате воцарилась долгая странная пауза, а затем профессор вернулся к тому месту, на котором остановился. — И второй вопрос: что еще он сменил, сменив свое имя на Анри Монтрэлан, своего отца на французского художника, а свою мать на английскую барышню? Можно ли сравнить эту его поразительную способность убеждать окружающих в чем угодно с талантом актера играть роли Гамлета, короля Лира, Ричарда, а затем стать самим собой после того, как опускается занавес? Или этот подросток чувствовал, что ему удастся выжить только ценою вычеркивания из памяти имен отца и матери? Мы слышали рассказ о том, как он превратился в немецкого солдата, надев форму вермахта и, более того,

как он стал любимцем немцев, был принят ими в свою среду. Просто ли переодевался он, меняя внешний облик, или он чувствовал, что это единственный способ выжить — на самом деле превратиться даже в глубине души в одного из них? Ваш племянник, Маргот, обладает не только поистине совершенной способностью впитывать в себя все происходящее вокруг него, но и каким-то особым талантом в минуты опасности собирать свои самые незначительные впечатления и переживания и создавать из них новый цельный облик. Рождение каждого такого облика, как мне кажется, было сопряжено у него с ужасными муками. Но по верному ли руслу направили мы наши поиски? Только ли из-за преследований и осознания того, что выжить можно лишь отрекшись от своей веры, своего народа, своих родителей, собственного имени, развился у него этот чудовищный талант? В эпоху классической фрейдистской ортодоксии мы стали бы копаться в детстве красивого мальчика из Франкфурта, выискивая те события или переживания, что послужили толчком к развитию у него столь феноменальной способности к имитации, когда каждый новый принимаемый им облик становится его новым я. Произошло ли это потому, что его это не завершило своего развития и не было обращено само в себя?

Только теперь стало видно, как внимательно слушал профессор все, что ему рассказывалось на протяжении всего этого дня о прошлом больного, как ловко рассортировал он все услышанное и собрал воедино для своего, как он сам его определил, „любительского упражнения”. И, несмотря на то, что речь его состояла из вопросов, высказываемых словно мысли вслух и обращенных к трубке и к окну за его спиной, за которым быстро темнело — то ли из-за снова покрывших небо туч, то ли из-за декабрьских сумерек, — я чувствовал, что он прекрасно знает, куда приведет его это запутанное, как лесная тропинка, течение мысли. Он продолжал разбирать механизм, задавая вопросы.

— И к чему нам блуждать по таким дебрям — дет-

ству? Ведь здесь перед нами простейший вопрос: что, в сущности, произошло в автомобильной катастрофе? Что привело к такой внезапной реакции организма? Мы можем без колебаний согласиться с результатами исследований, проведенных в больнице и так дивно изложенных доктором Партриджем. В такси находится Хайнц Изидор Бергерзон. Вдруг страшной силы удар. Машину начинает кидать из стороны в сторону. Что-то взрывается, скрипят тормоза. Бергерзон пулей вылетает из машины. Как показали анализы, нет никаких физических повреждений: ни трещины черепа, ни сотрясения мозга, ни каких-либо функциональных нарушений центральной нервной системы, ни одного перелома или растяжения — ничего. Из того, что нам известно о жизненных перипетиях Хайнца, ясно, что это человек необычайно смелый и отчаянный. Всегда в минуты серьезной опасности он проявлял хладнокровие и находчивость. Его ни в коем случае нельзя назвать трусом — всегда он вел себя как герой. Итак, что же случилось в момент катастрофы? Я склонен согласиться с выводами доктора Партриджа, что Хайнц включил тогда, что называется, аварийную систему, используя крайнюю степень психического напряжения. Почему? Но тут правильнее будет выявить не причину, а то, какова была *цель*?

Профессор оставил в покое свою трубку и перестал советоваться с окном. Из-под его всклокоченных бровей показались два прозрачных глаза, уставившихся сперва на меня, потом на Бригитту и на тетушку, словно требуя ответа. Мы все трое промолчали.

— Существует Авишалом Хеврони. Комплексов, неудач, разочарований у нас у всех много. Об Авишаломе Хеврони же, судя по тому, что я услышал от вас, можно сказать, что он удачник. Выдуманную им биографию он полностью претворил в жизнь, и это больше, нежели то, чего достигает большинство людей, которые не выбирают себе почвы, на которой им суждено произрастать. И снова мы с недоумением задаем себе тот же вопрос: что же случилось с этим преуспе-

вающим израильтянином десять лет тому назад? Что заставило его снова обзавестись документами на имя еврейского ребенка из Франкфурта? Что породило в нем желание опять вернуться к имени Анри Монтрэлан? И как, вообще, его фантазия создала другого Хайнца, кого знаете вы, мисс Лампрехт? Сложные вопросы, не правда ли? Можно дать косвенный ответ, весьма литературный: предположив то, о чем я уже говорил раньше, а именно, что всегда существовал только еврейский мальчик из Франкфурта, мы придем к выводу, что, выдавая себя за другого, он и на самом деле становился им — *был* французским подростком, *был* маленьким немцем — но стоило ему оставить эти облики, как он сразу чувствовал, что каким-то образом начинает изменять самому себе, утрачивать часть самого себя. Но есть и другой ответ, который я хочу вам предложить, — представителям определенных школ в психиатрии он понравится. Каждый мыслящий человек в те годы, когда формируется его личность (что такое личность, признаться, я не знаю. Что она собой представляет: то, как человек сам себя видит? Стиль жизни? Мировоззрение? Эго?), обязан обновлять свою жизнь или, если он не в силах исправить что-либо в своем бытии, то, по крайней мере, придумать какое-нибудь новое слово. В эти переходные от детства к зрелости годы жизнь Хайнца была подобна жизни клоуна, балансирующего на натянутой проволоке под куполом цирка. Когда нацисты шагали по улицам Франкфурта, Хайнцу было, если не ошибаюсь, шесть лет, и кто может рассказать нам, что творилось в душе такого, как он, ребенка, способного быть кем угодно в те годы до „Хрустальной ночи” — этого ужаса с выбитыми окнами и горящими синагогами. Когда Хайнцу было двенадцать лет, он с родителями эмигрировал во Францию. С еврейскими солдатами из Палестины он встретился, как вы правильно предполагаете, в восемнадцать лет. Итак, вот она, эта натянутая проволока. Жизнь была постоянным хождением по ней, сальто-мортале на трапедии. Сможет ли он снова и

снова балансировать на этой тонкой линии, время от времени кувыркаясь в воздухе, и в то же время только в защитной броне преуспевающей личности Авишалома Хеврони видеть *всю* свою жизнь?

Пухленькая сестра милосердия была права. Когда он говорил, не только глаза его расширялись. Вся его голова — лоб, возвышающийся над зарослями бровей, уши, заросшие волосами, на которые падал свет от настольной лампы, агрессивный нос с раздувающимися ноздрями — казалось, должна была принадлежать большому туловищу. Но когда он сейчас внезапно встал и подошел к окну, чтобы открыть его, я увидел маленького роста человека в сером костюме из грубого твида, какие обычно носят деревенские джентльмены.

— Израильские матери тоже верят, что все болезни происходят от открытых окон? — улыбнулась громадная голова. Только теперь я заметил на коленях у Бригитты пепельницу. Не только тетушка была окутана сигаретным дымом, Бригитта тоже дымила без остановки. Гася недокуренную наполовину сигарету, она тут же зажигала новую. В своем вязаном платье цвета клубники в сметане и без пальто в стиле а ля Живаго она уже не казалась одинокой суфражисткой. Я не забыл того, что она ответила на мой вопрос о названии парижского издательства: „После того как вы завершите это ваше бессмысленное расследование, я останусь без Хайнца”. Что же такое она слышит в словах Хартклиффа, если ее обуревают такой страх?

— Можно и мне задать вам один вопрос, Майкл? — неожиданно спросила тетушка, не поднимая головы.

— Разумеется, Маргот.

— Главная задача, сказали вы, выяснить не то, кем он был, а то, кем он станет. Так почему же вы отвечаете на первую половину вопроса и не отвечаете на вторую?

— Это не были ответы, Маргот, я сформулировал несколько сложных вопросов затем только, чтобы показать проблематичность исследуемого нами случая.

Перед нами человек, отлично функционировавший в условиях такого душевного напряжения, что все классические примеры возникновения травм ничто по сравнению с этим. В книге Инглиша и Пирсона приводится такой пример. Одного мужчину заставили жениться на девушке, чья скромность, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Как-то раз этот господин вернулся домой и застал свою жену с незнакомым мужчиной. Картина, которую он увидел, так потрясла его, что он ушел из дома и исчез. Лишь спустя три года он очнулся в другом городе, причем как и зачем он туда попал, оставалось для него загадкой. О том, что он делал все это время, он тоже не имел никакого представления. Даже когда ему показали места, где он работал, в частности, фирму, которой он руководил в течение шести месяцев, и переписку с теми женщинами, с которыми он водился за эти годы, он и тогда ничего не смог вспомнить. Более того, ни суггестия, ни гипноз не смогли восстановить в его памяти этот отрезок времени. А ведь в конце-то концов, — рассмеялся вдруг профессор похожим на звуки шофера смехом, — что такого случилось с ним, этим коммивояжером? Случилось с ним, прошу прощения у дам, то, что случается в посткейнсианскую эпоху почти со всеми нами... Травма! Амнезия! События сороковых и пятидесятых годов изменили наши представления о выносливости человека, о его способности переносить страдания... Итак, если мы вернемся к Авишалому Хеврони, то нетрудно предположить, что в 1957 году произошло нечто, — и я даже не буду делать попыток узнать, что же именно, — что пробудило в нем потребность вновь испытать то напряжение и зыбкое равновесие между неравными, как он сам правильно заметил, силами, раздиравшими изнутри его личность. Можно предположить, что для такого человека, как он, жить значит подвергать себя смертельной опасности, играть с ней — все равно, что обуздывать дикого коня, но уметь избежать ее в последнюю минуту. Представим себе этого шикарно одетого человека в тот час,

когда по дороге в аэропорт он пребывает в состоянии необычайного подъема оттого, что снова добился равновесия, легкого, как его не знающая границ фантазия, надежного, как его отточенный мозг, предусмотревший все мелочи — все, кроме одной, этой вот автомобильной катастрофы. Так неожиданно лопнула проволока, по которой он шагал. Исчез Эверест, на вершине которого он стоял, и в те секунды падения, то есть в момент, когда он услышал вокруг себя взрывы и скрежет тормозов, а его самого выбросило из машины, и он ударился головой, — он оказался в ситуации, выхода из которой не нашел еще до сегодняшнего дня. Помнил ли он в те секунды, кто он сейчас, по дороге от одного облика к другому: Монтрэлан? Бергерзон? Который из двух Бергерзонов?! Хеврони? Хвойник?.. Что ему ответить, если его спросят? И что станет с ним, когда рухнет это его зыбкое равновесие?.. Эта гипотеза, как мне кажется, может объяснить все его реакции: частичный паралич, глухоту, слепоту, провалы памяти. Ведь она — память — оставалась для него чем-то вроде последней маски, за которой он прятался от необходимости решить, кем же он является. Но, может быть, произошло нечто более простое, а поэтому и более трагичное? Просто не нашел он в себе в ту жуткую минуту вообще никакого определенного человека, а увидел там хаос и пустоту... Вот это-то предположение, Маргот, я и собираюсь проверить. И, проверив его, мы, может быть, придем к искомому ответу. С этого момента я выхожу из игры. Передо мной сейчас сорокалетний мужчина, обладающий „поведенческим автоматизмом представителя средних классов“, выражаясь словами Партриджа. Я мог бы добавить еще несколько определений его нынешнего состояния, но в данный момент он, если хотите, никто.

ДЕЛО ЕЩЕ НЕ ЗАКРЫТО

Утром я позвонил де Транбле. Еще со времен моей работы в Париже, когда „дружба и союз” между нашими странами достигли своего апогея, у меня осталось много связей, которые не были прерваны и сейчас, несмотря на холодность во францужско-израильских отношениях. И кое с кем у меня завязалась даже в свое время глубокая личная дружба, хотя французы трудно сходятся с людьми. В Лондоне круг моих обязанностей, о характере которых не стоило кричать на каждом углу, был совершенно иной, но тем не менее, позвонив тем утром, мне достаточно было назвать определенное имя, чтобы тут же получить согласие на встречу с генералом.

Тут следует вернуться к словам профессора Хартклиффа, сказанным им накануне. В речи профессора, в том виде, в каком она приведена в предыдущей главе, упоминалось несколько деталей, про которые он знать не мог, так как я сам узнал о них только на следующий день от де Транбле. Я говорю об этом только для того, чтобы представить развитие событий в верном свете: избранный Хартклиффом метод лечения — а об этом я расскажу позже — основывался исключительно на том, что ему было известно из наших слов, а не на чем-либо другом, как это может показаться из прочитанного в предыдущих главах. Привнесение в рассказ более поздних деталей объясняется тем, что в ту среду я надеялся, что эта моя

поездка в Сассекс и откровенный рассказ обо „всем” положат конец моему — смешному, признаться, — вмешательству в это несостоявшееся дело. Но то были всего лишь приятные мечты.

И вот я в кабинете генерала де Транбле. Обстановка в нем шикарная. Я уже, наверное, никогда не научусь отличать один стиль от другого. И пусть Людовик XIV был великим королем, но, честное слово, я не знаю, какие стулья считаются более ценными: его, Людовика XV или какого-нибудь другого Людовика. Однако ни роскошная мебель, ни деловитый тон беседы не делали ее более легкой для меня. Подтянутый мужчина аскетического телосложения поднялся с кресла, сделал несколько быстрых и уверенных шагов по направлению ко мне, пожал мою руку и повел меня в другой угол комнаты, вернее сказать, залы, а не к своему музейному письменному столу. Он предложил мне кресло и сам сел рядом. Что предвещает этот жест, подумал я, — хорошее или плохое? Отсутствующее выражение его лица и молчание были плохим предзнаменованием. Он ждет, когда я заговорю по-французски, и тогда сразу возникнет между нами естественный барьер — я окажусь на много ступеней ниже его.

Для того, чтобы не поставить себя в неудобное положение, я решил на дерзкий шаг.

— Поскольку могут возникнуть, — сказал я, — или уже возникли известного рода предположения, могущие только сгустить туман вместо того, чтобы развеять его, на меня возложена миссия сообщить генералу все подробности об израильском периоде жизни человека, находящегося ныне в бессознательном состоянии, — периоде длиной примерно в двадцать лет. Мы проверили все подробности его биографии и не нашли ни малейшего намека на то, что он имеет отношение к какой-либо враждебной Израилю деятельности. И я с удовольствием поделюсь с генералом всем, что нам стало известно. Но с другой стороны, мы будем весьма признательны, если и он, в свою очередь,

поделится с нами своими открытиями, поскольку мы не хотим оставить непроверенным ни одного даже самого незначительного подозрения. Мы решили играть в открытую (тут содержался „тонкий” намек на то, что любая попытка заподозрить нас обречена на провал и что каждого, кто попытается ввязать нас в дело Бергерзона—Монтрэлана, ожидает ответный удар). Поэтому я также собираюсь встретиться с полковником Унтермайером.

Здесь меня ожидал первый сюрприз. Тихим голосом, в котором слышна была неожиданно грустная нотка, де Транбле ответил, что в связи с весьма деликатными обстоятельствами он решил заняться расследованием сам, и несмотря на то, что мы только начали беседу, которой он „очень рад”, он должен сразу же заявить мне, что „от всех подозрений осталось только чувство глубокой боли”. Наполеон был первым, кто заметил, правда, слишком поздно, что от великого до смешного один шаг. Ситуацию, в которой все мы, как отдельные личности, так и целые людские коллективы, оказались, очень верно охарактеризовал один французский ученый, наш современник, такими словами: сколь произвольно деление людей на нормальных и сумасшедших.

— Подозрений, сударь мой, нет. Нет дела. А есть, о да, глубокая боль. Спектакль, в котором мы сами вызвались играть, закончен. Остался только один вопрос: что можно сделать для этого несчастного человека, героя нашего времени и его жертвы?.. Но прежде, прошу вас, расскажите мне об этом длинном периоде его жизни, израильском периоде.

Не буду повторять то, о чем мы говорили с де Транбле, поскольку те главы, в которых я „восстанавливал” прошлое нашего героя, основаны на информации, почерпнутой мною из этой и других бесед с этим незабываемым человеком. В те дни между нами сложились странные, позволю себе даже сказать, дружеские отношения. Порой мне кажется, что на мое решение оставить работу в разведке повлияло то, что

он оставил свою работу в конце той весны. Де Транбле послал нам такое теплое — и, признаюсь, интригующее — приглашение погостить в его семейном имении, что я тут же согласился. Стоит ли добавлять, что неисчерпаемой темой наших бесед была наша общая тайна — прошлое и будущее героя этой книги.

Но я забегаю вперед, намекая на последующие события, о которых я и думать не думал в тот вторник.

Ведь моя встреча с де Транбле представлялась мне как бы заключительным аккордом моего участия в этом деле. Я отправился к нему, будучи твердо уверенным, что дело это закончено. И хотя личность французского аристократа произвела на меня глубокое впечатление, я все же не был настолько наивен, чтобы просто поверить в его „слово чести“. И это неверие, свойственное разведчикам, было хорошо известно моему собеседнику. Чтобы доказать мне, что „дела не существует“, он принес конверт, из которого время от времени вынимал различные документы и клал их передо мной. Когда мы дошли до тех двух дней, проведенных нашим героем в Париже, генерал показал материалы, полученные им от своего друга в Эр Франс, хотя приложенную к этому документу записку, отпечатанную на фирменном бланке, он прикрыл рукой. Так же он поступил и со справкой из отдела репараций в Висбадене. Имя посредника, торговца произведениями искусства Аристида Рошто стало мне известно позднее. С другой стороны, он, не колеблясь, дал мне прочесть многословную телеграмму своего помощника Клода Роше. Он даже отбросил на время свой сдержанный стиль и, с трудом подавляя отвращение и глубокое презрение, обозвал его „разведкрысой“. Готовность, с которой генерал показал мне бумаги внутреннего пользования, была явлением в высшей степени необычным. Я мог объяснить это только его особым ко мне расположением. Он хотел убедить, но не только меня одного и не только в том, что он искренен в этом деле. То был своего рода протест против слов президента, произнесенных им на пресс-конференции. Де Транбле

будто хотел сказать, что „истинная Франция” по-прежнему остается „другом и союзником” Израиля. И в конце беседы я был действительно полностью в этом убежден.

Но мое участие в судьбе человека, которого мы вчера отправили в Сассекс, на этом не закончилось. Я закрыл „дело”, а оно не желало закрываться.

Сперва моя озабоченность приняла вид наивного вопроса.

— Все эти новые подробности, которые вы мне сейчас рассказали, не понадобятся ли они психиатру для восстановления прошлого больного? И не является ли это моей обязанностью — а профессор Хартклифф именно об этом меня и просил вчера — немедленно связаться с ним?

Я говорю „озабоченность приняла вид”, потому что причина ее была другой. Прошлым вечером, когда я поднялся, наконец, с кресла, чтобы не задремать сидя, профессор Хартклифф задал, как бы между прочим, вопрос, поразивший нас всех троих: „Как жаль, что все вы должны уже ехать! Может быть, вы, молодой человек, могли бы все же задержаться еще немного?”

До этого момента ясно было, что тетушка и Бригитта остаются ночевать в его доме. И когда я поднялся со своего места, они обе, как нечто само собой разумеющееся, продолжали сидеть. Но услышав теперь этот недвусмысленный, и даже более того — грубый намек, они вздрогнули, обменялись растерянными взглядами, и даже старухе, этой гениальной импровизаторше, понадобилось несколько секунд прежде, чем она нашлась что пробормотать.

— Нет, нет, позвольте ему ехать тоже. За последние семьдесят два часа этот несчастный молодой человек проделал путь на Ближний Восток и обратно. Каждая минута, на которую мы его задерживаем, — это с нашей стороны просто преступление. Закажем такси в город...

— Но, Маргот, — Хартклифф изобразил на своем

лице недоумение, — этот благородный молодой человек все равно едет в Лондон.

— Однако Брайтон расположен к югу, а Лондон к северу. Езжайте, Авнер, езжайте. Вы были для моего Хайнци все равно, что ангел Божий, и я надеюсь, что в недалеком будущем он сам сможет отблагодарить вас за все ваше добро. Пожалуйста, дитя мое, будьте осторожны за рулем...

— Брайтон?! Что вам, женщинам, искать в Брайтоне в эту декабрьскую ночь?!

Теперь Хартклифф хотел превратить все в шутку, но заметно было, что он пребывает в большой растерянности. Причины же своего поведения, которое в обычных условиях было бы непростительным, он не объяснил, а тетушка не спрашивала, что им движет. Как пойманный на месте преступления ребенок, он поспешил оговориться.

— Если вы не собираетесь вернуться в Лондон, сударыни, то вы остаетесь здесь. По сравнению с развлечениями, которые ожидают вас на ночных бульварах Брайтона, даже мое общество будет более приятным. Итак, счастливой вам дороги, господин Авнер, полководец Саула. Я буду очень вам признателен, если вы позвоните мне, и по возможности прямо завтра.

Не знаю, что творилось в душе госпожи Оппенхайм, но она приняла вынужденное приглашение Хартклиффа провести ночь в его доме коротким кивком головы. Бригитта реагировала иначе. Я видел, как ее лицо принимает резкие очертания, как сгущается в ее глазах то „серое сияние пронизанных солнцем облаков”. Я был уверен, что сейчас она встанет и заявит, что едет со мной в Лондон.

Однако она осталась сидеть, а я уехал один, полностью распровавшись с делом.

И вот сегодня я ощущал беспокойство. В Сассекс я не звонил и предобеденные часы посвятил занятиям электроникой. И все же мысли не давали мне покоя. „Дело” перестало быть „делом”, но туманные намеки

Хартклиффа, когда он безуспешно пытался отдалить госпожу Оппенхайм и Бриггитту Лампрехт от Хайнца, камнем лежали у меня на душе.

Чтобы доказать самому себе, что расследование уже закончено, я по дороге домой заскочил в „Ройял корт” и купил два билета на спектакль — что это был за спектакль сейчас мне трудно вспомнить, то ли это была новая пьеса Осборна, то ли новая постановка Уэскера. И неудивительно, что я позабыл.

Придя домой, я радостно объявил Кари, что „вечером мы идем в театр, а потом в хороший ресторан”, напомнил ей, что нужно срочно вызвать одну из тех бэйбиситер*, которые значились в ее списке, и наказал ей получше одеться. А сам тем временем сидел с детьми у телевизора. На алтарь своих обязанностей мужа и отца я решил принести на этот раз даже запись последних бесед.

Через полчаса я позвонил в Сассекс. Судя по выговору моего собеседника, я сразу понял, что он принадлежит к „воспитанным слоям общества”, как это зовется у англичан, то есть к кругу врачей. Мой выговор был не менее красноречив („один из этих иностранцев”), потому что он сразу же спросил, не господин Авнер ли я?

— Совершенно верно, — ответил я.

— Профессор Хартклифф ожидал вашего звонка. Он сам хотел вам позвонить, но выяснилось, что вы не оставили номера телефона. Прежде чем он выехал в Лондон...

— В Лондон?!

— О, да. Вместе с двумя дамами. И профессор убедительнейшим образом просил, чтобы вы как можно быстрее приехали...

— В Гринкрофт-гарденс?

— Да. На квартиру доктора Оппенхайма. Они выехали на машине чуть позже четырех, и я полагаю, что они

* Няня, приходящая по вызову.

уже приехали. Вы, сударь, позвонили очень вовремя, и если...

— Простите, вы врач?

— Да, я помощник господина Хартклиффа.

— Наблюдается ли какое-нибудь улучшение в состоянии больного, которого он привез вчера?

— Я полагаю, что именно об этом господин Хартклифф и хочет с вами побеседовать. К сожалению, единственное, что я могу вам сказать, это то, что старик особенно подчеркивал необходимость срочно встретиться.

Мой собеседник считал, очевидно, что своей настойчивостью он усложняет мне жизнь. На самом же деле он вернул меня в привычную для каждого израильянина ситуацию, когда „нет выхода”. С самого утра я жаждал сделать то, что разум не позволял делать, но теперь это желание превратилось в необходимость. Ничего не поделаешь — сейчас я вынужден. Если такой прославленный психиатр не поленился во второй раз за два дня отправиться в Лондон, если он придает такое значение встрече со мной, — я не могу отказаться. В конце-то концов, речь идет о находящемся в большой опасности израильянине, и нельзя бросить его на произвол судьбы только потому, что выяснилось, что он не шпион, а трагическая жертва самого себя. Кари я сказал только, что „что-то случилось”, обещал ей компенсацию завтра и взял на себя обязанность сбыть билеты. Нет выхода.

НЕ КЕМ ОН БЫЛ, А КЕМ ОН СТАНЕТ

Моя догадка подтвердилась — странное поведение профессора накануне объяснялось тем методом лечения, который он собирался применить к больному. Но того, что профессор сочтет крайне нежелательным присутствие обеих женщин рядом с больным на известных этапах лечения — этого я даже и предположить не мог.

Он же предлагал, он требовал от них исчезнуть из жизни человека, утратившего память. Тетушка должна была исчезнуть из жизни *ее* Хайнца, а Бриггита — из жизни *своего* Хайнца. И не только на время лечения, но навсегда.

Конечно, он прямо этого не говорил. Он разглагольствовал об оказавшейся в его руках судьбе человека. Но на этот раз профессор не ограничился постановкой всевозможных вопросов, „которые всегда интереснее и глубже, чем ответы на них”. Сейчас он дал ответ. Вопросам, сказал он, нет конца, но ответ должен быть всего один. И это будет ответ не на вопрос, кем он *был*, а на более существенный вопрос — кем он *станет*.

То, что именно об этом и идет спор между старой немецкой еврейкой и любимым учеником ее мужа, я понял сразу. Причем спорили они взволнованно, близко принимая к сердцу каждое из высказываемых возражений. На первый взгляд, дискуссия носила абстрактный характер. О собственной медицинской практике госпожа Оппенхайм упоминала как бы меж-

ду прочим, но стоило ей упомянуть имя своего мужа Манфреда, как она неизменно начинала описывать их квартиру, служившую местом встречи многих выдающихся умов времен их молодости.

— Столь долгие годы в обществе Манфреда, — улыбнулась она, — даже из осла сделали бы мудреца.

А госпожа Оппенхайм была отнюдь не ослом, но умной и образованной женщиной. И это заметно было по отношению к ней „ученика”. Хартклифф сидел в углу бордового дивана, его большая усталая голова была откинута назад, на спинку дивана. Свои короткие ноги в серых твидовых брюках он положил на скамеечку. Время от времени он посасывал погасшую трубку, словно то была кислородная подушка. Ученик был человеком немолодым, и беседа эта, длившаяся уже не первый час, утомила его.

Признаюсь сразу, передать всю прелесть их диалога мог бы только магнитофон, а если бы вся эта беседа была записана на бумагу, то она вполне могла бы быть опубликована в виде отдельной книги. У меня же сохранилось только то, что я записал сразу после того вечера, и то, что услышал от Хартклиффа в последующих наших беседах. На основании этого материала я и попытаюсь восстановить здесь всевозможные доводы обеих сторон и особо подчеркнуть то, что в конце концов убедило даже тетушку.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте — она была на исходе шестого десятка, а он в начале его, — здесь со всей остротой проявился конфликт поколений, конфликт разных миров. История жизни сына ее брата Бернарда и жены его Генриетты как бы постоянно возвращала ход ее мысли к тем годам, когда Хайнци был ребенком в донацистском Франкфурте, к годам, когда уже окончательно сложился психоаналитический метод ее мужа, которого тетушка и по сей день боготворила, спустя десять лет после его смерти.

— Манфред переворачивается сейчас в гробу, Майкл! — Тетушка повысила голос. — Вы рассуждаете не как психоаналитик, а как баптист. Вы окропляете

Хайнци водой из Иордана и, по-вашему, он с этого момента превращается в другого человека!.. Ребенок этот убегает, выдумывает для себя все новые облики, а вы вместо того, чтобы взять его за руку и шаг за шагом вернуть к действительности, к тому, чем он является на самом деле, вместо того, чтобы убедить его в том, что он не совершал никакого греха, что он ни в чем не повинен, что его настоящая жизнь лучше, чем все, что выдумала его испуганная фантазия, — вместо всего этого вы предоставляете ему возможность жить в вымышленном мире! Вычеркнуть из памяти мать, отца, все детство можно только одним способом, — заявив, что действительности больше не существует для него, и выдавая сумасшедшего за нормального!.. Ваше предложение, Майкл, не ограничивается тем, чтобы я и другие исчезли из его жизни. Вы хотите, чтобы Хайнци, настоящего, единственно существующего в действительности, не было больше. Чтобы осталось только то, чего нет.

Пафос Хартклиффа, как истинного англичанина, был сдержанный. Тетушка рассказала мне, что медицинский факультет он закончил с большим трудом, потому как то были годы большого кризиса, и его семья не могла ему помочь. И только после окончания университета он стал готовить себя к карьере психиатра. К серьезным изысканиям он приступил во время войны, и с тех пор отпечаток этого военного опыта лежит на всей его научной и практической работе. Манфреда он очень уважал, сказала она, но как англичанину ему трудно было переварить психоанализ. И сейчас, слушая Хартклиффа, я понял, что тетушка имела в виду.

— Вы, дорогая Маргот, слышали это от меня не менее ста раз, но я вынужден повторить в сто первый раз: я врач, и мой долг — лечить. К сожалению, я не обладаю сверхъестественными способностями, и как раз в той области, в которой преуспевают некоторые баптистские проповедники — делать слепых зрячими, а хромых здоровыми — я абсолютный нуль. А именно

этого вы просите от меня. Даже если бы я и знал, кем в действительности является Авишалом Хеврони, — а с вашего позволения, Маргот, этим именем я буду его называть отныне, — даже если бы мне было известно, в какую собственно действительность я должен его вернуть, то и тогда я обязан был бы прежде всего выяснить хочет ли он, или, иными словами, может ли он вернуться в эту действительность. Не существует универсального лекарства, и как старый врач вы знаете не хуже меня, что для каждой болезни, для каждого больного, нужно найти единственно подходящее лекарство. В этом конкретном случае мы обязаны задаться вопросом, что излечит нашего пациента — действительность или одно из его перевоплощений. Вы утверждаете, что истинное лицо нашего пациента — это ваш Хайнци, тот Хайнци, которого вы видите бегущим вниз по улице Киссельф в день, когда умирал его дед. Мне ли пытаться устранить этого Хайнци? Или, может быть, это правда превратилась — как по всем нам хорошо известным причинам, так и по причинам неизвестным или тем, о которых нельзя говорить вслух, — в самое неудачное из всех лекарств, которые мы можем ему сегодня предложить? Ведь в качестве Хайнци он был бы обречен на смерть. Будучи Анри Монтрэланом ему удалось выжить. Сама его жизнь зависела тогда от способности настолько точно перевоплотиться в настоящего Анри, чтобы превратиться в юного героя подполья. В те дни в нем несомненно происходили такие изменения, о которых мне никогда не удастся, — да я и не желаю этого, — узнать. После Освенцима случай с Анной, описанной Фрейдом и Брейером в их классической книге по психоанализу, выглядит, как бы это сказать, забавным, что ли.

Симптомы болезни этой несчастной девушки почти те же, что у нашего Авишаломы. Но какая все же между ними разница! Вы хотите, чтобы и мы пошли по этому, проложенному Анной, пути — свободных ассоциаций всех Хайнцев, Анри, Авишаломов?.. С какого из этих имен мы начнем? Из-за того ли, что английская

наставница поила свою собаку из стакана, Авишалом начал свое кружение между Тель-Авивом, Парижем и Франкфуртом? Потому ли, что он видел во сне черную змею, приближающуюся к кровати его умирающего отца, парализованы его конечности? А как быть с теми пятью годами его детства, проведенными в нацистском Франкфурте? Или, может быть, на него оказала влияние картина того, как парижские полицейские уводят его отца, мать и сестру? И где он в действительности скитался до того, как был обнаружен подпольщиком в кузове грузовика с навозом? Кроется ли причина его истерической слепоты в том, что мать мало целовала его в детстве, или в том, что в день высадки в Нормандии он оказался среди немцев и чуть было не погиб от пуль британских парашютистов?.. Эти вопросы, Маргот, я задаю себе уже многие годы, со времени встречи с теми, кто пережил лагеря смерти. В те дни я перестал задаваться вопросом, здоров ли человек или психически ненормален. Если он живет, работает, растит детей, смеется, строит планы на будущее — я доволен. Я не ставлю диагноз: нормален или здоров, я пишу: присутствует. И это все, что я предлагаю сейчас. Если выдумка является единственной возможностью, и ее подвергнул испытанию он, а не я, — поможем выдумке. Если это сумасшествие — пусть будет так. По окончании долгого, детального и глубокого анализа, когда мы вернем его к нормальной, настоящей жизни, он станет тем, кого уже тридцать четыре, двадцать девять или двадцать пять лет просто не существует: маленьким Хайнци. Существует Авишалом Хеврони, да и его существование стало непрочным, неустойчивым. Требования, которые я предъявляю к вам, Маргот, и к вам, фрейлейн Лампрехт, очень жестоки, но, задавая главный вопрос, который я как врач обязан поставить перед собой: кем он станет? — я не нахожу другого ответа.

Я почти забыл о существовании Бригитты, к которой он так неожиданно обратился. Она, однако, была в комнате и сидела, подобрав под себя ноги, на одном из

потрепанных кресел, в том же вязаном платье, с той же сигаретой в руках. Она не смотрела на Хартклиффа, лицо ее было обращено к темному окну за его спиной. Как и вчера, Бригитта почти не принимала участия в беседе, и у меня не раз возникало ощущение, что она совсем не слушала нас, а вела какой-то спор сама с собой. Она не воспротивилась требованию Хартклиффа исчезнуть из жизни Авишаломы, но и не поддержала профессора. Таким даром молчания, подумалось мне тогда, может обладать только „гоя” с такими вот длинными стройными ногами.

— Вы совершенно правы, Майкл, — произнесла тетушка так же быстро и с той же дрожью в голосе, — я уже старуха. Вы совершенно правы... Нет-нет, Майкл, я не напрашиваюсь на комплименты. Я говорю серьезно и вовсе не воображаю, что могу кружиться в венском вальсе или казаться кому-нибудь этакой воздушной и несерьезной женщиной, напоминающей кофе со взбитыми сливками. Нет. Если позволено мне будет сделать сравнение, то я вспоминаю прощальный вечер, — на котором и вы, кажется, присутствовали, — устроенный в нашем доме в честь Стефана Цвейга, уплывавшего в Бразилию. — Хартклифф вынул трубку изо рта и кивнул. — Тогда я была еще довольно молода и, несмотря на все сказанное Цвейгом, я не могла согласиться с высказанными им в тот вечер пессимистическими взглядами в духе позднего Фрейда, — которого мы все провожали в последний путь так символично в первые дни войны, — о первобытной мощи инстинкта смерти и самоуничтожения, о бессилии цивилизации. Во время той беседы мы уже улавливали далекие отголоски взрывов немецких бомб и стрельбы зениток... Высокомерием было бы думать, что только мы — это цивилизация, а все, что было до нас, и все, что будет после нас, — это варварство, „гунны”, как выражался Черчилль. Но позже, в ту ужасную зиму 1942 года, когда мы узнали о том, что Цвейг покончил с собой, — тогда мы, Манфред и я, на самом деле почувствовали, что погибает целый мир... Я хочу

сказать, Майкл, что если это верно, то ведь... Это... Я не могу найти определения этому... Но вы ведь были самым любимым учеником Манфреда, и если вы насмехаетесь над исследованиями Фрейда и Брейера, над тем вторжением в глубины бесконечного счастья человеческой души, если вы говорите, — не отрицая, а со *страхом* — о свободных ассоциациях, то я вынуждена признать, что вчерашний, ушедший мир — это мой мир... Нет, Майкл, дайте мне закончить! Ведь то было учение, стремившееся не к разрушению, а к освобождению, обнаружившее, что центральное место в формировании личности занимает любовь, верившее, что понимание природы темных сил, насилия и секса приведет к очищению, а не к распущенности. В ваших словах слышно глубокое отчаяние: „к чему все это вторжение в сферу поэзии — мечту, витиеватые слова, любовь. Есть химия, и стоит только найти нужную формулу, и в нашем распоряжении будут рецепты по борьбе со страхом, таблетки смелости, таблетки любви, таблетки, помогающие мечтать. Человек состоит из раздражителей и реакций. Человек — это всего-навсего чуть более хитрая обезьяна...” Неужели можно так вот, без прошлого, без детства, без семьи? Я думаю о Томасе Манне и его Будденброках. Об Иосифе и его братьях. О путешествиях Пруста к утраченным, — но неизгладимым — дням своего детства. Как можно, Майкл, дорогой, совсем без ассоциаций? Вкус пирога и чая тети Леони навеивает ассоциации, подобные тем, — вопреки тому, что вы говорите, — какие возникают от того далекого дня в Бад-Хомбурге, когда маленький Хайнци бежал по улице Киссельф по направлению к казино... Как вы можете дать Хайнци новое „я”, новое имя, лишив его всех воспоминаний, словно он какой-то варвар?.. Вы говорите не то. Мы с вами знакомы и с уважением относимся друг к другу вот уже тридцать лет, и я знаю, что вы говорите со мной не только как врач, чья обязанность лечить, но и как друг. Вы хотите убедить меня в том, что мой мир на самом деле больше не существует. Вы хотите сказать,

что я не теряю сейчас Хайнца, поскольку я и не находила его, поскольку он давно мертв.

Я должен снова подчеркнуть, что беседа не была такой гладкой, как это может показаться. Она производила впечатление путаного, нестройного диалога. Но Хартклифф ведь пригласил меня для определенной цели, а не в качестве простого слушателя. Поэтому единственное, что я могу сделать, это восстановить как можно точнее, и вместе с тем как можно деликатнее, самое важное в этой беседе. Припоминается мне, например, как встрепелась вдруг Бригитта, — если я не ошибаюсь, при словах тетушки „я не теряю сейчас Хайнца, поскольку я и не находила его”, — и я ощутил, как истекает кровью ее сердце.

— Профессор, — произнесла она, — я хочу спросить вас о чем-то, хотя я не уверена, есть ли у меня право вмешиваться в беседу...

— Ну зачем вы так говорите, дитя мое, — с укором сказала старуха.

— Всего несколько лет, и то в течение коротких промежутков времени, я была знакома с человеком, чья личность и биография составляли некое совершенное единство, которое я любила, очень любила. Между нами возникло нечто такое, чего я не знала ни с каким другим человеком, ни с каким другим мужчиной. И он по-прежнему чрезвычайно дорог мне. Для меня неважно, кто должен исчезнуть — я из его жизни, или он из моей, — точка опоры, которой я лишаяюсь сейчас, слишком реальна. Путь, предлагаемый профессором Хартклиффом, не придает никакого значения тому факту, что Хайнци, которого знала я, в моей жизни был реален и неповторим, — ведь, по вашим словам, он был „человеком, которого не было”...

— Нет-нет-нет, — перебил ее Хартклифф, — если так вы меня поняли, значит я не сумел объяснить, что я имею в виду. Конечно же он был. В те часы, когда он был, — он существовал. Ведь это же основной мой тезис — действительность есть то бытие, в котором можно жить. Человек не бежит в мир иллюзий, он

словно плывет туда. Имеются интересные свидетельства того, что Колумб решил отправиться в плавание на запад, туда, куда до него никто не осмеливался путешествовать, только потому, что был мистиком и мечтал, в сущности, о возрождении Иерусалимского царства. Так он открыл Америку. Существует некий странный взгляд на то, что человек будто бы отлит из меди. Но это неверно. Человек — это совокупность различных вариантов. Один из них, — возможно, наиболее притягательный для того, кто, на мой взгляд, является сегодня в первую очередь Авишаломом Хеврони, — это вариант, с которым были знакомы вы, фрейлейн Лампрехт. То была его отчаянная попытка отождествить жившего до потопа Хайнци, которого Маргот справедливо сравнила с ребенком Марсея Пруста, с запуганным еврейским мальчиком-беженцем. И она, попытка, все то время, пока предпринималась, была весьма реальной и ощутимой. Я ограничил себя вопросом: что теперь? На основе проведенного мною сегодня исследования я пришел к выводу, что это желательный для него вариант. Это все.

— Я бы хотела спросить вас еще кое о чем, — сказала Бригитта. — Вам знакомо, конечно, учение Виктора Франкеля, книги которого пользуются большой популярностью, а самого его называют „Фрейдом эпохи после Катастрофы“. Как только я узнала, кем на самом деле является — или кем являлся — Хайнци, я вспомнила одну из книжек Франкеля, прочитанную мною недавно и произведшую на меня большое впечатление. В отличие от Фрейда, говорившего о стремлении к наслаждению, и от Адлера, говорившего о влечении к грубой силе, как об основных стимулах человеческой души, — Франкель предлагает для нашего поколения другой путь, путь поиска значения — стимула человеческого бытия. Надеюсь, я не ошибаюсь...

— О, нет. Вы очень верно передаете его мысли, — улыбнулся Хартклифф. — Он именуется свое учение „третьей венской школой“...

— И это только потому, что он чересчур скромный! —

возмутилась тетушка. — Из-за того, что он еврей, он еще больший баптист, чем Майкл!

— Вы не принимаете его всерьез? — спросила Бригитта.

— Это обычные семейные ссоры. Франкель больше любого из нас имеет право говорить, ибо он, а не мы, побывал в аду. Да, но мы прервали вас.

— Он говорит, что человек может вынести тяжелейшие испытания, если знает, ради чего он страдает, когда видит в своей жизни какой-то смысл, определенное назначение. Если Хайнци принял облик Авишалом Хеврони и прожил под этим именем столь долгие годы, то я думаю, что это и было тем смыслом, которым он наполнил свою жизнь...

— Можно и так определить ситуацию, но с большей осторожностью.

— В этом-то и вопрос. Моего Хайнци он изобрел позже. То же самое с позднейшей биографией Анри. Не противоречит ли все это вашему предположению о том, что теперь должен быть только Авишалом Хеврони? Не получится ли так, что ничего не изменится, и как до сих пор личность Авишалом Хеврони не могла вместить в себя всего его полностью, будто он не умещался в ней, так и в будущем он не обретет под ногами твердой почвы? Я согласна с вашим утверждением, что ваша единственная задача — дать ему быть тем, кем он в состоянии быть, но если он в состоянии жить только тогда, когда является и тем и другим одновременно, то не надо ли позволить ему жить как прежде? Может быть, именно в этой раздвоенности он и ощущает свою цельность?

Признаюсь, и тут, как и в речи тетушки, сквозь сложные формулировки до меня доносились отзвуки отчаянной борьбы Бригитты за своего Хайнца. Как его жизнь может быть полноценной, если из нее будет вычеркнуто то, что для нее является всем? Хартклифф не торопился с ответом, не отводя своих прозрачных, устрашающе раскрытых глаз от ее лица. Сейчас, в этой тишине, я услышал вдруг тихое завывание ветра за большими окнами, выходящими во двор. В Израиле

мы говорим „западная стена дома”, „северная стена”. Но здесь Лондон — север атакует с юга, запад с востока. Это Лондон. Пятое декабря.

— Я понимаю ваш вопрос, мисс Лампрехт, — произнес Хартклифф и снова замолчал, будто обдумывая ответ, — вернее говоря, два вопроса. Первый, почему не нужно возвращать его в то состояние, в котором он пребывал до аварии. И второй, откуда у меня такая уверенность, что личность Авишаломы Хеврони не распадется снова подобно тому, как уже было. На первый ваш вопрос существует ответ, на второй нет. Но прежде покончим с Франкелем и жадной осмысливания, как центрального фактора душевной деятельности и как терапевтического средства, в особенности, по отношению к тем людям, о чьих тяжелых жизненных испытаниях он рассказывает. Итак, разграничительная линия между прошлыми и сегодняшними поколениями — и в этом согласны с Франкелем и я, и другие — такова. В прошлом говорили о какой-нибудь глубокой ране в душе ребенка, взрослого, девушки, и эта рана давала осложнения, была открыта для проникновения инфекций и вела к различным болезням. Это травма. И болезни будут преследовать человека до тех пор, пока не устранен будет источник инфекции. Но сегодняшнее поколение все травмировано, травма затронула всех нас. До этих пор я согласен с Франкелем. Дальше пойдут разногласия. Слова „стремление понять” определяют предмет с крайней осторожностью, и поскольку я, как утверждает Маргот, являюсь англичанином, то задал осторожный вопрос: что означает этот термин? Мы, англичане, относимся немного скептически к любой аксиоме, навязанной нам извне. У нас нет конституции, в английском языке нет синонима слову „мировоззрение”, и английскому социализму не передалась страсть Маркса к изысканию объективных законов... То есть, человек, конечно же, ищет смысл, но находится ли он вне его или внутри его? И, постигая этот смысл, получает ли человек от этого удовлетворение? И не выясняется ли в тот мо-

мент, что на самом-то деле он искал нечто другое, и что главное заключается в самом процессе поиска?.. Все, что утверждал Франкель, очень трогательно. Он так же, как последователи двух первых венских школ и как вообще любой хороший врач, помог многим людям. И я не сомневаюсь, что его теория поможет многим покалеченным душам, перенесшим нашу с вами общую великую трагедию. Но коли мы с вами затронули эту тему, мисс Лампрехт, то стоит припомнить слова Сартра, с которыми Франкель не согласен, о том, что человек *изобретает* свою сущность. Франкель же утверждает, что это „изобретение” не есть главное, ибо происходящий процесс есть процесс *открытия*, и человек как будто открывает то, что вне его. Чем больше я думаю про наш случай, тем больше я склоняюсь к тому, что Хайнци выдумал Авишалома Хеврони, то есть самого себя, просто для того, чтобы выжить. Без „изобретения” Авишалома Хеврони он не смог бы выжить.

Как я уже отмечал, беседа эта велась не так, как я ее описываю здесь. Я был с такой поспешностью вызван профессором на квартиру к тетушке вовсе не для того, чтобы быть свидетелем их разговора. Мне с самого начала было кое-что понятно, но подобно историкам древности я счел нужным так построить свое повествование, чтобы создать у читателя живое ощущение напряженности, царившей в комнате. Более того, чтобы попытаться дать ретроспективную картину того, что наложило такой глубокий отпечаток на мою собственную жизнь.

Это „кое-что” было специальным тестом или серией тестов, которым подверг профессор Хартклифф Авишалома Хеврони. Только позже мне стало известно, что „хартклифф” – это общеупотребительный термин в среде тестологов. И несмотря на то, что автор этого модного теста все еще подвергается перекрестному огню как со стороны приверженцев ортодоксальной глубиной психологии, так и со стороны противников этой ортодоксии, считающих, что нельзя всерьез прини-

мать слова больного и что природа отношений между ним и врачом носит субъективный характер, — несмотря на это, число исследователей, видящих в „хартклиффе” важный шаг вперед, все увеличивается. Сравнивая этот метод с рентгеновским просвечиванием, утверждают даже, что с его помощью можно заглянуть в самые тайники души, не применяя хирургического скальпеля.

Очень часто Хартклиффу приходится выискивать у больного хоть какую-нибудь щелку в его сознании, чтобы через нее проникнуть внутрь. Отправной точкой системы Хартклиффа является именно этот краеугольный камень глубинной психологии, именуемый свободной ассоциацией. Определенный опыт он накопил, работая во время войны в военных госпиталях. После войны Хартклифф продолжал свои изыскания, обследуя бывших заключенных, переживших немецкие лагеря смерти. Собранные им материалы и результаты его исследований языка, как своего рода кода души, привели Хартклиффа, по его словам, к тому, что он перенес акцент с техники свободной ассоциации на ее смысловой аспект — то есть на слово. Возникли две проблемы, на первый взгляд кажущиеся совершенно разными, но, по сути своей, связанные с одним и тем же явлением. Как, например, установить контакт с раненым, находящимся в шоковом состоянии и утратившим дар речи, не прибегая к „содиум амитал” и к гипнозу? Как лечить людей, кочевавших на протяжении многих лет из страны в страну и менявших языки, культуры — иногда по три-четыре раза, — не принимая во внимание, что язык — это не простой набор знаков, как, например, азбука Морзе, а сложная система, в которой каждое слово несет особую духовную нагрузку? Можно ли записать реакции человека, утратившего дар речи, — подобно тому, как записывают биотоки мозга, или сигналы в детекторе лжи, или в тесте, определяющем по морганию век, насколько глубок сон человека, — чтобы по этой записи определить, где находится та маленькая щелочка в его

сознании? А как быть с людьми, вырванными из одной языковой среды в другую, можно ли узнать, чему они окажут самое большое сопротивление, чтобы случайно не поранить скальпелем чувствительные ткани их души?

Таким образом, система тестов Хартклиффа призвана была навести мосты между разными школами и найти путь решения одной из центральных проблем, как он выразился, „этого травмированного прошлого”. Случай с Авишаломом Хеврони требовал быстрого лечения — то же мы слышали и от Партриджа, — чтобы предотвратить „привыкание” больного к своему состоянию. „Хартклифф” — это была система тестов, состоявшая из серии слов, подобранных в соответствии с их фонетической силой и способностью вызывать сильную „чувственно-культурную” реакцию у пациента. Окончательный вариант серии устанавливался после большого количества предварительных тестов, как визуальных, так и слуховых, которые „посылались” больному по зрительным и слуховым каналам. В тех случаях, когда, предположительно, шок был связан с языково-культурной принадлежностью больного, Хартклифф поочередно „стрелял” словами из серий на языках, которыми тот, возможно, владел. (Свои первые широкие клинические исследования он провел на поляках из армии Андерса, осевших в Англии и разрывавшихся между своими национальными чувствами и ненавистью к коммунистическому режиму на их родине, а также на иммигрантах из бывших английских колоний в Азии и Африке и на беженцах из нацистской Германии.) Хартклифф считал, что применения техники свободной ассоциации, при которой слова как бы „вырываются” помимо воли больного и „выдают” его, помогая расшифровать тайный код его сознания, — еще недостаточно. Возможно, еще большую роль играет нечто другое, что можно сравнить с позывными „SOS” тонущего корабля, но не на языке международном, а на своем, известном только ему. Это страстное желание выжить, утвержда-

ет Хартклифф, очень хорошо можно проиллюстрировать на графике многоязычного теста, который указывает, где именно располагается центр тяжести — главная причина заболевания. Язык, на который больной реагирует больше всего, не обязательно является языком, которым он лучше владеет, но скорее языком, за который цепляется это его желание выжить. Как бы то ни было, во всем, что касалось Авишалом Хеврони, необходимо было преодолеть большую трудность. У Хартклиффа не было диапозитивов и магнитофонных пленок на иврите. И все же, несмотря на то, что в подобных случаях нельзя полагаться на импровизированные решения, он срочно связался прошлым вечером с израильским профессором, читавшим курс лекций на факультете Азии и Африки университета Сассекса, и совместными усилиями они подготовили серию на иврите. („Мне пришлось бессовестно врать моему израильскому коллеге, — улыбнулся Хартклифф, — чтобы он даже отдаленно не догадался о причине столь срочной необходимости в этой серии“.)

Но как раз эта, сделанная на скорую руку серия, которая, казалось, должна была быть менее надежной по сравнению с немецкой и французской сериями, демонстрировавшимися параллельно ей на протяжении многих часов, — оказалась самой эффективной и, как без конца повторял Хартклифф госпоже Оппенхайм и Бригитте, развеяла его последние сомнения.

— По правде говоря, — сказал он, — решение я принял еще вчера вечером. То было субъективное решение психиатра, сегодня оно получило объективные доказательства. Сомнений нет. Код дает однозначный ответ — Авишалом Хеврони.

И все же он не оставил два вопроса Бригитты без ответа. Я привожу его слова полностью, поскольку из них станет понятным, для чего я вызван был к нему с такой поспешностью.

— На ваш первый вопрос, как я уже говорил ранее, ответ есть. И он отрицательный. Вернуться к ситуации,

существовавшей до автомобильной катастрофы, просто невозможно — потому что не к кому возвращаться. Очень хорошо выразил Вильгельм Штеккель суть ситуации, которая возникает при катастрофах. Автомобильная авария или катастрофа, случающаяся с альпинистами, — явления отнюдь не такие случайные, как это может показаться на первый взгляд. Это не более, чем проявление инстинкта самоуничтожения. У нашего же героя авария сыграла, кажется, обратную роль. Подобно участникам автомобильных гонок, он развивал все большую и большую скорость, утверждаясь в тайной мысли, что если он не погибнет в этой гонке, то никогда больше не будет участвовать в такого рода затеях. И только какой-нибудь чрезвычайной силы потрясение, при котором его жизни будет грозить смертельная опасность, возродит его, что называется, из мертвых. Вернуть Авишалома в предаварийную ситуацию — будет означать, что мы сами, своими руками, толкаем его к краю пропасти. Если я верну, милочка, вашего Хайнца в ту абсолютную пустоту, в которой он пребывал до аварии, то что его там ожидает? Он превратится в выдуманного Хайнца из гамбургского патрицианского семейства. И что же он станет делать в этой его жизни? Есть еще один вариант, предложенный Маргот. Откровенно рассказать ему обо всем, чтобы перед его глазами снова прошли события его жизни, катастрофы, горы лжи и все обрушившиеся на него несчастья. Но это отнюдь не значит, что мы сделаем из него вполне сформировавшегося человека. Напротив, мы проведем его по Виа-Долороза, и на этот раз — до самого креста. В конце этого пути не осталось бы и следа ни от одного из знакомых нам лиц, которые он принимал. Авишалом сделан из крепкого материала, но такое испытание раздробило бы даже гранит... Остается второй вопрос — на чем основана моя уверенность в том, что личность Авишалома Хеврони не начнет распадаться вновь? У меня и нет такой уверенности. Как я уже говорил, я не знаю и не хочу знать, что случилось в 1957 году. Если что-то снова

начнет давить на него с такой же силой, как и раньше, то трещины, эти или новые, могут появиться опять. Я же могу сказать только следующее: с практической точки зрения — а психиатры обязаны быть людьми практичными — это единственное решение. Авишалом Хеврони является мужем, отцом, бизнесменом, он живет в Израиле двадцать лет и выехал за границу по своим обычным издательским делам.

Теперь Хартклифф обратился ко мне.

— Когда ждет его жена?

— В следующую субботу, так она сказала, он будет уже дома.

— Итак, самое позднее в пятницу он должен вылететь из Цюриха. То есть, у нас есть еще достаточно времени.

— За десять дней вы закончите все лечение?!.. — воскликнула тетушка.

— У нас нет десяти дней, да в них и нет необходимости. Я нашел ту щелку. Подобрал ключ. Авишалом с нетерпением ждет. Нам осталось только назначить — с умом и осторожностью — этот час. Господин Авнер, вы будете заведующим сценой и позаботитесь о том, чтобы не была позабыта ни одна мелочь. Он должен очнуться в больнице в Цюрихе, надеть на себя одежду Авишалома Хеврони, взять его паспорт и билет и вернуться домой.

— Но как мы узнаем, где он все это спрятал?

— Я на секунду загляну в тайную щелку, спрошу его и сообщу вам. — Страшная усталость, которая, казалось, должна была сразить старика, исчезла. Он рассмеялся своим глубоким баритоном и издал звуки, похожие на рычание боксера. — Не забывайте, что я все-таки немножечко кудесник. И сейчас, когда мы с ним познакомились, и я знаю, кем он хочет быть, я применю к нему свои чары.

— Вы имеете в виду, что я должен буду сопровождать вас до самого Цюриха? Но в его положении...

— Нет, Боже упаси. Вопреки всей нашей мудрости, мы не знаем, что же происходит на самом деле в душе

такого, как он, человека. И я снова повторяю, не обижайтесь на меня, Маргот, подсознание — это великий чудесник, изощряющийся в разных фокусах. Даже Манфред был близок к мысли, что те возможности, которые мы приписываем подсознанию — это в большой степени лицемерие с нашей стороны. Никогда мы не узнаем, забыл ли наш герой все или это запутанная, глубоко скрытая, но вместе с тем жизненно важная игра его души. И наша задача играть на его стороне, а не против него. Чрезвычайно важно, чтобы он ни на минуту не сомневался в том, что ему удалось всех нас обвести вокруг пальца. Рано или поздно вы, Авнер, встретитесь с Авишаломом Хеврони в Израиле. Но до тех пор вам нельзя попадаться на его пути. Все будет спланировано мною здесь и моим другом-коллегой в Цюрихе. Я вместе с одним из моих помощников буду сопровождать его в полете, и до тех пор, пока он не наденет халат щорихской больницы, он, как ему и положено, будет Хайнцем Изидором Бергерзоном. Очнувшись же, он должен с головы до ног превратиться в Авишалома Хеврони, прибывшего туда из Израиля. Всего остального будто бы и не существовало.

Немые слезы текли из глаз госпожи Оппенхайм. Лица Бригитты мне не было видно: оно было обращено к окну, открывавшему вид на серый город.

Профессор Хартклифф встал с дивана, подошел к тетушке и поцеловал ее в морщинистый лоб.

— Я знаю, насколько жесток предложенный мною путь, жесток для всех. Но все прочие варианты намного ужаснее. Они просто невозможны.

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Поскольку рассказ о человеке в бессознательном состоянии начался с описания автомобильной аварии, нужно было бы и закончить его в тот момент, когда наш герой приходит в себя под именем Авишалом Хеврони в щорихской больнице, или, самое позднее, в ту пятницу, когда он в последний раз вылетел из Европы в Лод. Я не случайно говорю „в последний раз”, ибо, насколько мне известно, с тех пор он ни разу не выезжал за пределы Израиля.

Бригитта не обманулась в своих предчувствиях: „Когда вы закончите расследование, — сказала она мне в индийском ресторане „Сент-Джонс-вуд”, — вы не найдете того, чего искали. А я же, подсказывает мне мое сердце, останусь без Хайнца”.

Он оставил навсегда не только Бригитту. Он всколыхнул тетушкино спокойствие, исчезнув из ее жизни так же внезапно, как и возник, не сказав ей даже: „Здравствуй, дорогая тетя Маргот!”

Но поскольку обе женщины — как и еще несколько человек — оказались посвященными в удивительную тайну: в странные метаморфозы этой изменяющейся личности, — его окончательное исчезновение оставило после себя ощущение того, что он как бы незримо присутствует рядом. Раймон Маритэн, например, считавший себя приемным отцом нашего героя и из-за войны поменявший профессию с психиатра на политика, воспользовался своим визитом в Лондон в каче-

стве члена парламентской делегации, чтобы отправиться в Сассекс и расспросить Хартклиффа о том, каким образом удалось тому в течение считанных дней совершить такое чудо и спасти „несчастливого ребенка, святого мученика”. То же и Ришар Сапир. Его взволновала мысль о том, что сын его друга Бернарда, который, как он думал, отрекся и от своего имени, и от своего происхождения, — оказался на самом деле образцовым израильянином. У доктора же Брукнера поворот судьбы нашего героя ассоциировался с самым смелым из когда-либо совершенных им поступков — телефонным звонком в израильское посольство в Лондоне. Об изменениях в душе Авишаломы он говорил не как о любопытнейшем психологическом явлении, а, пользуясь терминами христианской мистики, как о „трансфигурации”.

Одним словом, из памяти Авишаломы Хеврони были вычеркнуты те люди, которые попадались ему на его пути в разных его обличьях, но в памяти этих людей продолжали существовать и Хайнц, и Анри, и весь он. Его личность продолжала оказывать влияние на них, и в нескольких случаях это привело даже к неприятным последствиям.

История, начавшаяся автомобильной аварией и продолжавшаяся в соответствии с непостижимой логикой нашей сумасшедшей эпохи, закончилась, как могло показаться с первого взгляда, в ту минуту, когда псевдошпионский узел был разрублен благодаря психотерапевтическому вмешательству, и наш герой благополучно вернулся в свой город, к своей семье, на свою работу. Но она не завершилась, и не только с точки зрения автора этого жизнеописания — ведь я тоже был одним из тех, в ком образ Авишаломы Хеврони вызвал такую бурю чувств и переживаний. По роду своей службы я стал чем-то вроде перекрестка, где сходятся все пути. Прошли месяцы, прежде чем мне самому стало ясно, с какой силой продолжает этот образ глодать меня изнутри. История не окончилась в больнице на берегу Цюрихского озера.

Автомобильная авария не была началом существования героя этого жизнеописания, она всего лишь открыла в нем первую страницу. И оно не завершилось в Цюрихе, там оно лишь получило новое направление. Поэтому нужно рассказать о том, как протекала жизнь Авишалома Хеврони с того момента. Ибо только конец этой жизни может стать концом нашей истории.

Итак, вернемся к тому, на чем мы остановились. В те дни конца ноября — начала декабря я по-прежнему смотрел на все это дело глазами разведчика. И когда внезапно обнаружилось, что никакого „дела Бергерзона” не существует, у меня создалось ощущение того, что меня попросту надули всеми этими выдуманскими биографиями, и я оказался в дурацком положении. И тем не менее я продолжал делать все, что от меня требовалось, и даже сверх того, но каждый раз я был уверен, что это мой последний вклад в это дело. Однако каждый новый шаг влек за собой следующий, и невозможно было остановиться на полпути. Профессор Хартклифф придавал такое огромное значение „декорации” — тем условиям, в которых наш герой должен был находиться по пути в Цюрих и вплоть до своего возвращения в облик Авишалома Хеврони, — что мне казалось, будто я готовлю к засылке резидента.

— Чем уже будет крут людей, знакомых с его историей, — наставлял меня профессор, — тем меньше вероятность того, что какая-нибудь мельчайшая подробность его жизни просочится наружу и достигнет ушей родных и знакомых Авишалома. А это представляет для него смертельную опасность. Ведь на самом-то деле мы не знаем, что происходит в душе этого человека: то ли он на самом деле утратил память, то ли это не более чем хитроумная игра, успех которой в большой степени зависит от того, верим ли мы ему. Самые незначительные намеки на его прошлое могут в определенных условиях вызвать необратимую реакцию и привести к роковым последствиям. На вас,

господин Авнер, возлагаются две ответственные задачи. Вы выезжаете завтра, сразу же после того как я сообщу вам по телефону адрес, который я выужу из Авишалома (странно, но я ни минуты не сомневался в том, что такой адрес действительно существует в Цюрихе и что Хартклиффу удастся установить контакт с человеком, вот уже восемь дней как утратившим дар речи), найдете его документы, одежду, все, принадлежащее Авишалому, и доставите это в больницу. И вторая не менее важная задача — убедить молчать всех тех, кому известны все прошлые метаморфозы Авишалома. От этого зависит его жизнь. Они должны понять это и принять обет молчания.

Что делать в тех случаях, когда на вас возлагается дело, заниматься которым вы не обязаны, но отказаться от которого не можете (или не хотите)? В этих случаях вы сразу находите себе всевозможные оправдания. Так и я: важно, чтобы именно я собственноручно проверил, что это за адрес (а утром в среду, как и было условлено, Хартклифф сообщил мне его по телефону — серый жилой дом к северу от цюрихского вокзала и от реки Лиммат), дабы удостовериться, что там действительно нет ничего такого, за что можно было бы ухватиться, и чтобы я, таким образом, мог бы с полной уверенностью отчитаться перед начальством об „окончательном закрытии дела”. Ведь я все равно совершаю в декабре вояж по Европе для поддержания связей как по делам фирмы, так и по моим секретным делам. Потом в любом случае мне надо посетить Париж, чтобы рассказать Ицхакле о развитии событий после нашей последней встречи в „Грас де Дье”, да немножко и об Израиле. Потом совсем неплохо завязать контакт со столь значительным человеком, обладающим такими обширными связями, как де Транбле. Да почему бы заодно не проверить, что там происходит с доктором Брукнером? Хитра и изворотлива сила довода! И мне вдруг стало понятно, что хотя меня никто не принуждает

заниматься этим, казалось бы, не моим делом, я все же обязан им заняться.

Я не стану перечислять того, что я обнаружил в квартире, расположенной на маленькой улочке, ответвляющейся от Нордштрассе, — а было там в точности то, что предполагал профессор Хартклифф: на двери висела простенькая табличка с надписью „Хеврони“, и в двух скромно обставленных комнатах дешевой гостиницы были вещи Авишаломы и ничего более. Я также не стану пересказывать содержание всех тех разговоров, которые вели мои герои. Не в этом дело.

Дело в том, что мы не расстались с образом человека в бессознательном состоянии — ни я, ни все те люди, которые вычеркнуты были из его памяти, но в памяти которых он продолжал жить. Незаметно складывались странные отношения между людьми, хранителями тайны этого человека. Наверное, никогда еще такие отношения не объединяли еще столь удивительную компанию. В основе заговора молчания лежало не прошлое, а будущее Авишаломы Хеврони.

Сперва я думал, что у меня есть объяснение всему. Де Транбле прямо из кожи вон лез, чтобы поддержать дружбу со мной. Я прекрасно понимал, что он делает это вовсе не из-за моего обаяния, а из-за какого-то внутреннего возбуждения, владевшего им в те дни. Он будто подводил общий итог своей жизни. Такого рода знакомствами человек моей профессии не вправе пренебрегать. В этом я пытался убедить и себя и свое начальство. Однако в действительности наши беседы не носили характера разговора между двумя разведчиками, а были посвящены всему тому, о чем я уже писал в предыдущих главах, и, конечно же, Авишалому Хеврони. Весной де Транбле оставил Лондон и, наконец-то, ушел в отставку, поселившись в своем родовом имении. А в начале лета этот рассудительный и сдержанный аристократ сделал неожиданный жест: в почтовой открытке, отправленной на номер моего почтового ящика, он пригласил меня с Кари и детьми провести конец недели в его имении. В воскресенье

из Парижа приехали сенатор Маритэн и Ришар Сапир, и мы долгие часы гуляли по прекрасному парку де Транбле и беседовали. Четверо мужчин, посвященных в „заговор молчания”, мы вели беседу на одну-единственную тему: Авишалом Хеврони.

Мои отношения с Брукнером, сделавшим тем временем блестящую карьеру, тоже я объяснял для себя самым простым образом. Фон Штойссель был переведен из Лондона в одно из южно-американских государств, где его прошлые заслуги, безусловно, помогут ему занять почетное место в тамошней большой немецкой общине. Брукнер занял его должность — был назначен генеральным консулом. Высокий пост, правда, ободрил немного Брукнера, но израильянина, в чьей судьбе он сыграл определенную роль, он не забыл. Брукнер регулярно звонил госпоже Оппенхайм, справлялся о ее здоровье, спрашивал, не слышно ли чего-нибудь нового „о нашем живом феномене”, не собирается ли фрейлейн Лампрехт снова наведаться в Лондон, спрашивал обо мне и просил, чтобы я связался с ним.

Я связался с ним. И не только потому, что благодаря профессору Хартклиффу мы стали соучастниками „заговора молчания”. Наши отношения с Брукнером носили весьма целенаправленный характер, что сильно отличало их от чувств, которые я испытывал к де Транбле. Я помнил, правда, о том телефонном звонке, свидетельствовавшем о каких-то угрызениях его совести, но я также прекрасно понимал, что Брукнер в глубине души побаивается, как бы я в один прекрасный день не воспользовался этим звонком, чтобы шантажировать его. В этих его угрызениях чувствовалось что-то неискреннее. Но вопреки этому, — а если вам угодно, то именно поэтому, — я извлекал пользу из встреч с ним. Во время наших встреч, которые мы никогда не назначали в одном и том же месте, он очень старался подчеркнуть отвращение к поколению своего отца. А как-то с радостью сообщил мне даже, что, наконец-то, Унтермайера выпроводили на пенсию.

В тех кругах, где вращаются он и фон Штойссель, добавил Брукнер, нет никакой опасности, что они наткнутся на знакомых Авишаломе Хеврони. С тем же отвращением он говорил и о Руди Дучке, и о всех прочих из „новой левой”, определяя их как „нацисты наизнанку”. Снова и снова он говорил мне, делая при этом ужасно серьезное лицо, что „великой традиции парламентаризма англо-саксонской цивилизации и настоящей, истинной вере в Бога нет замены!” Все это, признаться, нагоняло на меня тоску. Даже та информация, которую, казалось, я мог извлечь из его бесконечной болтовни, оказывалась на деле пресной и никому не интересной. И все же мы продолжали встречаться. Мы встречались еще и еще раз для того, чтобы говорить о человеке, жизнь которого была известна только нам, связанным обетом молчания.

Я по-прежнему пытался найти всему рациональное объяснение. Летом, когда Ицхакле вернулся из Израиля, он рассказал мне, что ему удалось разузнать об Авишаломе Хеврони в Тель-Авиве. Оказывается, он известен там как человек смелый и решительный, а совсем не как человек, перенесший недавно тяжелую травму. Его деятельность не ограничивается быстро развивающимся издательством „Баркай”, он принимает активное участие в работе разных организаций, объединений и движений, которые выростали как грибы на плодородной израильской почве тех дней. И тут Ицхакле преподнес мне свой сюрприз. Несколько страниц из газетного субботнего приложения. Там были хорошо иллюстрированные интервью с потомками тех евреев, которые давным-давно осели в стране. Были тут уважаемый учитель, ведущий свое происхождение от святого Ари*, о чем свидетельствовал старинный документ; жена внука одного из

* Ари (аббревиатура слов Ашкснази раби Ицхак) – Ицхак Ашкснази Лурия (1534-1572), один из крупнейших каббалистов, оказавший большое влияние на всю еврейскую религиозную философию. Родился в Иерусалиме, последние годы жизни провел в Цфате.

основателей Дгании*, девушка из Иерусалима по имени Малка Азулай из рода самого Хида**, который (как отмечал журналист), в свою очередь, со стороны матери был внуком р. Иосефа Бялера***, прибывшего в Иерусалим в 1700 году вместе с приверженцами р. Иехуды Хасида****. И среди них, поверите ли, был Авишалом с описанием всей его хевронской родословной.

Неудивительно, что имея такие неопровержимые доказательства полного выздоровления Авишалома, я не удержался и тут же позвонил Хартклиффу. Наша первая телефонная беседа состоялась вскоре после его возвращения из Цюриха. Но тогда он не слишком охотно отвечал на мои вопросы о том, как же ему удалось совершить такое чудо.

— Никакого гипноза, никакого колдовства. — Ответ профессора был уклончив. — Один-единственный раз, да и то с величайшей осторожностью, я провел сеанс гипноза для того, чтобы узнать у него адрес на Нордштрассе. И сделал я это *не против его желания*. Против его желания я не стал бы ничего делать. Все остальное возникло как бы само собой, как только он увидел свою одежду, документы и чемодан. Я не „пересадил” в его память прошлое Авишалома Хеврони, и мне никогда не узнать, „вспомнил” ли он или не „забывал” вообще. Мы всего-навсего помогли ему быть тем, кем он хотел быть.

Но уже тогда сам Хартклифф выразил пожелание, в котором проскальзывали нотки опасения: если мне

* Первый израильский киббуц, основан в 1911 г. на берегу озера Кинерет.

** Хида (аббревиатура слов Хаим Иосеф Давид Азулай, 1724-1806), выдающийся ученый-галахист, один из первых еврейских библиографов. Уроженец Иерусалима.

*** Р. Иосеф Бялер (?) — входил в группу хасидов, репатрировавшихся в Эрец-Исраэль вместе с Иехудой Хасидом.

**** Иехуда Хасид (Сегал ха-Леви, 166?-1700) — проповедник в Польше, организовал группу приверженцев и с нею прибыл в 1700 году в Эрец-Исраэль.

станет известно что-либо новое о поведении Авишаломы, то он просит сообщить ему об этом. Сейчас, чтобы поразить его, я показал ему газету с фотографией и перевел текст под ней — и Хартклифф действительно был поражен. „Такого драматического улучшения я себе и представить не мог, — сказал он и, к моему удивлению, добавил, — почти устрашающего улучшения”. На мой вопрос, почему „устрашающего”, он улыбнулся и ответил, что это просто распространенное выражение в английском языке. В эту минуту и мною овладела мысль, что разрушена последняя перегородка между тем, кем на самом деле является наш герой, и тем, кем он никогда не был. Неудивительно поэтому, что я поспешил сообщить об этом госпоже Оппенхайм.

Только заметив, как безучастно смотрит она своим погасшим взором на фотоснимок и как дрожит газетный лист в ее старческих пальцах, я понял, что вестью о формировании Авишаломы в цельного человека лишил ее последней надежды на возвращение ее потерянного племянника. Со времени того долгого вечера, проведенного с Хартклиффом, с этой умной и жизнерадостной старухой творилось что-то неладное — и вот теперь я совершил ужасный поступок.

Это было уже после того, как мы вернулись из имения де Транбле. Для меня настал тогда тяжелый период — „дело” Авишаломы Хеврони не только вышло из-под моего контроля, оно стало управлять мною. Кто-то из моих начальников еще много лет назад записал в моем личном деле: „Авнер — человек хладнокровный и целенаправленный”. Но теперь мне стало ясно, что начиная с той первой недели декабря я все время пытаюсь обхитрить самого себя. Я прекрасно сознавал, что позволяю себе такие вещи, соверши которые кто-нибудь из моих людей — я бы немедленно отправил его домой. Я собственными руками срывал с себя маску инженера-электронщика с бесцветным лицом, который поселился в Лондоне, оставшись без работы во время экономического

кризиса в Израиле и носит нелестный титул „эмигранта“. Я прикладывал немало усилий, чтобы сохранить в тайне все, что имеет отношение к прошлым обликам Авишаломы, но себя самого я все больше и больше рассекречивал. Каждой из моих новых связей можно было найти объяснение и оправдание, и в те дни, когда были, казалось, причины для подозрений против человека в бессознательном состоянии, никто не мог обвинить меня в непродуманных действиях. Правила конспирации я стал нарушать на каждом шагу как раз *после* того, как убедился во время того двухнедельного визита в Израиль, что перед нами всегонавсего цепочка недоразумений. Только тогда я начал подыскивать рациональные объяснения своим действиям! Мне удалось убедить моего начальника, которого уже тогда, наверное, удивляла моя суетливость, в том, что конфронтация с де Транбле необходима, черт его знает для чего... То же и с моими внезапными решениями поехать в Эксбридж и связаться с Хартклиффом... И зачем мне надо было бегать к тетушке из Свисс-коттедж, будто только этого мне и не хватало в мои сорок три года... А бесконечные встречи с Брукнером!.. А визит со всем семейством к одному из бывших руководителей французской разведки!.. И как вершина всего – Франкфурт!..

Об этом невозможно умолчать, хотя рассказывать не слишком приятно в особенности о той моей последней поездке во Франкфурт, когда мне вдруг показалось необычайно важным показать Бригитте израильскую газету и перевести ей слово в слово восторженный рассказ Авишаломы о Хевроне, городе, в котором родился он сам, его мать, его дед. Ведь мы уже приближаемся к концу этого жизнеописания.

Эта часть нашего повествования не столь очевидна, как может показаться читателю. На протяжении многих лет Франкфурт так или иначе был одной из моих постоянных остановок. И по сей день он видится мне как тем осенним днем, промокший и сумеречный, улицы его в грудах развалин, от домов остались лишь

неуклюжие остовы, а весь центр этой древней столицы немецких императоров усеян обломками камней. То были мои первые дни в Европе, и каждая такая картина ужасной тенью запечатлевалась в памяти. Тогда поговаривали еще о полной деиндустриализации Германии, и в моей фантазии рисовались картины, будто почерпнутые из старинных преданий: как плугом пропахивают борозду в земле разрушенного Иерусалима и посыпают ее солью. Но потом по долгу службы я не раз попадал на день-два в этот город, отстроенный и бурлящий жизнью. И с каждым разом мне становилось все труднее определить, что построено вновь, что восстановлено, а что будто само по себе выросло из руин. Я, правда, не слишком предавался изучению происходящего вокруг. Я занимался своими делами, а в свободные часы подвергал себя добровольному заточению в номере, стараясь не останавливаться дважды в одной и той же гостинице, чтобы не почувствовать себя в этом городе как дома.

Ничто не изменилось и в последние мои визиты сюда. Я не менял обычного распорядка дня. И все же было одно отличие. Во Франкфурте была Бригитта.

Так я пишу сейчас. Тогда же, после возвращения Авишаломы в Израиль, у меня на все было объяснение. Еще в ту среду, когда я улетал в Цюрих, я договорился с Бригиттой, что подвезу ее на аэродром. Предыдущим вечером, после долгого разговора с Хартклиффом стало очевидным, что ей больше нечего делать в Лондоне. Хартклиффу она сказала, что утром возвращается во Франкфурт. Естественно, что я предложил подвезти ее. Всю дорогу мы проделали, едва обменявшись парой фраз, но в европейском павильоне аэропорта, когда мы протянули уже друг другу руки, чтобы распрощаться и направиться каждый к своему самолету, она вдруг сказала: „Если вам станет известно что-нибудь новое о его здоровье, пожалуйста, постарайтесь сообщить мне. Ведь из нас всех только у вас есть возможность, может быть, даже подружиться с ним. — Бригитта упорно не назы-

вала его никаким именем. — Вы с ним вполне можете стать хорошими друзьями. И если вы случайно окажетесь во Франкфурте...”

Да, я оказался там. Весной. И я, разумеется, позвонил в издательство „Бибер”. Бригитта была на месте. Она не скрывала своего волнения, готовая немедленно приехать туда, откуда я звоню, уверенная, что у меня есть для нее „новости”. Мы встретились вечером, в заведении, являвшем собой нечто среднее между рестораном и харчевней, неподалеку от „Ремера”. Я уж и не помню, когда в последний раз ужинал вдвоем с такой молодой и очаровательной женщиной, и не по долгу службы, выполняя какое-нибудь секретное поручение, а просто так, чтобы побеседовать о мужчине, которого она встретила здесь, который был отнят у нее в Лондоне и который живет сейчас в Тель-Авиве, являясь совершенно другим человеком. Во Франкфурте у меня никогда еще не было подобных приключений с женщиной, которая — а этого нельзя было не заметить — при любых обстоятельствах оставалась бы привлекательной, а уж тем более в тот вечер, когда она будто хотела зарядить меня каким-то телепатическим зарядом, чтобы я передал его при случае Авишалому. Нет, ничего „исключительного” не произошло тем вечером ни в ресторане, ни во время прогулки, когда Бригитта показала мне „Тип-Топ”, маленькое кафе, в котором она впервые встретила „его”. То был всего-навсего еще один из вечеров участников „заговора молчания”.

А после, когда в конце лета Ицхакле принес мне то поразительное интервью в газете, я по привычке вспомнил, что во Франкфурте меня ожидают несколько неотложных дел.

В то время я уже отдавал себе отчет в происходивших внутри меня скрытых, но неумолимых переменах. Во мне, словно в песочных часах, одна половина моей души опустошалась, а другая наполнялась. От меня не ускользнула реакция госпожи Оппенхайм на

известие, которое я ей принес, но Бригитта, я был уверен, воспримет его иначе.

На этот раз я на всякий случай позвонил из Лондона, и мы заранее назначили день, час и место встречи: тот самый ресторанчик, похожий на харчевню. Некое упрямство, которое не поддавалось никаким разумным объяснениям, безраздельно завладело мною.

Только спустя много времени после того, как я закончил переводить ей газетный текст, она отвела свои глаза от фотографии, и я заметил в них какое-то отчаянное одиночество. Ее лучистые серые глаза подернулись дымкой, а на лице появилось выражение готовности к бою. Мой холодный расчетливый мозг подсказал мне, что нужно делать. Нужно положить мою руку на ее руку. Я положил свою руку на ее руку. Сжать ладонью ее пальцы и приблизить их к моему лицу. Я сжал ее пальцы и приблизил их к моему рту. И нежно поцеловать их от имени Авишаломы. И нежно поцеловал их от имени Авишаломы.

Рассказывать дальше? Нет.

Мужчина сорока трех лет. Хладнокровный и расчетливый человек, чье лицо — а он не раз доказал это на деле — забывается в ту же минуту, когда он уходит. Из множества масок, которые он поменял, больше всего он любил маску Хаима Берковича. Ведь не поменяй отец своей фамилии на Бен-Барак, и не дай он своему сыну имя полководца царя Саула, — это было бы его настоящим именем. На двадцать четвертом году службы, во время которой он не раз подвергал свою жизнь серьезной опасности, когда не на кого опереться, переложить ответственность, — он, всегда такой целенаправленный, перестал вдруг быть самим собой. Это сравнимо с песочными часами: полжизни уже прошло. Авишалом незаметно завоевывает меня, а я — Бригитту.

Я предпочел бы вообще умолчать об этой истории, но без нее биография нашего героя была бы неполной.

На следующий день я вернулся в Лондон. Кари я сказал, что примерно через год смогу выйти на пен-

сию, а потому уже сейчас пора проситься домой. Со времени Шестидневной войны меня стало сильно удручать то, что я не в Израиле. Все главное происходит там, а я кручусь здесь. Да, кроме того, наступил подходящий момент у нас, там, по-настоящему заняться, наконец, электроникой, перед которой открываются блестящие перспективы. И для детей важно закончить школу в Израиле, и тебе, Кари, улыбнулся я ей, пора начать привыкать к тому, что наши жизни связаны с Эрец-Исраэль. Слушая себя, я и сам убедился в справедливости своих слов и в тот же день отправил длинный рапорт в Тель-Авив. В нем я привел еще массу разных убедительных доводов, суть которых сводилась к тому, что мои личные интересы полностью совпадают с интересами дела. Ведь такой работой должен заниматься человек инициативный, со свежими идеями, а главное, — добавил я после долгих колебаний, — чтобы он, в отличие от меня, не привлекал бы излишнего внимания.

Связи с участниками „заговора молчания” я прервал без всяких церемоний. К моей радости примешалось, правда, чувство некоторого разочарования оттого, что моя просьба была немедленно удовлетворена, будто кто-то в стране с нетерпением ожидал этого моего рапорта. Никто даже не попытался переубедить меня. Ответ я получил в начале сентября, а в ноябре мы уже укладывали чемоданы.

За день до отлета домой я позвонил госпоже Оппенхайм. Никто не поднял трубку. Мною снова овладели те ощущения, которые в течение девяти месяцев не давали мне покоя. Я уже продал машину и поэтому поехал к ней на метро. Я вышел на станции „Финчли” и оттуда пошел пешком к розовому дому на Гринкрофтс-гарденс. И снова желтые листья падали с высоких деревьев. Квартира госпожи Оппенхайм была заперта, и никто не отвечал на звонок. Я подошел к соседней двери и нажал на кнопку. Дверь приоткрылась. На меня смотрели испуганные глаза старого еврея.

— Госпожа докторша? — он был необычайно удив-

лен. — Она скончалась. Ровно неделю тому назад.

— Но ведь она не была больна!

— Когда человеку за семьдесят, ему совсем не обязательно быть больным. Вы ее родственник?.. — с сомнением произнес он.

— Нет.

— У нее не было родственников. У нее не было детей. Ну, да какая разница, когда ты жив, то не видишь их, а когда мертв, то они уже и не нужны тебе.

АВИШАЛОМ ХЕВРОНИ И ВСЕ ЕГО БУДУЩЕЕ

Я человек рационального склада ума.

Сейчас на дворе ноябрь. Ровно год тому назад я приступил к жизнеописанию этого человека, к тому времени уже скончавшегося. И вот я дописываю последние страницы. Я будто одержим этой книгой, хотя с самого начала — более шести лет назад — отлично знал, что такая книга, творение такого человека, как я, „вызовет кое у кого удивленные взгляды”, как сказали бы мои английские друзья. Тем более это верно в отношении моих еврейских знакомых. Ведь книга — это ты сам. Написал книгу — значит, ты сам пережил то, о чем пишешь. Может быть, в этом проявляется связь с еврейской космологией — мир был создан словом. Бог не сделал. Он сказал. Так же и те, кто, используя определенные сочетания двадцати двух священных букв, могут сотворить вселенную или разрушить ее. Ты написал книгу — значит, ты превратил свои поступки, мысли, саму плоть свою в слова, в буквы: ты сделал то, что сделали великие фараоны, воздвигая пирамиды. Но даже самая маленькая книга в полумраке какой-нибудь гигантской библиотеки будет жить дольше пирамиды Хеопса — в этом убежден каждый еврей. Даже мой отец пишет книгу! Я обнаружил это, к своему немалому удивлению, во время нашего первого визита к нему после того, как мы вернулись в Израиль. Я заметил, как он торопился убрать со стола подозрительную груду бумаг, и когда он

отправился с Кари на кухню, полистал их: действительно, он писал книгу! Сорок лет он торговал в своей овощной лавке, проводил там дни и ночи. Я знал, правда, что когда-то он горел какими-то другими идеями, но их свет, так я думал, давно погас. И вот, пожалуйста, не просто воспоминания, а глубокие размышления: „беседы с моим отцом, благословенна память святого праведника“, „размышления о современном еврействе“, „Бялик случайно зашел в лавку...“, „споры с арабами и их признание нашего права на эту страну, данную нам Богом“. Да, недаром отец сменил фамилию с Беркович на Бен-Барак и меня назвал не Хаимом, а Авнером. Вот человек, жизнь которого превращается в книгу.

Я иронизирую не над отцом, а, скорее, над самим собой. Ведь и я написал книгу. Если бы я писал только о том, с чем была связана моя жизнь с самых юношеских лет, о тех захватывающих историях, о которых уже можно рассказывать, — то книга вышла бы весьма остросюжетной и даже в чем-то *назидательной*. И моя потребность писать — потребность, вызванная тем, что я, во-первых, еврей, а, во-вторых, человек, знающий много тайн, — нашла бы тогда свой выход.

Но *такая* книга!

Желание рассказывать о ходе этого странного расследования овладело мною еще в Лондоне, но я уверен был, что такой книге никогда не суждено увидеть свет. Я не забыл предупреждений Хартклиффа об исключительной важности соблюдения всего этого дела в строжайшей тайне, как если бы Авишалом являлся глубоко засекреченным агентом в чужой стране. Ибо, как ни старайся я изменить одни детали и сгладить другие, все равно всегда найдется кто-нибудь, кто разгадает тайну и разнесет ее по миру, подвергая тем самым опасности жизнь Авишалома Хеврони.

Но полностью мне так и не удалось побороть в себе это страстное желание. И я по привычке составлял для себя конспекты всех бесед, отмечая в хронологическом порядке все основные события этой

истории. Но — пока эти записи были необходимы мне для ведения расследования — они не представляли ни для кого никакой угрозы. Однако и после того, как выяснилось, что Авишалом не замешан ни в какой враждебной деятельности, я все же продолжал записывать все подробности моих бесед с участниками „заговора молчания”. И это писание в стол, не преследовавшее никакой определенной цели, лишний раз указывало на происходящие во мне перемены, которые достигли своей критической точки в ту летнюю ночь во Франкфурте.

Надо сказать откровенно: той ночью я увидел себя в совершенно ином свете. Вместо того, чтобы сообщить Бригитте новости о столь дорогом для нее человеке, — который, по существу-то, и незнаком ей и живет полнокровной жизнью в Тель-Авиве, — я превратился вдруг в заинтересованное лицо, пытающееся занять его место. Чье место? Ведь Бригитта была знакома с блудным сыном добропорядочных родителей-немцев из Гамбурга. Неужели она и во мне находит нечто притягательное для себя: не знаю, но всю вторую половину моей жизни, которая, в основном, прошла в Европе, я не сидел на одном месте, а находился в беспрестанном движении, каждый раз меняя свой облик, каждый раз с другим паспортом и с новой легендой, и каждый раз действуя все с большей хитростью и изворотливостью. Эта долгая половина моей жизни предстала передо мной вдруг, как если бы главным ее содержанием была не работа, но моя собственная *личность*, которая теперь начала вызывать у меня ощущение, близкое к страху. Та ночь с Бригиттой словно осветила всю мою жизнь, как ночной выстрел в лесу. Начав с подозрений по отношению к человеку, найденному в бессознательном состоянии на шоссе, ведущем из Лондона в аэропорт Хитроу, я в конечном итоге пришел к тому, что стал подозревать самого себя. Не являюсь ли я сам каким-нибудь Хайнцем-Анри-Авишаломом, потерявшим из-за обилия масок собственное лицо?

Причудливые фантазии, которые я продолжал вплетать в „дело Бергерзона“, желание написать книгу, превратившееся в навязчивую идею, — все это получило теперь иное освещение.

Поэтому понятно, почему я ощутил вдруг такую неотложную потребность вернуться домой, полностью предаться любимой еще с юношеских лет электронике и сделать наконец свою жизнь нормальной и цельной.

И понятно, что мне очень хотелось встретить Авишалома, но Авишалома живого и энергичного, а не оранжерейного, как бы содержащегося под стеклянным колпаком. И вот, приведя в порядок дом и окончательно свернув все свои дела в Лондоне, я смог объявить, что у меня есть договоренность о работе в одной известной израильской фирме и что мы полностью и навсегда поселяемся в Израиле. Только после всего этого я позвонил Гиди. Он реагировал немедленно и именно так, как я ожидал: „В пятницу вечером вы у нас!“

В пятницу вечером в шикарной квартире Гиди и Авивы собралось много друзей, приглашенных в нашу честь. Здесь были, в основном, те, с кем я поддерживал отношения все эти годы, как, например, Джони Гросс (кстати, этот вечер был устроен отчасти и в его честь: он вышел в отставку после двадцати семи лет службы в армии). Но были и ребята, которых я не видел со времен Марсея, то есть с 1946—1947 годов. Так, я встретил там Петра Великого, который и сам достоин того, чтобы о нем написали книгу. Он был, что называется, прирожденным хозяйственником: все, в чем бы мы ни нуждались, он доставал, и мы не спрашивали, каким образом. Возможности, открывшиеся в тогдашней Европе, разбудили притаившегося в нем торговца, и в один прекрасный день он произнес фразу, в один миг превратившую его из Мойше Гильдада в Петра Великого. „Сегодня за полцены можно приобрести столько кораблей, сколько и не снилось Петру Великому. Однако я человек без амбиций!“ Сейчас он был такой толстый, такой

солидный, что я просто не узнал его. Пока он не произнес своим неизменившимся сильным и сочным голосом: „Это я, все такой же худой, как и раньше, но просто плотно пообедавший!..”

Были там еще разные люди, но я сосредоточил свое внимание на первой встрече с Авишаломом. Они появились неожиданно. Сперва вошла Браха, которую я уже видел год тому назад, и потому сейчас меня не удивило, что от пухлой и веселой девушки с длинными ресницами не осталось и следа; а за ней — высокий мужчина, немного более тяжеловатый, немного менее гибкий, чем я представлял его себе по рассказам других. Но, действительно, приятный, с живым лицом и свободно чувствующий себя в гостинной. Он с каждым обменялся парой слов, поцеловал Авиву, поделился новостями издательской жизни с Гиди, наклонился к Хаеле, жене Джони, и прошептал ей на ухо нечто такое, от чего она разразилась оглушительным смехом, подошел к Джони и рассказал ему пару сплетен из армейской жизни, которые тотчас разнеслись по всей комнате, бросил Петру Великому (ставшему, правда, не кораблеторговцем, а весьма преуспевающим строительным подрядчиком) шутку: „Когда же ты прекратишь наживаться на филистимлянах и начнешь оживать руины Иудеи и Самарии?“, и сел на приготовленное для него место. Итак, вот он, человек, которого я впервые вижудвигающимся и говорящим, — Авишалом Хеврони.

Весь тот вечер я занимался только одним: не отводил от него глаз, прислушивался к беседам, которые он вел с гостями, пытаюсь различить хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь самую малую неправильность в его речи, которая выдала бы его, позволила бы увидеть, что созданный им облик — фальшив. Но напрасно.

Я и сам немного крутился по миру, и мне приходилось выдавать себя за другого, но сейчас под любыми пытками я все равно клялся бы только в одном: это Авишалом и никто другой. До мозга костей он

наш, из нашей компании, самый что ни на есть свой парень, из тех, кого не просят показать удостоверение личности и которых не спрашивают, что им тут надо. Он вызывал во мне то же доверие, что и сын моего друга Хэзи, Эрез Хаммер. На протяжении того вечера были моменты, когда я, казалось, мог точно определить окружение, в котором вырос Авишалом. Его внешний облик, жесты, подмаргивания, излишнее подчеркивание гортанных звуков, непередаваемая смесь возвышенного библейского слога с идишистским ивритом — все это безошибочно указывало на уроженца сельскохозяйственной колонии барона*. Но тут-то я как раз и могу ошибиться, предостерег я себя, — слишком долго я прожил за границей. К числу иерусалимских старожилов он тоже вполне может принадлежать. Не обитателей Рехавии и Бет-ха-Керема, а тех представителей „старого ишува“, которых сегодня почти уже и не встретишь. Одно несомненно: ни йеке**, ни французом он быть не может. Это просто смешно!!!

Но было нечто еще более удивительное. Ведь я все же видел его дважды до этого, хоть и мельком. Я слышал о нем много рассказов, и много разных людей подробно описывали мне его. Благодаря всему этому у меня сложился определенный образ. Но когда этот человек сидел напротив меня, он предстал передо мной в совершенно ином облике. Его волосы стали суше, будто их недавно подпалили, у кожи лица появился какой-то другой оттенок, и во всем его облике чувствовалось что-то напряженное, ничего сытого, умиротворенного. Было в нем нечто неподдающееся определению, но отлично известное каждому из нас. Такого человека, встретив в любом краю света, можно остановить и спросить на иврите; „Простите, но мы с вами, кажется, знакомы?“

* Барон Эдмонд (Биньямин) де Ротшильд — покровитель первых сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль в конце XIX — начале XX в.в.

** Прозвище немецких свресв в Израиле.

Та первая встреча с ним, признаюсь, шокировала меня и еще больше впутала в эту удивительную историю, именуемую Авишаломом Хеврони. Я все время помнил замечание Хартклиффа о том, что в этом совершенстве кроется нечто „устрашающее“. Эти слова Хартклиффа отзывались во мне, словно тикание бомбы замедленного действия. Человек, за которым я наблюдал весь тот вечер, был до такой степени самим собой и никем другим, что я начал сомневаться, не путаю ли я действительность с выдумкой.

Это ощущение не исчезло и тогда, когда я хорошо познакомился с Авишаломом. Напротив, оно лишь усилилось. И это требует особого объяснения, тогда, быть может, станет понятным мое стремление опубликовать эту книгу.

Но сперва необходимо в двух словах описать мою собственную жизнь в тот период. Это книга не обо мне, но нельзя не сказать, — так, как я это делал в предыдущих главах, — почему, собственно, жизнь Авишалома Хеврони так прочно переплелась с моей собственной.

Наш переход к новому образу жизни прошел гладко, и это всех нас очень радовало. Еще за несколько лет до нашего возвращения в страну мы купили дом в одном из зеленых кварталов северного Тель-Авива, и доходы от сдачи его в аренду помогли нам теперь рассчитаться с долгами. Пенсия, назначенная мне в связи с моим уходом в отставку, представляла собой скорее некое пособие на черный день, но я ни в коем случае не чувствовал, что жизнь уже прожита. Я внезапно обнаружил, что жизнь начинается не в сорок лет, как утверждают популярные книжки, а в сорок три года, даже в сорок четыре, даже в сорок пять...

Ящики с багажом прибыли. Мы красиво обставили дом. Постепенно, хотя и не без неизбежных трудностей вживания в новую среду, я достиг определенного положения в дирекции фирмы, где я должен был заниматься развитием той области электроники, в которой

специализировался. Впервые, если не считать того короткого промежутка времени, когда я учился в Технионе, мы наслаждались счастьем спокойной семейной жизни. Атмосфера оптимизма, царившая тогда в Израиле (хотя уже начались тяжелые бомбардировки на Суэцком канале, вошедшие в историю как Война на истощение), повлияла благотворно и на нашу жизнь. Наши дети, которые вдруг выросли, с особым энтузиазмом стали готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Двойное иго, тяготевшее над ними, — жизнь в чуждом для них обществе, когда приходилось каждые несколько лет менять страну и язык, а также секретная деятельность их отца, сказывавшаяся, так или иначе, на всех домочадцах, — было наконец снято с них. Теперь я мог рассказать им о всех моих делах, и они могли завязывать дружбу с кем угодно и приводить своих друзей домой. То же произошло и с Кари. Между нами снова не было ничего такого, что я должен был хранить в тайне даже от нее, а она, обладавшая чудесным даром молчания, даже не пыталась выудить их из меня. Я теперь не исчезал внезапно, зачастую не предупредив ее и не сообщив, когда вернусь. Только теперь, двадцать два года спустя после нашей первой встречи на палубе корабля „нелегальных” репатриантов и на двадцать втором году нашей совместной жизни, я понял, как обманчиво было все эти годы ее благородное молчание, с которым она принимала свою судьбу. Кари не была столь углубленной в себя и замкнутой, как я думал. Она ограничивалась узким кругом наших постоянных знакомых, выбранных с крайней осторожностью, вела домашнее хозяйство, смотрела за детьми, много читала и ходила, как правило, в одиночку, в музеи, кино, универмаги, театры, концертные залы. Но как только мы устроились в нашем доме, и жизнь наша вошла в обычную колею, мне открылась новая Кари. Та компания, которая собиралась у Гиди, стала первым звеном в круге наших новых знакомств. С помощью Авивы, с которой Кари очень подружилась, она устроила в один из пят-

ничных вечеров нечто вроде новоселья и пригласила всех наших друзей и моих коллег по работе. Постепенно этот круг знакомств расширялся, и Кари, к моему удивлению, получала огромное удовольствие от этого нового образа жизни. Ведь Кари, в сущности, не была израильтянкой. Она провела в Израиле лишь два года до нашей женитьбы, тот период, когда я учился в Технионе, да короткие промежутки между моими новыми назначениями. Основная часть ее жизни прошла в Европе, в ее Европе. И теперь она восторгалась Израилем, глядя на него глазами новой репатриантки.

Здесь я остановлюсь на том, о чем уже намекал раньше. У Кари было вполне определенное представление об Израиле, в который она наконец-то вернулась, чтобы никогда больше его не покидать. Это представление сложилось под двойным влиянием: моих рассказов и рассказов тех немногих наших друзей — Ицхакле, Джони Гросса, Гиди Гефена и других, — посещавших наш дом за границей и вспоминая далекие годы юности, а также ее собственного опыта, накопленного за те два года ее жизни в Израиле. То были тяжелые годы, но время окрасило их в героические тона. Все это, слившись воедино, создало цельный образ: старая добрая Эрец-Исраэль, включавшая в себя и 1947—1948 годы, годы борьбы и Войны за независимость. И к этому вот стереотипу Кари возвращалась вместе со мной в конце 1968 года. По правде говоря, мы оба возвращались к нему.

До сих пор речь шла обо мне. Теперь вернемся к Авишалому.

Браха и Авишалом тоже, разумеется, пришли на наше новоселье. Мы быстро сдружились, регулярно встречались, иногда у них, иногда у нас; вместе ездили по стране (одно из учлений Авишалом, о котором я еще буду писать), вместе ходили в театры, в разные экзотические рестораны; устраивали пикники на берегу Киннерета; сообща праздновали День независимости. Наши отношения сложились как бы сами

по себе, естественным путем, и, на первый взгляд, это было лучшим доказательством нашей быстрой акклиматизации в стране. То была дружба, но — до определенного момента. Потому что за всем этим таилась большая загадка — Авишалом Хеврони.

Каждая новая встреча только усиливала мое изумление, вызывая все новые и новые вопросы, разгадать же эту тайну не удавалось. Я не прекращал наблюдать за ним, продолжая в глубине души быть уверенным, что это вопрос времени. В один прекрасный день эта личность расколется изнутри и окажется тем, чем она является в действительности — выдуманным образом. Надо только все время быть рядом с ним, наблюдать, приглядываться, прислушиваться. И это произойдет. Это должно произойти.

И тут тоже Бригитта, благодаря своей тонкой интуиции, предугадала то, что должно было произойти. Мы с Авишаломом стали хорошими друзьями. Меня тянуло к нему, и это было понятно. Однако что-то сдерживало меня, — и потому, что в этом тяготении к нему было нечто нечестное, словно главной причиной его была своего рода слежка за ним, и потому, что я помнил о предостережениях Хартклиффа и опасался, что тем или иным образом сыграю роковую роль в его судьбе. Он же прямо льнул ко мне. Я могу предполагать, что мое прошлое, слухи о котором безусловно достигли и его ушей, окружало меня неким ореолом. Или, может быть (так я склонен был тогда объяснять это его влечение ко мне), им руководила та черта его характера, которую так подчеркивал Хартклифф, — потребность играть с огнем. Этой мыслью питалось не покидавшее меня подозрение, что, возможно, нет тут вовсе никакого непонятного психологического явления, а это всего лишь сознательная и отлично продуманная игра его изворотливого ума. Лечение в Цюрихе было, на мой взгляд, слишком быстрым и несерьезным, и мне стало казаться, что та „игра“, о которой говорил Хартклифф, и на самом деле является самой настоящей игрой. Иначе говоря,

своих прошлых обликов он не забыл, а просто порвал с ними всякий контакт, если можно так сказать, в тот момент, когда увидел, что погорел. И сейчас он проверяет меня не меньше, чем я его.

Он, во всяком случае, ни разу не оступился. Например, возникал простой вопрос: каким образом Авишалом поддерживает свои широкие деловые связи за границей, ради укрепления и расширения которых он так часто ездил раньше в Европу? Авишалом не только полностью прекратил эти поездки, но и имел тому столь убедительные объяснения, что даже у Гиди, хорошо знакомого с издательским делом в Израиле, они не вызывали сомнений. С самого начала — так объяснял Авишалом — эти поездки были неоправданны и предпринимались, в основном, для того, чтобы занять должное место в Израиле как среди широкой публики, так и в государственных учреждениях в качестве книгоиздателя с большими международными связями. Эта цель была достигнута, а кроме того, он обнаружил, что существуют телефон, телепринтер и просто — почта. Совершенно не обязательно ездить. Когда-то Европа была для него большим откровением, ведь, в конце-то концов, он воспитывался в детском доме Дискина. Но и это ему надоело. Вдобавок Шестидневная война произвела в его душе переворот. Еще в те годы, когда все смирились с границами раздела Палестины, говорил мне Авишалом, он не просто так сменил свою фамилию на Хеврони.

— Теперь, когда будущее всей страны в наших руках, что мне искать за границей?! Доходы у меня, слава Богу, неплохие и без этого. Браха гораздо менее занята, и поскольку она и раньше принимала довольно активное участие в делах, то мы пришли к соглашению, что сейчас она еще больше будет ими заниматься, а я направлю свою энергию на общественную деятельность. Кто, если не такие люди, как я, будет жертвовать своим временем и способностями ради общества?

Как я ни старался в разных контекстах найти уязвимое место в этом объяснении, мне это не удавалось. Авишалом *действительно* уделял значительную часть своего времени общественной деятельности, входил в различные комитеты, организовал группу капиталовладельцев для субсидирования новых предприятий в районах развития и не очень охотно опровергал слухи о том, что он входит в число тех, кто собирается основать какую-то новую партию и собирается выставить свою кандидатуру на выборах в Кнесет.

Один-единственный раз мне показалось, что появилась трещина. Как-то на одном из вечеров разговор зашел об автомобильных авариях. И все стали горько сетовать на убийственные замашки израильских водителей. Каждый из присутствовавших делился собственным опытом и своими впечатлениями о шоферских нравах за границей. В нашей компании были люди, много путешествовавшие, и они могли много чего порассказать о шоферах всего мира: Лондона, Лос-Анжелеса, Стокгольма, Рио-де-Жанейро, Рима.

— Только водители в Токио хуже наших, — сказал кто-то.

— Я тоже был в Токио, — ответил ему другой, — и там отличные водители. Только в Тегеране они хуже наших.

Тут вмешался Авишалом.

— Для этого нужно ехать в Тегеран? А что эти прелестные швейцарцы? Чуть не угробили меня в центре Цюриха, бросили на дороге и сбежали. Не стоит преувеличивать.

Из всех, находившихся в комнате, только одному мне была известна правда, хотя, как мне вдруг стало ясно, все они слышали об „аварии, которая случилась с Авишаломом в Цюрихе“. В эту минуту я не сдержался и, сделав вид, что ничего не знаю, начал допытываться: как, когда и при каких обстоятельствах случилась та авария? Он, не колеблясь ни секунды, пересказал со всеми подробностями версию, сочиненную Хартклиффом, и описал обстоятельства, „декорацию“

которых я сам помогал подготовить. Я не довольствовался этим и спросил:

— И поэтому ты решил больше не ездить за границу?

Авишалом рассмеялся своим задорным смехом.

— Это вопрос для психологов, а не для меня. Сознательно, конечно, нет. Решение я принял сразу после войны, а та поездка была нужна только для того, чтобы закончить несколько дел. Но кто знает. Как говорят арабы, куль ши мин Алла*. Может быть, это было указание свыше. Что, мол, хватит, достаточно. Но что правда, то правда, — он внезапно посерьезнел, — лежа без сознания целых двадцать дней, я начал сознавать, что мог и погибнуть. Представь себе, пережить все, что я пережил, начиная с двухлетнего возраста, и погибнуть в Швейцарии. Неплохая получилась бы штука!

Все рассмеялись, и я вместе с ними. На мгновение даже я забыл, что во время погрома 1929 года он был не в Хевроне, а во Франкфурте. В нем не появилось до последнего дня ни малейшей трещинки. Он был Авишаломом.

Поражало, а точнее, сводило с ума, другое, не то, что ему удалось избежать трещин изнутри, а что он не был разбит снаружи, подобно сосуду из хевронского стекла, разлетающемуся на мелкие кусочки. До тех пор, пока он не начал давать интервью в газеты, заниматься общественной деятельностью и мог даже войти в число ведущих политических деятелей страны, только немногие были знакомы с его выдуманной биографией, и можно понять, каким образом он смог прожить так двадцать лет. У нас нет ни одного человека без биографии, но у кого найдется охота проверять биографические данные своего соседа. Но в тот момент, когда он начал размахивать своим хевронским прошлым, почему же не нашлось никого — из среды ли остатков самой еврейской общины в Хевроне или из среды ученых, — кто написал бы в редакцию газеты

* Все от Бога (араб.).

и сказал бы просто: ни черта подобного! Никогда не жило в Хевроне семейство Ковалевских! Среди погибших — святых мучеников — не было ученика иешивы по фамилии Хвойник! В детском доме Дискина никогда не было такого воспитанника!..

И по сей день это остается для меня загадкой, но факт налицо. Принятый им облик был настолько правдоподобным, что даже у меня не вызывал сомнения. Он не только не прятался в тень, но, напротив, продолжал открыто говорить о себе. И не нашлось никого, кто сорвал бы с него маску и сказал бы: притворщик! Если дела обстоят таким образом, то не значит ли это, что я сам не в своем уме, и только мое больное воображение — в котором действительность перемешалась с воспоминаниями — придумало этому живому и деятельному человеку другие обличья. Авишалом, черт побери, является неопровержимым фактом.

Я, конечно, немного преувеличиваю, но бывали моменты, когда я чувствовал, будто мы действительно поменялись ролями: он с „почти устрашающим” совершенством играет роль настоящего израильянина, корнями вросшего в эту землю, а я обнаруживаю в себе различные симптомы этой переменчивой личности, которая стремится вырваться из сковывающих ее рамок.

Эти симптомы я сперва обнаружил в Кари. Спустя год, а, может, и менее после того, как мы вернулись в Израиль, когда казалось, что мы уже совсем устроились, и наши друзья поздравили нас с отличной общественной абсорбцией, я стал наблюдать в Кари какое-то беспокойство, какие-то неожиданно резкие перемены от состояния крайней раздражительности до состояния гнетущей тоски. Сначала я объяснял это ее страхом за нашего старшего сына, которого вот-вот должны были призвать в армию, а в те дни Война на истощение была в самом разгаре. Но потом я стал замечать, что Кари уже не с такой готовностью принимает приглашения своих подруг, не горит больше жела-

нием принимать гостей у себя, а предпочитает уединиться с книгой или побродить в одиночестве по берегу моря. Из ее случайных замечаний постепенно выяснилась причина такого ее настроения — круг наших знакомых перестал нравиться ей. Есть нечто пресное в общении с одними и теми же людьми, говорила Кари. Одни и те же разговоры, провинциальные сплетни, все они какие-то сытые, их не интересуют книги, не очаровывает театр, единственное, что их волнует — это налоги, министры, война, „территории“, автомобили, должности и снова „территории“, министры... и Хеврон, Хеврон...

Какая гротескная картина! Тот, кто символизировал собой всех наших новых знакомых и к кому она дольше всего привыкала, — был Авишалом. Он замкнулся в своем тесном мирке, в котором родился и вырос, говорила Кари, и все его поездки за границу, очевидно, не оставили на его толстой и провинциальной шкуре ни малейшего следа. Он, правда, преуспевающий книготорговец, и язык у него здорово подвешен, но его высокомерная самовлюбленность свидетельствует о том, что сам он не нуждается в книгах. Он никогда ни в чем не сомневается, и можно понять, почему он больше не ощущает потребности ездить в Европу. Ведь он же из Хеврона!

В том, что Кари выбрала Авишалом в качестве символа и стереотипа, было нечто гротескное. Это просто поражало меня. Кари не входила в число участников „заговора молчания“. Она даже представить себе не могла того, что знал об Авишаломе я. И это еще больше подчеркивало, — хотя она и не намеревалась этого делать, — то мое неприятное ощущение, что этот выдуманный Авишалом твердо встал на ноги, а я...

О, я. Беспокойство Кари передалось и мне. В моей новой жизни в Израиле у меня не было никаких поводов для жалоб. Коллеги откровенно заявляли, что мои знания и осведомленность относительно всего, что делается в мире в области электроники, представ-

ляют большую ценность для фирмы. К моему мнению прислушивались. Я пользовался уважением. Мой труд щедро оплачивался. Хорошо было жить на родине, в окружении друзей, каждый день возвращаться в ухоженный дом, к любимой жене, детям, которые крепили и мужали не по дням, а по часам под палящим израильским солнцем. И все же. Были дни, когда на меня нападала меланхолия, когда мне страшно хотелось быть невидимкой на улицах чужого города, когда я тосковал по туманам, холодным ветрам, снегам, аэропортам, самолетам, когда мне вновь хотелось пережить минуты опасности, ходить под чужими именами, окружать себя таинственностью, испытывать сильное беспокойство, находиться в ожидании неизвестного. Бывали дни, когда мною овладевали другие мысли, когда мне хотелось быть другим человеком.

Мне неоднократно приходилось выезжать за границу по делам фирмы, и каждый раз, перед очередной поездкой меня одолевали страхи, мне всегда представлялся Авишалом, либо лежащий в больнице Эксбриджа, либо улыбающийся радужной улыбкой туриста, когда его вносили на носилках в маленький амбуланс Хартклиффа. Иногда мне слышался его раскатистый смех: „Представь себе, пережить все, что я пережил, начиная с двухлетнего возраста, и погибнуть в Швейцарии. Неплохая получилась бы шутка!”

Не знаю, как называли бы Партридж и Хартклифф этот мой внутренний паралич, никак не проявляющийся снаружи, но лишавший меня способности двигаться. Для меня было очевидно, что бытие Авишалома — пусть даже оно и было выдуманным — тоже сыграло в этом свою роль. В этот трудный для меня и для Кари период Авишалом был своего рода якорем, прочно державшим нас в Эрец-Исраэль.

Это то главное, о чем я хотел рассказать.

Почти пять лет продолжалась наша дружба. И с течением времени она не ослабевала, а, напротив, крепла. Я не хочу сказать, что забыл, кем он являлся на самом деле. Вопреки всему тому, о чем я уже писал,

в моей памяти продолжало жить — хотя иногда мне начинало казаться, что это я сам все выдумал, — то, что принесло в мою жизнь „дело Бергерзона”. Но от этого Авишалом ничуть не становился менее „настоящим”, напротив, все то, что Кари казалось грубым, ограниченным, провинциальным, в моих глазах придавало его образу сияющий ореол таинственности. Жажда написать книгу про этого удивительного человека не покидала меня. И я удовлетворял эту жажду втайне от всех, ибо сознавал, что не имею никакого права вмешиваться в те опасные игры, которые он играет с собственной судьбой...

Понемногу моя душа успокоилась. Двадцать бурных лет моей жизни постепенно отходили в тень. Кари тоже пришла в относительное равновесие, выезжая каждое лето туда, где осталась часть ее самой: в Амстердам, в Париж, в Лондон, иногда в Рим, иногда в Женеву. Потом она рассказывала мне об этих хорошо знакомых мне городах, но ее рассказы не вызывали во мне никаких переживаний. Наоборот, я чувствовал себя еще умиротвореннее.

Только один человек способен был снова возбудить бурю в моей душе, напомнить мне, что вся эта история приключилась на самом деле. Этим человеком был Ицхакле. Получив новое назначение, он перед тем как оставить Париж, вместе с семьей приехал в Израиль, чтобы провести отпуск на родине. Впервые с тех пор, как я вернулся домой, мы сидели с ним вдвоем, ведя долгую беседу, как в ту ночь в „Грас де Дье”. И снова мы копались в этом деле. Я поделился с ним тем, что мне удалось выяснить здесь, в стране, а он рассказывал о наших парижских друзьях, о Раймоне Маритэне, о Ришаре Сапире и о де Транбле, неизменном участнике всех встреч членов „заговора молчания”. Ицхакле также рассказал мне о Наде Дидье. И хотя я подозревал, что у него дела с Надей зашли дальше, чем у меня с Бригиттой в ту единственную ночь во Франкфурте, я его особенно не расспрашивал. Мне вполне хватило того, что он мне поведал.

Ицхакле „вернулся из Алжира” в начале марта, связался с Надей и нашел ее по уши погрязшей в студенческую революцию. Ее издательство к тому времени уже рухнуло.

— Я начал выдумывать черт знает что, — тут Ицхакле улыбнулся, — и рассказал ей, что встретил в Алжире делегацию Вьетконга, от которой узнал потрясающую новость: Анри, наш дорогой Анри оказался никем иным, как американским агентом в Индо-Китае, и все его занятия, включая книгоиздательскую деятельность, есть не что иное, как прикрытые для его грязной работы. Над ним висит теперь революционный приговор, и едва ли он объявится вновь...

— Надя, — сказал Ицхакле, — была потрясена, но ненадолго. Революция была рядом, а мужчина, основавший для нее это шутовское книжное издательство, — далеко. Но, — произнес он, усмехаясь краешком губ, — на определенное время его иго было снято с наших плеч, и мы продолжали встречаться вплоть до моего „возвращения в Ханой”. И однажды Надя рассказала мне о втором ужасном потрясении, выпавшем на ее долю. Она держала в руках фотокопию рукописи, найденной якобы в подвале парижского дома: серия рассказов того безвестного подростка, погибшего во время одной из акций...

„И это тоже подделка! — гневно воскликнула она. — Я попросила своих друзей, которым собиралась передать теперь права на издание книги („продать за новые франки”, поправился Ицхакле), произвести экспертизу бумаги, почерка, стиля. И у них не осталось ни тени сомнения, что „En bas” — это поздняя подделка от начала до конца, и что автор ее был вовсе не подростком, а взрослым человеком. Ах, каким же негодяем оказался Анри!”

По мнению Ицхакле, заключение „друзей” является еще одним из характерных признаков новой эпохи, пламя которой эта святая дева не торопится прикрыть своим еще гибким телом.

— Революция шестьдесят восьмого года не удалась,

но знаешь ли ты, что я привез домой с большой войны? — улыбнулся Ицхакле. — Новые идеи. Оказывается, не немцы сжигали евреев. Империализм их сжигал. Не французы сотрудничали с немцами. Капитализм был теплицей, взрастившей фашизм. Евреи, Катастрофа — все это больше не актуально. Прошлое забыто. Долго ли еще будут публиковать такие книги? Теперь лучше выпускать воспоминания героев нашего времени: Че Гевара, Дебре, Малькольм Экс, Боби Сил, Клевер. А публикуя сегодня такую книгу, как „En bas”, вы отвлекаете внимание читателей от актуальных проблем. Этот подросток, надо признаться, не француз. Он еврей. Подростка этого изобрел тертый сионистский пропагандист, и его цель ясна — представить Израиль в виде такого вот подростка. Но разве *израильский* юноша смотрит сегодня испуганными глазами из подвалов оккупированной Палестины?..

Обычный шуточный псевдобиблейский стиль Ицхакле уступил на этот раз место колкому, отточенному языку. Не знаю, как далеко зашел он в своих отношениях с Надей, но сейчас, в отличие от того вечера в „Грас де Дье”, в его словах я не слышал порывов страсти.

— Очень странно, — передразнил ее Ицхакле с каким-то отвращением в голосе и продолжал рассказывать от Надиного имени, — но случайность ли, что именно тель-авивский книгоиздатель поторопился вдруг сообщить, еще прежде, чем я успела разослать всем извинительные письма, что он не заинтересован более в сотрудничестве? Странно, не правда ли?!

Да, я человек рационального склада ума. Но сейчас на дворе снова ноябрь. В ноябре, семь лет назад, Римон с такой поспешностью вызвал меня, чтобы сообщить о том анонимном телефонном звонке. Так началось мое вмешательство в жизнь человека, находившегося тогда в бессознательном состоянии и имевшего при себе немецкий паспорт на имя Бергерзона. Шесть лет я восстанавливал в уме жизнь моего героя и с каждым новым

поворотом событий переделывал ее, отлично сознавая, что никогда ничего не опубликую. „Странно”, сказала Надя Дидье, не подозревая даже, насколько все это действительно странно. Письмо отправил ей сам Авишалом, а не какой-нибудь другой сотрудник издательства. Я удостоверился в этом, прочитав копию рукописи книги „En bas”, которую Надя оставила у Ицхакле. (Вопреки всему тому, что творил Анри по заданию империализма, она оставила оригинал себе, не для публикации, разумеется, а в качестве „сувенира”, напоминавшего ей те дни, когда Анри и она были „детьми рая”). Если бы такая книга попала в руки одного из редакторов или в руки к Брахе, ком подступил бы к их горлу точно так же, как он подступил к моему горлу и к горлу Ицхакле. Я с трудом преодолел желание дать почитать рукопись Кари и заодно рассказать ей, что Авишалом, с которым она так близко знакома, не захотел публиковать ее. Но я знал, что реакция Кари будет обратной моей. Именно этот его шаг, отказ публиковать эту книгу, придавал ему еще большую таинственность. Мол, этого „хевронского жлоба” не интересуется подобного рода книга, книгу, которую он сам написал, повинувшись кто знает каким душевным порывам, находясь неизвестно в каком облики, словно в этой книге он дал выход терзавшему его кошмару.

То, с какой решимостью Авишалом отказался от „En bas” (книги, ради которой, как я не раз думал, его больная душа и сплела всю ту сложную паутину в Европе), окончательно убедило меня, что уже ничто в мире не способно разрушить эту крепко сработанную выдумку. И все же я решил подождать еще несколько лет с публикацией книги. Мне еще слишком памятливы были слова Хартклиффа о „почти устрашающей” природе этого совершенства.

Но, если быть откровенным, то я не публиковал книгу, исходя из не столь возвышенных побуждений. Неверно было бы сказать, что я испытывал один только страх перед возможным развитием событий — в самом глухом уголке моего сознания я с надеждой

ожидал развития этих событий. Мне трудно было смириться с мыслью, что так вот, притворством, кто-то способен достичь такого совершенства, каким не обладаю я или подобные мне. Рано или поздно это произойдет: Авишалом разлетится на мелкие кусочки, рассыпется в пух и прах. Но проходило два, три, четыре года, и ничего не менялось. Летом 1973 года я поехал в Европу будто бы по делам фирмы и немного ради Кари, но на самом деле поддавшись заключенному во мне злему духу — испытать Авишалома, попытаться спровоцировать его на поездку. Но он только рассмеялся своим жлобским смехом и сказал: „Эх ты, пижон, а в Шило* ты уже был?!”

И тогда наступил тот Судный день.

Я с головой ушел в дела фирмы, полностью отойдя от своей прошлой деятельности. Как и все мы в те дни, я испытывал чувство большой тревоги, к которому примешивалось и беспокойство за нашего старшего сына. Он был уже на третьем году службы, получил офицерское звание и находился теперь на самом переднем крае фронта. От своих друзей-офицеров я узнал, что подразделение, где служил сын, разбито наголову, и неизвестно, кто погиб, кто пропал без вести, кто ранен, кто еще сражается. Был момент, когда я даже хотел отправиться на южный фронт в надежде добраться хотя бы до Джони Гросса, командовавшего там одним из соединений. Но потом передумал. Во время всех прошлых войн я по воле судьбы был за границей. А теперь, чтобы разыскивать сына, я помчусь на фронт? Нет, как все прочие отцы и матери, я останусь дома с Кари и буду ждать.

На исходе третьей субботы, двадцатого октября, когда ситуация уже изменилась в нашу пользу, позвонила Авива. Только что, сообщила она, ей звонил Гиди. Браха еще этим вечером получит официальное уведомление: Авишалома больше нет.

* Древний город в Самарии, где после завоевания евреями Ханаана некоторое время пребывал Ковчег Завета.

Сначала ее слова показались мне какой-то ужасной ошибкой. Мы знали, что Джони согласился и в эту войну взять к себе Гиди, который должен был исполнять некую неопределенную должность — поддерживать боевой дух. Но это Гиди Гефен, друг молодости! А Авишалом?!

— Не забывай, — сказала Авива, — что он отменный вояка. В шестидневную войну он был у Джони командиром роты.

Он же совершенно разбитый человек, чуть не вырвалось у меня, и шестого июня ему исполнилось сорок шесть лет. Он не Авишалом — он маленький Хайнци, которого нельзя подвергать никаким новым потрясениям.

Я промолчал. Мы отправились к Брахе вместе сидеть шива*. Один из наших друзей, бывших на фронте, рассказал, что произошло. В прошлом году по воле компьютера Авишалом был переведен в гражданскую оборону**. Он не придавал этому большого значения, будучи, как и все, убежден, что в ближайшие десять лет войны не будет. Но в Судный день он надел военную форму, прикрепил свои капитанские погоны, сел за руль своей машины и помчался на юг, где дислоцировалась „его” дивизия, которой прежде командовал Джони. Приехав на место, Авишалом очутился в самом центре грандиозной неразберихи, дивизии Джони он не нашел и пристал к какому-то подразделению, стараясь быть там полезным. Он чувствовал себя абсолютно лишним, хотя и носился как угорелый с места на место. В конце концов ему удалось добраться до подразделения Джони, занимавшего, правда, вторую линию обороны. И вот, два дня назад, по дороге в Рефидим, он погиб в аварии.

— В аварии?! — я не заметил, что кричу. Все с удив-

* Седмидневный траур по умершему.

** Гражданская оборона („Хага”) — нестроевые подразделения запаса израильской армии, в которые переводятся солдаты ограниченно годные, пожилые и т.п.

лением обернулись ко мне. Как можно тише я спросил. — В какой аварии?

— Что точно произошло, неизвестно. Он был один в своей автомашине. Ребята говорят, что в тот день он выглядел очень усталым, и, возможно, что он задремал за рулем. Как мне сказали, это не было столкновение, и если бы он ехал медленнее, то, может быть...

Детали неважны. Так мне казалось тогда, так мне кажется и сегодня.

Я человек рационального склада ума. Но эта авария на безлюдном шоссе, пересекающем пустыню, когда нога нажимает на педаль газа, а перед глазами стоит мираж... Была ли эта авария случайностью или наступил тот „устрашающий” момент?

В ноябре я начал работу над этой историей: по ночам рылся в своих записях, писал по памяти и восстанавливал весь ход событий. Все имена я изменил. Все детали, по которым любители расшифровывать загадочные истории могли бы узнать истинные имена жены, детей и самого трагического героя этой книги, я тоже изменил. Но все остальное — это абсолютная правда в таком виде, в каком она представала передо мной. Передо мной разворачивалась жизнь героя, светлой памяти которого я хотел отдать должное в этой книге. То же можно сказать и о той маленькой книжке, которую он оставил после себя — оккупированный Париж, как он представлялся из подвального окошка, — и которая тоже вскорости выйдет в свет. И об „En bas” мы никогда не узнаем ничего другого, кроме того, что в ней написано.

А сегодня, в ноябре, я прощаюсь с Авишаломом Хеврони, со всем его прошлым и со всем его будущим.

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агنون. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Ривка Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ

38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клауэнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. Моше Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО
МОРЯ

74. Моше Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Феликс Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Фаина Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. Авраам Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. С.Дубнов и Б.-Ц.Динур. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ
ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
82. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

עיריית חיפה
מערכת תרבות הסנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

355

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу: 317
П.Я. 21650,
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ**

Альберт Мемми. **ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ.** Пер. с французского.

Автор, родившийся в Тунисе, дает в своем произведении психологический анализ жизни, мышления и образа действий еврея в диаспоре. Истинное решение еврейской проблемы он видит только в возвращении народа на свою землю, в страну Израиля.

Артур Кестлер. **ВОРЫ В НОЧИ.** Роман. Перевод с английского.

Книга известного английского писателя посвящена событиям в Палестине конца 30-х годов. Автор, близкий по духу своему герою, скептику-интеллекту, пытается дать объективную картину событий, рассматривая ее с точки зрения как англичан, так и арабов.

Милтон Стейнберг. **ОСНОВЫ ИУДАИЗМА.** Пер. с английского.

Автор (1903–1950) – известный представитель консервативного иудаизма в США, раввин и писатель. Книга в популярной форме знакомит читателя с основными аспектами еврейской религии – ее представлениями о Боге и мире, о значении Торы и традиции, о назначении ритуальных предписаний и закона и т. д.